Айно Куусинен
ТОРЖЕСТВЕННОГО ЗАСЕДАНИЯ
Да! Мы за колхозы!
KARJALAN KOMMUNI
Господь низвергает своих ангелов
СССР

SHOUT
SHARE
IT

Annotation

Автор воспоминаний Айно Куусинен приехала в нашу страну в начале 20-х годов и смогла покинуть её лишь в 1965 году после смерти своего мужа О.В. Куусинена. Очень остро живописует она жизнь «советской элиты» в трудные 20-е годы, внутреннюю жизнь аппарата Коминтерна. В 30-е годы Айно работала по заданию Коминтерна в США, затем была направлена советской военной разведкой в Японию. Полной мерой были отпущены ей и испытания в сталинских тюрьмах и лагерях.

Рассказать миру об увиденном и пережитом, вынести свой «приговор» сталинскому режиму — эту задачу Айно Куусинен выполнила в своих воспоминаниях.

- Айно Куусинен
  - Предисловие
  - ГЛАВА ПЕРВАЯ. Звенья моей судьбы
  - ГЛАВА ВТОРАЯ. Коминтерн
  - ГЛАВА ТРЕТЬЯ. В Америке
  - ГЛАВА ЧЕТВЁРТАЯ. Япония — страна улыбок (1934—1937)
  - ГЛАВА ПЯТАЯ. В московских тюрьмах
  - ГЛАВА ШЕСТАЯ. Путь в Воркуту и восемь лет лагерей
  - ГЛАВА СЕДЬМАЯ. Что в Советском Союзе означает освобождение
  - ГЛАВА ВОСЬМАЯ. Пять с половиной лет заключения в Потьме
  - ГЛАВА ДЕВЯТАЯ. Окончательное освобождение и отъезд в Финляндию
- notes
  - 1
  - 2
  - 3
  - 4
  - 5
  - 6
  - 7
  - 8
  - 9
  - 10
  - 11
  - 12
  - 13

- ○ 14
- ○ 15
- ○ 16
- ○ 17
- ○ 18
- ○ 19
- ○ 20
- ○ 21
- ○ 22
- ○ 23
- ○ 24
- ○ 25
- ○ 26
- ○ 27
- ○ 28
- ○ 29
- ○ 30
- ○ 31
- ○ 32
- ○ 33
- ○ 34
- ○ 35
- ○ 36
- ○ 37
- ○ 38
- ○ 39
- ○ 40
- ○ 41
- ○ 42
- ○ 43
- ○ 44
- ○ 45
- ○ 46
- ○ 47
- ○ 48
- ○ 49
- ○ 50
- ○ 51
- ○ 52
- ○ 53
- ○ 54
- ○ 55
- ○ 56
- ○ 57

- ○ 58
- ○ 59
- ○ 60
- ○ 61
- ○ 62
- ○ 63
- ○ 64
- ○ 65
- ○ 66
- ○ 67
- ○ 68
- ○ 69
- ○ 70
- ○ 71
- ○ 72
- ○ 73
- ○ 74
- ○ 75
- ○ 76
- ○ 77
- ○ 78
- ○ 79
- ○ 80
- ○ 81
- ○ 82
- ○ 83
- ○ 84
- ○ 85
- ○ 86
- ○ 87
- ○ 88
- ○ 89
- ○ 90
- ○ 91
- ○ 92
- ○ 93
- ○ 94
- ○ 95
- ○ 96
- ○ 97
- ○ 98
- ○ 99
- ○ 100
- ○ 101

- ○ 102
- ○ 103
- ○ 104
- ○ 105
- ○ 106
- ○ 107
- ○ 108
- ○ 109
- ○ 110
- ○ 111
- ○ 112
- ○ 113
- ○ 114
- ○ 115
- ○ 116
- ○ 117
- ○ 118
- ○ 119
- ○ 120
- ○ 121
- ○ 122
- ○ 123
- ○ 124
- ○ 125
- ○ 126
- ○ 127
- ○ 128
- ○ 129
- ○ 130
- ○ 131
- ○ 132
- ○ 133
- ○ 134
- ○ 135
- ○ 136
- ○ 137
- ○ 138
- ○ 139
- ○ 140
- ○ 141
- ○ 142
- ○ 143
- ○ 144
- ○ 145

- ○ 146
- ○ 147
- ○ 148
- ○ 149
- ○ 150
- ○ 151
- ○ 152
- ○ 153
- ○ 154
- ○ 155
- ○ 156
- ○ 157
- ○ 158
- ○ 159
- ○ 160
- ○ 161
- ○ 162
- ○ 163
- ○ 164
- ○ 165
- ○ 166
- ○ 167
- ○ 168
- ○ 169
- ○ 170
- ○ 171
- ○ 172
- ○ 173
- ○ 174
- ○ 175
- ○ 176
- ○ 177
- ○ 178
- ○ 179
- ○ 180
- ○ 181
- ○ 182
- ○ 183

Айно Куусинен
Господь низвергает своих ангелов

Предисловие

Жизнь Айно Куусинен, жены одного из руководителей Коминтерна — О. В. Куусинена, была полна такими перипетиями и встречами с такими людьми, отмечена причастностью к таким событиям и обстоятельствам — от участия в подпольной революционной работе и деятельности советской разведки до испытаний в сталинских тюрьмах и лагерях, — что её рассказ о пережитом и передуманном сам по себе представляет огромный интерес и ценность. Но помимо этого её воспоминания — это уникальный источник сведений о внутренней жизни аппарата Коминтерна, где она работала около десяти лет, о той связи, которая существовала между его руководством и сталинской верхушкой, но весьма тщательно скрывалась в те годы и до сих пор не стала достоянием общественности.

Книга написана Айно Куусинен на немецком языке сразу после возвращения из Советского Союза в Финляндию в 1965 году. Но опубликована по воле автора лишь после её смерти. В 1972 году книга вышла в Федеративной Республике Германии и в Финляндии. Перед вами — первое издание книги на русском языке.

В сравнительно недавние времена читатель, пожелавший узнать о том, как жили советские люди в двадцатые—тридцатые годы, встречал в литературе описания, составленные в духе торжественного речитатива «Широка страна моя родная» или бодрых ритмов «Марша энтузиастов» И. О. Дунаевского. И хотя было давно известно, что в эти годы судьбы многих были искалечены произволом, стыдливо названным «последствиями культа личности», в литературе преобладали суждения, почерпнутые из официальных партийных документов и без конца повторявшиеся в учебниках и трудах историков, что это был период победы социализма в СССР, торжества социалистических преобразований во всех сферах общественной жизни, невиданного ранее развития социалистической демократии. И на самом деле, Советская страна превратилась в те годы в державу, обладавшую серьёзной технико-экономической, материальной силой. Её голос на международной арене звучал всё более уверенно, подкреплённый значительной военной мощью.

Однако это была фасадная сторона здания, возводимого на «одной шестой части» земной суши. О ней взахлёб писали советские газеты и журналы, твердило радио. Рупором

пропаганды достижений социализма в СССР стала печать коммунистических партий, входивших в Коммунистический Интернационал. В тени же оставалось всё остальное, и прежде всего цена, которую заплатил народ за форсированную индустриализацию, разгул репрессий в связи с принудительной коллективизацией крестьянских хозяйств, муки, лишения и страдания миллионов людей, раздавленных гигантской пирамидой, возводимой якобы во славу социализма, а на деле — в интересах торжествовавшей сталинской тирании.

Для идеологического камуфлирования сталинского режима активно использовался Коммунистический Интернационал, существовавший в 1919—1943 годах. Созданный по инициативе Ленина представителями первоначально весьма немногочисленных левых партий и организаций международного рабочего движения как всемирная коммунистическая партия, штаб мировой революции — Коминтерн в послеленинские годы весьма активно использовался его руководителями для поддержки и одобрения от имени мирового пролетариата всего, что происходило в Советской стране, и прежде всего курса её правящей верхушки. Для Сталина Коминтерн был инструментом политической борьбы, рычагом политического диктата, в то время как коммунистические партии видели в нём школу интернационализма и революционного братства. Это противоречие предопределило последующую трагедию Коминтерна.

Эти страницы истории, к сожалению, ещё почти совсем неизвестны. Хранящиеся «за семью замками» архивы лишь частично преданы гласности, многие стороны деятельности Коминтерна остаются и сегодня закрытыми. И здесь воспоминания Айно Куусинен приобретают исключительное значение, они помогают уяснить то, как действовал внутренний механизм этой огромной организации.

Разумеется, размышления автора о Коминтерне, о его лидерах, особенно характеристики, которые она даёт О. В. Куусинену, субъективны. На них, естественно, не могли не сказаться перенесённые ею ужасные испытания. Поскольку воспоминания были написаны более чем через тридцать лет после событий, о которых рассказывает автор, в них подчас смещаются некоторые факты, иногда не совсем точны отдельные детали.

Деятельность Коминтерна не исчерпывалась, как об этом говорит автор, рутинно-канцелярским функционированием аппарата Исполкома. Она складывалась из практики компартий, их работы в массах, попыток сплотить трудящихся для защиты их повседневных интересов и оказания отпора наступлению реакции.

В эту повседневную работу партий Коминтерн добивался внесения элементов организованности, интернационалистического взаимодействия, выступал за их укрепление. Однако стремление к централизации и жёсткому подчинению указаниям центра, левосектантские установки, преувеличенные представления о революционных настроениях масс и непрестанное ожидание прихода мировой революции, пронизывавшее многие директивы Коминтерна, ослабляли дееспособность партий, приучали их к пассивному ожиданию руководящих указаний. В свою очередь руководители Коминтерна ожидали получения санкции на каждое принципиальное решение от Сталина или его приближённых. Это всё видоизменило Коминтерн, по признанию Клары Цеткин, «из живого политического организма в мёртвый механизм, который, с одной стороны, проглатывает приказы на русском языке и, с другой стороны, выдаёт их на различных языках, механизм, превративший огромное всемирно-историческое значение и содержание русской революции в правила Пиквикского клуба». Именно на эту сторону дела проливают свет воспоминания А. Куусинен, рисующие изнутри картину повседневного быта коминтерновцев, ритуал выработки и принятия решений, реальную борьбу за власть внутри этой организации и её функционально-служебную роль инструмента сталинской верхушки. Автор, впрочем, явно преувеличивает роль в этом О. В. Куусинена, несколько демонизирует его облик. В то же время нельзя не признать, что, сумев уцелеть в трагических перипетиях сталинщины, когда революционное прошлое и видная политическая роль при Ленине почти неизбежно предопределяли трагический конец человека, Куусинен проявил недюжинное умение и искусство маневрировать, оставаясь все эти годы на первых ролях в руководстве Коминтерна. При чтении этой части воспоминаний перед читателем возникает фантасмагория трансформации революционных идеалов в оболочку механизма сталинской системы, беспощадно расправлявшейся с теми, кто попадал в её жернова.

Что известно о жизни Айно Куусинен, урождённой Туртиайнен?

Она родилась в 1888 году в Финляндии и, вернувшись из Советской страны в 1965 году, умерла там же в 1971 году. В автобиографии, написанной в конце 20-х годов, Айно Куусинен рассказала о себе так:

«Мой отец был металлистом. Мать сперва работала в молодости прислугой, а затем домашней хозяйкой. Детей было

много. Всего 9 человек. Сперва мы жили при заводе, на заводской квартире, жили как живут обычно рабочие. Ходила в народное училище при заводе в г. Утра. Когда окончила школу, мне было 12 лет. После этого меня отправили в город Фридрихсгамн, к сестре моей матери, портнихе, чтобы продолжать учиться дальше. Там меня приняли во второй класс гимназии. Из гимназии я ушла с седьмого класса, после чего поступила на высшие курсы сестёр милосердия. Тогда мне было 19 лет. После двухгодичного курса выдержала теоретический и практический экзамен на сестру милосердия. В больнице работала всего 3 года. По выходе замуж я ушла из больницы и стала учиться и писать всё чаще в рабочих газетах».

Отец Айно был социалистом, в семье постоянно обсуждались общественные и политические вопросы. На их адрес приходили экземпляры рабочей газеты, и Айно вместе со старшим братом разносила газету рабочим на дом. «Это была моя первая партийная работа, которую я выполняла с восьмилетнего возраста», — вспоминала она позднее. В 16 лет она организовала группу молодёжи в местечке Пукисвари. Айно считала, что «очень высоко эта организация политически, пожалуй, и не стояла, но о гнёте и недостатках общественного строя в ней говорилось много». В 1908 году вместе с братом Айно создала организацию молодёжи при лесопильном заводе в местечке Лямпосаари, которая стала местным отделением социал-демократической партии.

Социалистические убеждения пришли к Айно как бы сами собой: «Всё казалось ясным как день, как будто иначе и быть не могло. Затем подошла российская Февральская революция. Разумеется, она меня сильно захватила. И Февральскую революцию я приняла полностью. С большой уверенностью дискуссировали со сторонниками буржуазии. Но, вспоминая теперь об этом, сознаюсь, что я ни грандиозности, ни основной сущности российской революции тогда совершенно не понимала. Так же легко я приняла Октябрьскую революцию, хотя было трудно понимать разницу между Февральской и Октябрьской революцией. Но и она не заставила меня ломать голову. Приняла её с большим восторгом».

В январе 1918 года власть на юге Финляндии на несколько месяцев перешла в руки рабочих. Возникла Финляндская рабочая республика, которая уже весной этого года была свергнута буржуазией с помощью германского экспедиционного корпуса. Три месяца рабочей власти перевернули судьбу Айно и её родных. Один из её братьев организовывал лазареты для раненых красногвардейцев. Второй брат стал начальником отдела

разведки в Выборге. Сама Айно помогала в организации лазаретов, участвовала в налаживании работы железнодорожных мастерских Выборга, помогала отделу разведки раскрывать действия контрреволюции, выступала со статьями в местной газете.

Подавление революции и развернувшийся в Финляндии белый террор повлекли за собой гибель многих родных Айно. Старший брат был арестован в тылу белых войск, подвергся ужасным пыткам и умер от голода в концентрационном лагере в июне 1918 года. Второй брат был расстрелян в Выборге. Третьему брату удалось бежать из тюрьмы. Он некоторое время скрывался от преследований, но тоже погиб. Четвёртый брат был брошен в тюрьму, но позднее освобождён. Лишь самый младший брат Вяйнё избежал в те дни ареста, но судьба его также трагична. Он жил в СССР и, как и многие, стал жертвой сталинщины.

Сама Айно и её муж в дни белого террора избежали репрессий. Они прятали в своей квартире подпольщиков. Айно в октябре 1919 года, после того как схлынула волна террора и вновь начали действовать рабочие организации, вступила в социал-демократическую партию. Она примкнула к её левому крылу и активно участвовала во внутрипартийной борьбе, в результате которой часть организации социал-демократической партии в Хельсинки вышла из партии и в 1920 году способствовала созданию Социалистической рабочей партии Финляндии. Эта партия являлась легальной формой подпольной Коммунистической партии Финляндии.

Среди тех, кого Айно скрывала на своей квартире, оказался и один из руководителей компартии Отто Куусинен. Эта встреча круто изменила её жизнь. В июне 1921 года, пройдя пешком 300 вёрст, Айно Сарола (фамилия первого мужа) через Карелию прибыла в Советскую Россию. Партия посылала её с нелегальными поручениями в разные страны, но с 1923 года она постоянно жила в Москве. Вскоре её приняли на работу в аппарат Коминтерна.

Действительность оказалась совсем иной, чем её представляла Айно. Вместе с новым мужем, одним из руководителей Коминтерна, она попала в привилегированную верхушку советского общества. Несколькими штрихами в своих воспоминаниях Айно Куусинен воссоздаёт образ жизни этой верхушки, показывая, какая пропасть отделяла её от жизни и быта обычных людей. Но за эти блага приходилось многим платить, и прежде всего моральным растлением. Не много строк в книге уделено Сталину. Но и они являются весьма ценными штрихами к портрету этого человека, сумевшего превратить свою власть в

кровавый бич, с помощью которого миллионы людей были загнаны за колючую проволоку Гулага.

Разочарование в том деле, которым приходилось заниматься в Коминтерне, в человеке, с которым Айно соединила свою жизнь, заставили её искать новый выход. В 1931 году она уехала на партийную работу среди финских иммигрантов в США. Здесь под фамилией Мортон Айно пробыла до середины 1933 года. Деятельность Айно в федерации финских рабочих не способствовала сближению этой федерации с компартией США. И по настоянию руководства компартии она была отозвана в Москву. Однако Айно больше не хотела возвращаться в аппарат Коминтерна, где к тому времени атмосфера революционного энтузиазма, которым отличались первые годы существования этой организации, уже давно сменилась затхлым бюрократическим духом канцелярии, усердно выполнявшей директивы, поступавшие от сталинского окружения. Не хотела Айно возвращаться и к мужу, которого, по-видимому, давно разлюбила и к которому испытывала неприязнь.

По совету своего друга Н. Виртанена Айно Куусинен решила перейти на работу в советскую военную разведку, которой в то время руководил Ян Берзин. Страницы воспоминаний, рассказывающие об этом этапе её жизни, напоминают приключенческий роман этакой международной авантюристки, в котором фигурируют каюты пароходов и фешенебельные отели, контакты в высшем обществе Японии и нелегальные встречи с резидентом. К сожалению, этот этап биографии Айно Куусинен историк ещё не может прокомментировать на основе сопоставления её рассказа с архивными документами.

Айно Куусинен в те дни не подозревала, что оказалась на прицеле ежовских органов НКВД. После ареста Берзина все, кто работал под его началом, были обречены. К тому же Айно встречалась с Н. Виртаненом, который также был арестован. И в органы НКВД в конце 1937 года поступил донос, в котором Айно обвинялась в сотрудничестве с Виртаненом. К тому же арест Айно мог дать желанный материал против Отто Куусинена. Утром 1 января 1938 года наступила развязка. Началась её пятнадцатилетняя Голгофа, которая завершилась освобождением лишь в 1955 году.

Отдадим должное мужеству, человеческому достоинству Айно Куусинен. Она не только сумела выстоять в смертельной, сверхчеловеческой схватке с ежовско-бериевскими следователями и превозмочь страдания, на которые её обрекли, но и донесла до читателя сведения о тех, кого знала, встречала и кому помогала

на этом скорбном пути. Мартиролог, содержащийся в этих воспоминаниях, помогает отдать долг памяти многим жертвам сталинщины.

Воспоминания Айно Куусинен — обвинение бесчеловечному сталинскому режиму, приведшему к деградации общества, режиму, который принёс неописуемые мучения тем, кто оказался его жертвами, горе их близким и родным, деформировал сознание всего народа. Обновление нашего общества немыслимо без познания позорных страниц истории, связанных со сталинщиной, без покаяния и отречения от всего, что порождено этим режимом.

Ф. И. Фирсов,
доктор исторических наук

ГЛАВА ПЕРВАЯ. Звенья моей судьбы

Среди известных миру коммунистов была и такая загадочная фигура, как мой покойный муж О. В. Куусинен[1]. Надеюсь, мои личные впечатления, на которых основана эта книга, смогут в какой-то степени развеять атмосферу тайны вокруг этой личности.

Однажды Отто Куусинен опубликовал в Советском Союзе статью «Верное звено», в которой изложил свою философию жизни[2]. Хорошо зная любовь большевиков к огромным конструкциям, он описывает механизм, приводящий в движение бесконечную ленту гигантского транспортёра. Под ним люди, они могут без труда ухватиться за любое звено, не зная, куда их унесёт. Жизнь человека будет счастливой, если он ухватится за верное звено, которое пронесёт его над волчьими ямами жизни, и сумеет спрыгнуть в нужном месте. Судьба многих — выбрать неверно, и тогда их отнесёт в опасное место, далеко оттуда, куда они надеялись попасть. Другие выбирают верно, но выпускают звено из рук слишком рано или слишком поздно.

В начале 1920-х годов меня унесло из Финляндии в Москву. Семь лет я провела в Москве, в штабе мировой революции. Затем мы с мужем выбрали разные звенья, и я уехала в США, чтобы в течение двух лет выполнять там секретное партийное задание. После Нью-Йорка тяжелы были серые будни столицы СССР, и я ухватилась за другое звено — оно умчало меня в предвоенную Японию. С помощью секретной военной разведслужбы я провела там самые беззаботные и счастливые годы моей жизни. Там я сталкивалась по работе с доктором Р. Зорге[3], которого после смерти превозносили как лучшего советского разведчика всех времён. Однако в те годы у меня сложилось впечатление, что в Москве его пока не оценили.

В конце 1937 года мне приказали вернуться в Москву. Я подчинилась; мне казалось, ничего страшного со мной случиться не может. Но в тот раз я выбрала неверно — и на мою долю выпало близкое знакомство с ужасами сталинских чисток. Более года я провела в следственных тюрьмах Москвы, а потом — восемь лет в одном из печально известных воркутинских лагерей за Полярным кругом. Это были мрачнейшие годы моей жизни. И лишь благодаря здоровью, а также, возможно, каким-то невидимым покровителям, да ещё, как говорят финны, своему финскому упорству, я выжила.

После войны меня освободили, и я столкнулась с теми же непреодолимыми трудностями, что и все бывшие

политзаключённые в СССР. Мне было запрещено жить в Москве, и я попыталась найти на Кавказе какое-нибудь солнечное местечко, чтобы жить там спокойно в кругу друзей. Но отдых и покой мне даны не были. Опять арест, и опять меня переправили в те же московские тюрьмы, так мне знакомые. Хотя здоровье было уже не то, меня вскоре отправили в трудовой лагерь в Потьму. Окончательно я была освобождена в 1955 году, через два года после смерти Сталина.

Более пятнадцати лет я была политическим заключённым советской власти. В эти долгие тёмные годы родилась мысль когда-нибудь написать и издать воспоминания. Это была единственная возможность отомстить тем, кто отнял у меня свободу. Поэтому главной задачей было выжить и вернуться несломленной. Можно сомневаться, велик ли эффект таких воспоминаний. Ведь уже опубликовано немало правдивых свидетельств о жизни в сталинском государстве и ужасах заключения в карательных заведениях СССР. Я хочу отвести эти сомнения. Я убеждена, что каждое из этих описаний по-своему освещает миру методы руководства страной в то время. В тот день в 1955 году, когда я вышла на свободу, я поклялась себе сделать всё, чтобы вырваться из советской страны, растоптавшей мои человеческие права. Однако прошло ещё десять лет, прежде чем я достигла цели. Лишь в 1965 году, спустя почти год после смерти Отто Куусинена, я наконец-то смогла вернуться в Финляндию. На родину.

Родилась я в конце прошлого века, в семье была третьим ребёнком. Детство провела в центральной Финляндии. Меня и троих моих братьев родители с детства учили относиться к жизни бесстрастно и спокойно. Нас не наказывали, но и не баловали никогда. Уже в раннем детстве в моём характере проявились упорство и решимость — в лыжах и плавании я могла посоперничать с любым мальчишкой.

Лет в десять я решила ехать в Африку миссионером. Повинен в этих честолюбивых намерениях один странствующий миссионер, внезапно появившийся в наших краях. Я отдала ему все свои сбережения — на одежду африканским детям. Правда, отец позже заметил мне, что в Африке жарко и дети там ходят в одних трусиках. Как бы мне хотелось, чтобы все мои последующие начинания оканчивались так же безобидно, как это; но сложилось, увы, иначе.

В детстве отец нам живо рассказывал о наших краях, о других странах. От него я узнала многое о политике и истории. В то время Финляндия входила в состав царской России, царские

власти пытались русифицировать мою страну. Отец говорил об опасности, нависшей над Великим княжеством Финляндским, о нарушении его конституционных прав. С отцом нас роднила не только любовь к своей стране, но и любовь к чтению. Мы перечитали множество книг его огромной библиотеки.

Училась я хорошо, особенно легко мне давались сочинения и языки. Учитель не раз зачитывал мои сочинения всему классу.

Окончив среднюю школу, я четыре года проучилась в медучилище при хельсинкской хирургической больнице.

Вскоре после окончания училища я вышла замуж за добродушного, умного человека Лео Сарола, инженера железнодорожного управления. Но, недолго прожив вместе, мы поняли, что брак наш построен на песке; я была полна энергии, и мне был тесен обычный семейный круг. Однако годы шли, выхода, казалось, не было. Но однажды судьба постучалась к нам.

Было это в 1919 году. Мы тогда жили в небольшом домике неподалеку от Хельсинки, там, где сейчас район Тапанила. Холодным осенним вечером в дверь постучались, и вошла женщина, которую мы оба хорошо знали. Она просила нас оказать помощь своему знакомому, депутату парламента. «Если его найдут, он, без сомнения, будет приговорён к смерти. Спасите, он стоит этого. Ночевать ему негде, может, пустите на одну ночь?» Человек был прилично одет и казался неглупым. Мы предложили ему поужинать, но он отказался. Вдруг он встал и серьёзно сказал: «Мне неловко пользоваться вашим гостеприимством, пока вы не знаете, кто я. Может быть, вы не захотели бы пустить меня под крышу. Моя фамилия Куусинен». Муж спокойно ответил: «Всё в порядке, оставайтесь ночевать, у нас вам будет безопасно».

Мы знали, кто такой Куусинен. Он руководил в 1918 году восстанием коммунистов[4], а в недолго просуществовавшем коммунистическом правительстве был министром просвещения. Знали, что он, как и многие, бежал из Выборга в Петроград. Читали в газетах, что за его поимку обещана награда; если он будет задержан, ему грозит расстрел.

Наша прислуга принесла гостю поесть, приготовила постель. Ушёл он на рассвете, не сказав куда.

Позже до меня дошли слухи, что Куусинен был послан в Финляндию Лениным, чтобы узнать обстановку в стране и объединить разрозненные силы левых. Тогда я не могла даже предположить, что вечерний гость стал первым звеном в цепи событий, перевернувших мою жизнь.

Во второй раз я увидела Отто Куусинена спустя три месяца. Шёл 1920 год. На дворе была лютая стужа. В Хельсинки, на углу Исо-Рообертинкату, мне повстречался адвокат Эйно Пеккала[5], с

которым когда-то меня познакомил мой брат Тойво Туртиайнен. В парламенте оба представляли социал-демократов, правда, брат был сторонник Вяйнё Таннера[6], а Пеккала входил в левое крыло социал-демократической партии. Позднее он перешёл к коммунистам. Неподалеку от Исо-Рообертинкату жил тесть Пеккала, господин Муррик, и Эйно предложил зайти к нему на чашку кофе. Там оказались и дочери Муррика Салме Пеккала и Хелла Вуолийоки. В это же время на квартире Мурриков скрывался — это было полной неожиданностью для меня — Отто Куусинен.

Из разговора стало ясно, что Салме Пеккала собирается в Лондон по секретному заданию коммунистической партии. Куусинен вынул из жилетного кармана четыре больших бриллианта и, показав их нам, сказал: «Каждый стоит четыре тысячи». Не знаю, правда, по сей день, в какой валюте. «На дорожные расходы», — пояснил Куусинен, протянув бриллианты госпоже Пеккала.

Вскоре после этого случая Куусинен уехал в Стокгольм. Он писал мне оттуда, присылал стихи. Мне их приносил незнакомый молодой человек. Как-то раз он принёс два письма, одно было адресовано мне, а второе — премьер-министру Финляндии профессору Рафаэлю Эриху. Куусинен просил меня передать письмо Эриху через надёжного человека. Но если мне это покажется чересчур опасным, писал он, я должна вернуть письмо посыльному. Куусинен и Эрих были знакомы со студенческих лет, оба были избраны в парламент; в своём письме Куусинен просил Эриха прекратить преследование коммунистов.

Я тотчас решила выполнить просьбу Отто Куусинена. Знакомая сестра милосердия согласилась отнести письмо Эриху домой и подождать ответа. Я в это время с нетерпением ждала её в привокзальном ресторане. Сидела и думала, что участвую в захватывающем и значительном деле!

Вскоре моя посыльная вернулась, рассказала, что Эрих принял её в своём кабинете, задал только один вопрос: знает ли она содержание письма? Она не знала. Эрих прочёл письмо и велел передать автору, что ответа не будет. Думаю, в любой другой стране премьер-министр заявил бы о случившемся в полицию, и началось бы следствие.

Я страстно мечтала о более насыщенной жизни, чем жизнь домашней хозяйки. Решила взять в банке ссуду и основать в Хельсинки частную больницу. Чтобы приобрести опыт в управлении больницей, я поехала в начале 1922 года в Стокгольм. Однако там мне посоветовали ехать в Берлин. Не имея

ни малейшего представления о политической обстановке в Германии, я послушалась совета. В те годы в германской экономике царил хаос, цены росли с каждым днём, продовольствия не хватало. Шли ежедневные забастовки и демонстрации. Гостиница не отапливалась. Я хотела тотчас вернуться в Швецию, но бастовали железнодорожные рабочие и поезда в Стокгольм не ходили. Пришлось ждать конца забастовки. Но неожиданный случай повернул мою жизнь в другую колею.

Мне нужно было пойти в полицейский участок на Александерплац, чтобы поставить печать в паспорте. Там я встретила финна, с которым была прежде мельком знакома. Он пришёл в участок по такому же делу. Это был Юрьё Сирола[7], журналист и депутат парламента, друг Куусинена. В коммунистическом правительстве 1918 года он был министром иностранных дел. Мы условились встретиться на следующий день. Во время второй встречи он сказал, что работает в Москве, в Коминтерне. В Берлине — по заданию Ленина и Куусинена. Я впервые осознала, насколько влиятельным человеком был в Москве Куусинен. В Берлине Сирола должен был выяснить, каково денежное положение германской коммунистической партии, так как немцы запрашивали у Коминтерна крупную финансовую помощь. Заодно он подыскивал для работы в аппарате Коминтерна людей, знающих немецкий. Полушутя Сирола предложил мне возвращаться в Финляндию через Москву, так ездила недавно его жена.

Забастовке, казалось, не будет конца, и я время от времени встречалась с Сирола, в Берлине я больше никого не знала. Он жил у финского ювелира Косо, который был родом из Петербурга. Госпожа Косо как-то вечером пригласила меня на кофе. После ужина Сирола сказал, что хочет показать мне что-то очень интересное. У него под кроватью и в шкафах были целые мешки с бумажными деньгами царского времени, по его словам — «на миллион». Куусинен послал брата своей первой жены Эйнари Лааксовирта[8] в Германию обменять их на западную валюту для нужд коммунистов в Европе.

Во время коммунистического мятежа 1918 года, когда большевики захватили Финляндский банк, Эйнари Лааксовирта работал там заместителем директора и немного поднаторел в банковском деле. Я с ним познакомилась позднее в Москве, куда он переехал по совету Куусинена. Я была уверена, что купюры царского времени не имеют уже никакой цены, но Сирола уверял, что их курс снова поднимется.

У Сирола был фальшивый норвежский паспорт, и он постоянно остерегался полиции. Опасался даже во второй раз

идти в паспортный отдел продлевать визу. Немецкие коммунисты, правда, убеждали его, что это несложно: надо вложить в паспорт деньги и вручить его чиновнику, назвали даже его имя. Виза будет продлена без лишних вопросов. Но Сирола боялся рисковать. А если его задержат за дачу взятки? Я пыталась его приободрить, предложила даже пойти вместе с ним. Уговаривала я его несколько дней, потешалась над его страхами, и он, наконец, решился — с условием, что я буду ждать в кафе напротив. Всё, к счастью, обошлось, и Сирола остался доволен.

Когда кончилась забастовка, Сирола снова предложил мне ехать в Хельсинки через Москву. В каком-то приступе легкомыслия я согласилась. Однако попасть в Москву оказалось нелегко. Ехать надо было через Польшу, а польское правительство как раз закрыло транзит. Потянулись недели ожидания. Наконец мы придумали: надо ехать морем до Кенигсберга, а оттуда поездом в Москву. Нам без труда удалось забронировать каюты на маленьком пароходе, шедшем до Пиллау, кенигсбергского порта.

Пароходик наш заходил во все порты, но мы отсиживались в каютах. На одной стоянке духовой оркестр вдруг грянул марш финской конницы времён Тридцатилетней войны[9]. Сирола, который и без того нервничал и легко терял самообладание, заволновался, решив, что его узнали. Мне это показалось так глупо, что я решила разыграть его. Я вышла на палубу посмотреть, что творится снаружи: на причале был только военный духовой оркестр. Но Сирола я сказала, что немцы прознали, что на судне находится депутат финского парламента и оркестр играет в его честь. Сирола побледнел. Незадолго до обеда пришла официантка и сообщила, что капитан приглашает нас за свой стол: нас туда проводят. Я быстро переоделась и заверила Сирола, что приглашение объясняется теми же причинами. Он ещё больше разволновался. Мы пришли в кают-компанию. Стол был накрыт на шесть персон. Официантка усадила нас, и мы стали молча ждать. Скоро в кают-компанию вошли четверо офицеров. Капитана я узнала по форме, но кто был пожилой офицер высокого ранга, севший напротив меня? По левую и по правую руку от него сели два офицера. Они низко нам поклонились. Я время от времени взглядывала на пожилого господина. Мне не раз приходилось видеть его портреты, и я его наконец узнала: это был генерал-фельдмаршал фон Гинденбург, впоследствии — президент Германии[10]. Офицер справа был его адъютантом, а слева сидел личный врач. Тут я догадалась, что оркестр играл в честь Гинденбурга. Это был джентльмен старых правил, он беседовал со мной до самого

Пиллау.

После долгого, скучного путешествия по железной дороге я прибыла в Москву в жаркий день начала лета 1922 года. Сирола телеграфировал, что приедет со мной, и меня отвезли на большую, выкрашенную жёлтой краской дачу в красивом Нескучном саду на берегу Москвы-реки. Дом до революции принадлежал богачу, а теперь в нём жили родители Троцкого[11], у которых я и остановилась. Говорили мы по-немецки. Троцкий сам в этом доме не жил и, кажется, ни разу при мне не приезжал проведать родителей. Отец его был высокий, худой, аккуратно одетый пожилой господин, работавший адвокатом в Киеве; мать — изысканная старая госпожа. Оба рассказывали, что провели в Финляндии не одно лето, и красивая моя родина произвела на них неизгладимое впечатление. У них было немало прислуги, прекрасная кухарка, и в доме было всё, чего только можно пожелать. На даче почти каждый день бывали иностранные коммунисты, им подавали кофе, чай, пирожные. Главной темой разговоров была политика; меня удивило, что русские коммунисты там бывали редко.

Когда я приехала в Москву, Куусинен был в Петрограде на совещании коммунистической партии Финляндии; там, по словам Сирола, различные группировки пытались прийти к согласию. Вскоре и Сирола уехал на то же совещание. Перед отъездом он поводил меня по Москве, и должна сказать, у меня создалось о столице СССР весьма нелестное впечатление — это был очень грязный город, всё в нем, казалось, было вверх дном. Мы побывали и в здании Коминтерна в Денежном переулке. В 1918 году в этом особняке помещалось германское посольство, там был убит посол граф Мирбах[12]. Я будто попала на шумный оживлённый вокзал: люди сновали туда-сюда, носили из комнаты в комнату бумаги и говорили, по меньшей мере, на двенадцати языках. Возле стрекочущих пишущих машинок ели бутерброды и готовили чай. Никогда в жизни мне ещё не приходилось видеть столько странных существ одновременно в одном и том же месте! Трудно представить, заметила я Сирола, что кто-нибудь здесь может работать. В ответ он только усмехнулся, а я про себя подумала: «И это, значит, штаб мировой революции…»

В это время начали претворять в жизнь ленинскую новую экономическую политику, НЭП. При НЭПе было снова разрешено частное предпринимательство. Деревня стала поставлять голодающим горожанам продукты, время от времени они появлялись в свободной продаже. Положение немного улучшилось, правда, страшный разор, вызванный революцией и

гражданской войной, поправить было нелегко.

Настало время подумать о возвращении домой. Но скоро мне стало ясно: законным путём из Советского Союза выехать почти невозможно. Чиновники на каждом шагу ставили препоны. Влиятельных друзей у меня не было. Так я и не смогла получить выездную визу.

В конце лета окончилось совещание в Петрограде, и Куусинен вернулся в Москву. Он тут же приехал ко мне. О возвращении я забыла. Теперь я знала, что приехала ради него.

Свой брак, в соответствии с советскими законами, мы оформили в районном загсе, где также регистрировались рождения и смерти. Первые годы мы с Отто жили на Тверской (ныне улица Горького), в гостинице «Люкс» (до революции — гостиница Филиппова). В гостинице жило руководство Коминтерна. Условия там были первоклассные, правда, невыносимо мешал уличный шум за окном.

Затем мы жили в Кремле, в отдельной квартире. Дом был старый, простоял две сотни лет, и, несмотря на реконструкции, в нём было сыро. Кроме того, все наши гости вынуждены были проходить контроль у ворот Кремля, это было неприятно. Поэтому, когда выпала такая возможность, мы с радостью переехали в Дом правительства на берегу Москвы-реки, наискосок от Кремля. Здание это строилось долго, с перерывами. Наша квартира находилась на одиннадцатом этаже. Расположение комнат было, правда, не вполне удобное, но для Советского Союза это было превосходное жильё, комнаты просторные, два балкона. Лифты в том доме работали безотказно, что для Москвы было поистине роскошью. Рядом с нами жила семья премьер-министра Рыкова[13], на восьмом этаже — дочка петербургского вельможи Елена Стасова[14], друг Ленина. Какое-то время в этом доме жили также Бухарин[15] и Радек[16].

У нас была и летняя дача в Серебряном Бору, на запад от Москвы. Дом стоял в еловом лесу, в нём хорошо отдыхалось после городского шума. Отто, правда, не любил уезжать далеко от своего кабинета и на дачу ездил нехотя, но для меня она много значила.

Приехав в Москву, я скоро поняла, как безрадостна и тяжела стала жизнь народа после большевистской революции. Между уровнем жизни советской элиты и рабочего класса была пропасть, заставившая меня утратить веру в преимущества бесклассового общества.

Что же это была за советская элита, как её называли рабочие?

Взять, например, нашу семью. Ежегодно мы получали от бесклассового общества новую машину, разумеется, бесплатно; мы имели квартиру, дачу, шофёра, домашнюю прислугу — тоже совершенно бесплатно. Наша экономка, Александра Прохоровна Сельдякова, не умевшая ни читать, ни писать, служила до революции кухаркой в богатых русских семьях. Когда она шла для нас за продуктами, деньги ей были не нужны: у неё было три книжечки, одна предъявлялась в государственном молочном магазине, где она «покупала» молоко, масло, яйца и сыр, другая — в государственном мясном, третья — в рыбном.

Обычная домашняя хозяйка могла купить очень мало. Все продукты были по карточкам, в ограниченной продаже. Можно было купить только 100 и лишь изредка 200 граммов масла, выстояв огромную очередь. Высокопоставленные чиновники, у которых были продуктовые книжечки, могли покупать без ограничений и всё что угодно. Ранним утром перед продуктовыми магазинами выстраивались длинные очереди, и милиционер следил за порядком. Когда из магазина выходил покупатель с двумя маленькими свёртками, милиционер впускал внутрь одного человека. А наша кухарка проходила без очереди. Она предъявляла милиционеру наши книжечки, тот кричал: «Пропустите, дайте дорогу!» Когда она выходила из магазина с тяжёлыми сумками, женщины в очереди поднимали шум. Наша экономка не вполне сознавала всю волшебную силу продовольственных книжечек. Она верила, что мы оплачиваем «покупки», в конце месяца в книжечках появлялась печать и штамп «оплачено». В действительности же мы никогда не платили ни копейки. У других чиновников Коминтерна, более низкого ранга, тоже были продовольственные книжечки, по которым они без ограничений могли покупать в государственных магазинах продукты, но свои покупки они должны были оплачивать. А за нас платило бесклассовое общество.

Но не всё золото, что блестит. У нас был шофёр по фамилии Рациевский. Во время езды он без умолку говорил. Заставить его замолчать было невозможно. Он вертел головой, на дорогу не смотрел и к тому же ездил с сумасшедшей скоростью. Отто сидел в машине, не дыша. Говорил: «Этот нас угробит», но жаловаться не хотел.

Как-то раз я ехала с шофёром одна. Он обернулся ко мне и очень серьёзно спросил, не могу ли я ему помочь. Я поинтересовалась, в чём дело.

— Да вот, товарищ Куусинен, написал я пьесу для театра. Может, прочтёте и скажете своё мнение? И ещё я попросил бы вас рекомендовать пьесу комиссии по драматургии.

— С удовольствием, — ответила я.

Он вынул из-под сиденья рукопись и протянул мне через плечо. Около двухсот скрученных в поросячье ухо страниц карандашного текста. Дома я сразу принялась читать. Вскоре пришёл Отто. Я как раз хохотала над очередным бездарным восхвалением Сталина. Отто спросил, что я читаю. Я рассказала.

— Но это страшная дрянь, невозможно читать без смеха, — сказала я.

— И что ты собираешься делать? — спросил Отто.

— Напишу в комиссию, что не стоит утруждать себя чтением этой дряни.

— Да что ты! — возмутился Отто. — Напиши, что талантливейшая пьеса, предложи напечатать десять тысяч экземпляров. Тогда её опубликуют хоть небольшим тиражом. Ну а что значит для такой страны одна бездарная книга! Зато Рациевский перейдёт из шофёров в ряды драматургов. И мы от него избавимся!

Я, правда, не смогла сделать, как предлагал Отто, но всё же передала пьесу Рациевского в комиссию. И предсказание Отто сбылось: мы лишились плохого шофёра, а Советский Союз приобрёл нового драматурга.

В первые годы своего правления Сталин ещё не боялся появляться на людях. Когда я в 1924 году начала работать в Коминтерне, он не раз бывал в Красном зале на совещаниях Политического секретариата и в лекционном зале Кремля на пленумах и исполкомах. Он внимательно слушал перевод речей иностранных коммунистов, делал короткие дельные замечания, свидетельствовавшие об острой наблюдательности. Он ни разу не повысил голоса, никогда не ехидничал и не говорил с вызовом, как позднее Хрущёв.

Многие годы мы с мужем проводили отпуск на Кавказе. Там и произошла моя первая встреча со Сталиным, в 1926 году, в Сочи. Мы уединённо жили на даче в красивом тенистом парке. И дачи, и окрестные леса принадлежали высоким правительственным чинам и тщательно охранялись. Рядом находился санаторий «Ривьера», его персонал обслуживал и нас. Осенью того года мы занимали нижний этаж дачи, а над нами жил С. Киров[17], которого через несколько лет стали считать преемником Сталина и который, видимо по его приказу, в декабре 1934 года был убит. В 1926 году это был живой, весёлый холостяк, который всегда готов был помочь мне и Отто.

Одновременно с нами на юге проводил отпуск Сталин. Он жил на красивой даче на самом берегу, по дороге на Мацесту.

Однажды я влезла в нашем саду на дерево, чтобы полюбоваться видом на море. Вдруг у нашей калитки остановилась машина, в ней был всего один пассажир. За рулём сидел военный. Он быстро побежал к нашей даче. Оттуда тотчас вышел Отто и стал меня звать. Он попросил военного поискать меня в саду, и я поняла, что придётся спускаться. Видимо, произошло что-то чрезвычайное.

Муж взволнованно и многозначительно сказал: «Это Сталин». Сталин оставался всё это время в машине. Мы с Отто поехали с ним. Сталин был любезен, но держался натянуто. Сказал, что хочет показать нам свою родину — Грузию. Я опрометчиво заметила, что и в прошлом году отдыхала на Кавказе и Грузию знаю неплохо. Отто испуганно на меня посмотрел, но Сталин, кажется, не обиделся. Сказал, что вряд ли я могла видеть горы во всей красе. Отто во время нашего разговора явно нервничал, да и я сама чувствовала себя скованно — с чего это Сталин так к нам расположен?

Я спросила о его жене, Аллилуевой[18]. Сталин ответил, что она уехала к родственникам. Потом он вдруг заговорил по-фински. Я просто онемела от удивления. Генеральный секретарь, самый могущественный человек в стране обратился ко мне по-фински с вопросом: «Нет ли у вас сливок для кофе?»

Сталин пояснил, что до революции бежал из Петербурга в Финляндию.

— Жили мы на западном побережье Выборгского залива в местечке Хиекка. Там почти в каждом доме держали корову, и жена посылала меня за сливками. Вот я и выучил эту фразу по-фински.

— А хозяйки что вам отвечали?

— Если у них были сливки, говорили: «On, on», а если не было, отвечали: «Ei ole».

Я весело рассмеялась, и Сталин был явно доволен, что ему удалось растопить лёд между нами. Он радостно шлёпнул себя ладонью по голенищу — он всегда ходил в сапогах — и объявил:

— Я, между прочим, — настоящий пролетарий. Моя фамилия оканчивается на «-швили». А у кого фамилия на «-идзе» или «-адзе» — происходят из дворян или буржуев.

И он назвал своих лучших друзей: Енукидзе[19], Ломинадзе[20] и Орджоникидзе[21]. Все занимали в правительстве высокие посты. Правда, через несколько лет их друг всех их уничтожил. Только Орджоникидзе покончил с собой.

Вскоре мы снова встретились со Сталиным. Но на этот раз впечатление было тягостное. Нам подали машину и объявили, что мы едем в круиз по Чёрному морю. У причала стоял невзрачный

коричневый катерок. Сталин ждал нас в каюте. Встретил очень дружелюбно, матроса отослал: «Этих гостей я обслужу сам». На столе стояли фрукты, вино, шампанское. Сталин наполнил бокалы и поставил пластинку — красивую грузинскую песню «Сулико». Но Сталин ставил её снова и снова, и с каждым разом она всё больше теряла свою прелесть. Сталин беспрерывно опорожнял бокалы и вдруг пустился в пляс. Зрелище это было ужасающее. Чем больше он пил, тем страшнее становился его взгляд. Это было как дурной сон. Сталин выл от смеха, его мотало, он спотыкался, его танец был просто пародией. Всё это было грубо, низко и не предвещало ничего хорошего. Самое кошмарное, что, совершенно пьяный, он внимательно наблюдал, какое впечатление на меня производит. Весь тот день мы пробыли на море с пьяным диктатором. Он был чудовищен. Когда мы, в конце концов, вернулись к себе на дачу, я твёрдо сказала Отто, что никогда в жизни никуда со Сталиным не поеду.

В тот страшный день я поняла, каков Сталин в действительности. А позже Отто рассказывал мне о страхе Сталина за свою жизнь, граничащем с сумасшествием. Чем беспринципнее и хладнокровнее были его действия, тем неодолимее становился этот страх.

Мать Сталина умерла в 1938 году, но страх за свою жизнь был в Сталине настолько силён, что он побоялся ехать на похороны. В 1948 году мне в Тифлисе рассказывали, что старушку хоронили местные партийцы и были, как и все грузины, оскорблены тем, что Сталин не явился на похороны матери.

Ленина я встречала мало, видела лишь несколько раз осенью 1922 года в Коминтерне. Он как раз оправился от первого кровоизлияния и приступил к работе. Проработал он около трёх месяцев. Я не раз говорила с ним по телефону, когда он звонил Отто домой. Ленин всегда вежливо справлялся по-немецки о моём здоровье; если Отто не было дома, просил передать ему, чтобы позвонил.

Ленин часто шутил. Помню один эпизод. В Москву приехала Клара Цеткин[22]. Мы находились в Красном зале Коминтерна. Клара Цеткин предложила прислать Ленину из Берлина отличного специалиста по сердечно-сосудистым заболеваниям. На что Ленин ответил:

— Меня уже обследовала целая гвардия специалистов, но, по-моему, без толку. Но, тем не менее, спасибо.

— Поверьте, это лучший специалист в мире, он, кроме того, прекрасный коммунист, член партии.

— Ну, тогда я ему не позволю и пальцем ко мне

прикоснуться: разве прекрасный коммунист может быть ещё и хорошим врачом!

Гораздо ближе я была знакома с его сестрой и женой. Лишь немногие знали, как тяжело болен Ленин, и для них весть о его смерти в январе 1924 года не была неожиданностью. Считалось, что у него было слабое сердце, и это — вместе с кровоизлияниями — и было причиной смерти. Но мне приходилось слышать и другую версию. Спустя три недели после похорон Ленина Отто мне под большим секретом рассказал: вскрытие обнаружило, что причиной кровоизлияний был запущенный сифилис[23].

Осенью 1925 года мне неожиданно позвонили из Ленинграда. Я была страшно удивлена, услышав, что мой брат Вяйнё[24] выезжает ночным поездом из Ленинграда в Москву. По моим сведениям, он должен был находиться в финской армии, где он после лицея служил в звании сержанта. Встретив его на вокзале, я первым делом спросила, как он оказался в России. «Меня сюда привезли», — ответил он. И рассказал странную историю.

Его отряд стоял в карауле перед одной из крепостей на Свеаборге, острове около Хельсинки. Вяйнё вышел проверить посты. Была тёмная осенняя ночь, волны хлестали о скалы. Вдруг к берегу подошёл большой катер. «Кто там?» — крикнул брат сквозь вой ветра. На берег молча выскочили пятеро, схватили его и отнесли в катер. Скоро они были в открытом море. Брат не успел опомниться, как оказался в Ленинграде, в «Крестах». Там узнали, что он мой брат, и отвезли к Сирола, в Коммунистический университет народов Запада[25]. Сирола ему объяснил, что в Финляндию ему дорога закрыта — там его задержат как дезертира. Так Вяйнё и оказался у меня в Москве.

Выход был один: вернуться в Ленинград. Брат взял фамилию Кангас, поступил на работу в университет. Он должен был редактировать переводы произведений Маркса на финский язык. Но, хоть Вяйнё и знал хорошо немецкий, с работой он не справился. Тогда его поселили на полном обеспечении в общежитии, и он занялся изучением русского языка. Был он покладист, и ему прочили блестящее будущее. Спустя несколько лет его назначили руководить сельскохозяйственным институтом в Петрозаводске[26], хотя, как человек городской, Вяйнё в сельском хозяйстве смыслил мало. Пишу это затем, чтобы показать, как необдуманно в то время в СССР назначали на должности. К печальной судьбе Вяйнё я ещё вернусь.

ГЛАВА ВТОРАЯ. Коминтерн

С 1924 по 1933 год я работала в Коммунистическом Интернационале, Коминтерне. Прежде, до приезда в Москву, я об этой организации почти ничего не знала. Но вскоре получила возможность довольно близко познакомиться со «штабом мировой революции». В 1921 году мужа назначили секретарём Исполкома Коминтерна, кроме прочего, он занимался разработкой устава и основных направлений деятельности этой организации. С осени 1922 года я участвовала в вечерних обсуждениях дел Коминтерна. Собирались обычно у нас дома, в гостинице «Люкс». Нередко бывали у нас Раковский[27] и Пятницкий[28], оба из Коминтерна. Обычно засиживались за полночь — в Москве это было тогда принято. Поэтому ещё раньше чем начать работать в Коминтерне я уже кое-что знала о его функционерах, его проблемах и задачах. Даже иногда помогала Отто в выполнении некоторых щекотливых заданий, о которых другие сотрудники не должны были знать. На машинке я печатала медленно, двумя пальцами, но первое, что попросил меня сделать Отто, — перепечатать статью, написанную им по-немецки от имени Интернациональной контрольной комиссии Коминтерна. Начало статьи содержало несколько политических обвинений против Александры Коллонтай[29], которая вместе с Александром Шляпниковым[30] высказала критику некоторых положений политики Коминтерна[31]. Далее следовало её признание своей вины и клятвенные заверения впредь не противостоять тактике Коминтерна. «Признание» было тщательно составлено заранее, недоставало лишь подписи Коллонтай. Отто предупредил меня, что дело очень щепетильное и в Коминтерне о нём знать не должны. Я спросила, кто такая Коллонтай. Это чрезвычайно умная, талантливая женщина, объяснил он, но из-за своего непреодолимого стремления защищать начинания, обречённые на провал, ей, как видно, не избежать неприятностей.

Отто также интересовался моим мнением о некоторых служащих Коминтерна. Он научен был горьким опытом не полагаться только на своё мнение, когда надо было оценить чей-либо характер или способности. Внимательно выслушивая других, он уточнял своё представление о человеке. Был он крайне осторожен, всеми средствами старался избежать ошибок в оценках.

От Куусинена и его сослуживцев я узнала, что ещё задолго до революции 1917 года Ленин мечтал образовать международное сообщество, которое занималось бы подготовкой и

осуществлением революций в других странах[32]. На смену старым, капиталистическим правительствам должны были прийти большевистские, коммунистические. В декабре 1918-го или январе 1919-го Ленин собрал в Москве своих друзей и соратников на совещание[33]. Участвовали в нём и многие руководители неудавшегося коммунистического мятежа 1918 года в Финляндии. Обсуждались вопросы создания централизованной интернациональной организации коммунистов, которая бы заменила Второй Интернационал. Штаб организации должен был находиться в Москве. У меня долгие годы хранилась фотография, сделанная на этом совещании. Кроме Ленина, Зиновьева[34], Троцкого и, видимо, Каменева[35], на ней Отто Куусинен и ещё трое финнов: Куллерво Маннер[36], Юрьё Сирола и Эйно Рахья[37].

В начале 1919 года Ленин созвал конференцию, где также обсуждались вопросы создания Третьего Интернационала[38]. Не считая немца Гуго Эберлейна[39], одного австрийца и ещё двоих русских, все участники конференции были политическими эмигрантами и жили в то время в СССР. Эберлейн был уполномочен своей компартией. Остальные иностранные участники конференции не обладали ни правом, ни полномочиями выступать от имени своих партий. Куусинен как-то мне сказал, что некоторые из так называемых представителей даже никогда не видели той страны, которую якобы представляли.

Подбор участников был случаен, однако позже пропаганда, мне кажется, непомерно раздула роль конференции, назвав её «учредительным конгрессом Коммунистического Интернационала». Большинство участников, как и Ленин, были интеллигентами, теоретиками. Определены были лишь несколько основных лозунгов, да и то в общих чертах. Не распределялись должности, не выбиралось руководство, да и ни одного штатного работника в Интернационале не было, если не считать двух-трёх человек, писавших пропагандистские статьи. Поэтому в начале своей деятельности Коминтерн занимался лишь публикацией агитационных статей, страстно призывающих поддержать «хорошее начинание». Карась пытался внушить миру, что он — акула. Конгрессы 1919 и 1920 годов[40], несомненно, имели какое-то историческое значение, но самим Коминтерном оно было в последующие годы преувеличено непомерно — видимо, из стремления ошеломить и друзей, и врагов. Отто считал, что в первые годы организационная структура Коминтерна была малоэффективна.

После мартовского конгресса 1919 года штаб мировой

революции расположился в одном из особняков Денежного переулка. Я впервые вошла в это здание в 1922 году. Мне показалось невероятным, что это и есть центр мировой революции. Я уже писала раньше, что увидела там лишь разношёрстную толпу интеллигентов — русских и иностранцев. В этом здании в 1918 году было немецкое посольство, там был убит германский посол граф Мирбах. Официально считается, что его убили эсеры в знак протеста против Брест-Литовского мира. Ленин тогда же заявил, что убийство посла — лишь преамбула к восстанию эсеров против большевиков, и многие социал-революционеры были расстреляны. Но муж мой говорил мне, что эсеры к тому убийству не имели никакого отношения… Однажды я застала Отто беседующим в своём кабинете с рослым чернобородым человеком. Мне он представился Сафириным. А когда он ушёл, Отто, улыбаясь, сказал, что это был убийца графа Мирбаха — Блюмкин[41]. Он работает в Чека и едет за границу с важным заданием, касающимся Коминтерна. Я сказала, что ведь Мирбах был убит эсерами. Отто лишь громко рассмеялся, и мне стало ясно, что убийство было подстроено, чтобы убрать с дороги мешавшую Ленину партию социал-революционеров.

В начале 1921 года Ленин отозвал Отто Куусинена из Стокгольма и дал задание подготовить устав[42], который будет представлен на утверждение третьего конгресса Коминтерна в июле 1921 года[43]. В соответствии с уставом структура всех коммунистических партий мира была пересмотрена. Отто превосходно умел применять на практике учение Ленина, свидетельством тому — новый устав. До сих пор помню письмо Ленина, которое сейчас хранится в Москве, в его музее. В письме говорится, что никто кроме Куусинена не смог бы так удачно сформулировать устав[44]. Отто писал устав по-немецки, и коммунист Вильгельм Кенен[45], выходец из Германии, получил задание сделать его стилистическую редакцию.

На третьем конгрессе председателем Исполкома Коминтерна был избран Григорий Зиновьев[46]. Членами Коминтерна стали на этом конгрессе, если я правильно помню, тридцать девять коммунистических партий, более или менее реально существовавших. Однако после конгресса они всё больше стали отдаляться от интересов рабочего движения своих стран и всё больше приспосабливаться к целям руководства Третьего Интернационала, находившегося в Москве. Я сознательно говорю о «более или менее реальных» коммунистических партиях, ведь иные из них состояли всего из нескольких членов, иначе говоря, существовали лишь на бумаге. Это тоже были мелкие рыбёшки, уверявшие, что они акулы.

Коротко опишу структуру Коминтерна. Проводившиеся в Москве конгрессы, на которые каждая партия, входившая в Коминтерн, посылала своих представителей, имевших право голоса, были теоретически высшим органом управления Коммунистического Интернационала. В действительности не так. За двадцать четыре года существования Интернационала проводилось лишь семь конгрессов. В промежутках между конгрессами руководство было поручено Исполкому Коминтерна, но и он провёл не более семнадцати пленумов[47]. Входило в Исполком человек тридцать, избирались они на конгрессах из делегатов партий — членов Коминтерна. От некоторых крупнейших партий, к примеру, от германской и советской, в Коминтерне было несколько представителей. Почти все они жили в Москве.

Политический секретариат Исполкома Коминтерна, члены которого также избирались на конгрессе, осуществлял контроль за практической деятельностью. Входило в него от восьми до десяти человек, которые постоянно должны были находиться в Москве. В рамках Политического секретариата работал более узкий секретариат, который составляли три оргсекретаря Коминтерна. Назывался он «узкая комиссия». За те девять лет, что я проработала в штабе Коминтерна, я знала всего трёх человек, приказы которых выполнялись беспрекословно: Отто Куусинен, Осип Пятницкий и Дмитрий Мануильский[48]. Куусинен отвечал за основные направления и следил за политическим и экономическим развитием капиталистических стран. Пятницкий контролировал тайную деятельность, финансы и занимался вопросами кадров и управления. Мануильский имел наименьший вес среди этих троих в принятии важных решений; он был как бы глазами и ушами ЦК партии в Коминтерне, связным между обеими организациями, а также руководил деятельностью Коминтерна во Франции и Бельгии, поскольку знал обе страны со студенческих лет. Секретарём «узкой комиссии» был питомец Отто Куусинена Мауно Хеймо[49].

Каждая партия, входящая в Коминтерн, имела право — если считала это нужным — через своих представителей в Исполкоме ставить Коминтерн в известность о своих проблемах; когда же надо было разрешить серьёзные разногласия и споры в какой-либо заграничной компартии, инициатива принадлежала комиссии. Представители партии вызывались в Москву, и Политический секретариат назначал ответственных работников для переговоров с делегацией. Переговоры часто продолжались месяцами. В конце концов составлялась резолюция, которая ставилась на голосование. Обычно резолюции готовились в

Коминтерне ещё задолго до приезда делегации в Москву, правда, в процессе обсуждения их приходилось довольно часто изменять. Затем члены делегации возвращались в свою страну, чтобы привести деятельность партии в соответствие с резолюцией. Рекомендации, содержавшиеся в решениях, часто были неэффективны в разрешении конкретных конфликтов, а зачастую даже наносили вред компартиям.

Если не считать вопросов борьбы между Сталиным и Троцким, на совещаниях Коминтерна никогда не обсуждались внутренние дела компартии СССР. Среди сотрудников, правда, ходили слухи о борьбе за власть в высших правительственных и партийных кругах; в результате этой борьбы в политике советского правительства и, естественно, Коминтерна происходили крутые и страшные повороты. Вскоре было строжайше запрещено на совещаниях в присутствии иностранных коммунистов упоминать внутренние дела партии. Они не входили в круг бесед и официальных диспутов и хранились в строжайшей тайне. Остальные же компартии обязаны были сообщать в Коминтерн всё, что касалось их деятельности. Чека имела в каждой партии своих людей, из членов этой же партии, и осуществляла строгий контроль. Если иностранец по наивности спрашивал, почему в Коминтерне никогда не обсуждаются внутренние проблемы СССР, он получал ироничные или уклончивые ответы.

Отдельно от Исполкома работала Интернациональная контрольная комиссия, влияние её было велико. Она принимала жалобы и заявления, следила за чистотой веры и морали в компартиях. Девятнадцать членов комиссии избирались на конгрессах Коминтерна, и теоретически она была выше даже контрольной комиссии партии. Руководил ИКК литовский адвокат Ангаретис[50], это был, кажется, единственный человек, который постоянно находился в помещении ИКК. Контрольная комиссия могла вызвать для беседы любого партийного функционера, члена любой компартии и назначить ему наказание за действительные или мнимые прегрешения. Если речь шла о высокопоставленном работнике, то обычно, прежде чем снять с должности, его строго прорабатывали на специально созванном совещании. Заседания и решения держали в секрете, на них не присутствовали стенографистки и не вёлся протокол. В особых случаях, когда протокол был необходим, прибегали исключительно к помощи немецкой стенографистки Алисы Абрамович[51]. Однажды Отто попросил её записывать каждое слово. Это было в 1933 году. Он выступил на ИКК с пространной раздражённой речью против своего многолетнего конкурента,

финна Куллерво Маннера. Я об этой речи слышала от Юрьё Сирола, члена ИКК. Обычно в комиссии выступали только обвиняемый и обвинитель, и, прежде чем принять важное решение, комиссия интересовалась мнением Куусинена.

Из всех комиссий, формировавших политику Коминтерна, наиболее влиятельной и чрезвычайно секретной была «узкая комиссия»; но было и множество других, тоже (поскольку они друг друга дополняли) очень важных. Но наиболее секретным был отдел международных связей, ОМС — мозговой центр, святая святых Коминтерна. Сеть уполномоченных ОМС охватывала весь мир. Через этих агентов руководителям компартий отдавались приказы Коминтерна. Кроме того, уполномоченные передавали партиям средства, выделенные Коминтерном на партийную деятельность и пропаганду. (Для маскировки этого вида деятельности создавались различные организации, например «Друзья СССР» или «Союз мира и демократии».) В 1920-е годы финансовая помощь от ОМС доставлялась за границу с дипкурьерами. «Резидентом», иначе говоря, посредником был обычно работник советского посольства, лицо, обладающее дипломатической неприкосновенностью. Во многих странах посредниками при переводе финансовых средств служили торговые фирмы, как, например, Амторг в Нью-Йорке или Аркос в Лондоне. Деятельность ОМСа этим не ограничивалась. Отделу подчинялись все тайные торговые предприятия, депутации и секретные службы информации; отдел также занимался редактированием, шифровкой и расшифровкой донесений и пропагандой.

Кроме того, ОМС был связующим звеном между Коминтерном и разведслужбой Генерального штаба, а также между Коминтерном и тайной полицией, название которой постоянно менялось: Чека, ГПУ, НКВД, МВД, сейчас же она называется — КГБ. Однако сотрудничество не всегда проходило гладко, между ОМСом и тайной полицией отношения сложились натянутые. Возможно, отчасти именно поэтому в чистках 1930-х годов погибло так много работников Коминтерна. Муж мой питал отвращение к военной разведке.

Со времени основания Коминтерна ОМСом руководил Миров-Абрамов[52], но равные с ним права имел и Осип Пятницкий, один из трёх членов «узкой комиссии». Этот человек, несомненно, был в ОМСе на своём месте. Родом Пятницкий был из Литвы, начинал учеником портного. С молодых лет, ещё на рубеже веков, он принимал активное участие в революционном движении; недостаток образования компенсировался у него большим опытом нелегальной деятельности. Пятницкий превосходно знал

приграничные районы России и Германии, а первым его партийным заданием была тайная переправа из Германии в Россию антицаристских листовок и газет, помощь нелегально переходящим границу. Позже он многие годы работал под началом Ленина в Германии, Англии, Франции и Швейцарии. Когда он однажды выполнял в России секретное задание, его арестовали и сослали на два года в Сибирь. Ссылку прервала Февральская революция 1917 года. Пятницкий был, несомненно, одним из столпов деятельности Коминтерна. Но люди неблагодарны, его обвинили в троцкизме, и он погиб в чистках конца 1930-х годов. Та же участь постигла и Мирова-Абрамова.

В состав ОМСа входил и отдел документации, которым руководил Мильтер[53]. Здесь подделывали визы, печати и документы; но фальшивые паспорта изготовлялись редко. Гораздо легче было получить через коммунистические партии различных стран паспорта, бывшие в употреблении (а ещё лучше — «чистые», новые), в которых лишь заменялась фотография и проставлялись нужные печати и визы. Наибольшим спросом пользовались паспорта США. Приезжая в Москву на конгрессы и совещания, иностранные делегаты сдавали паспорта в отдел и получали их обратно лишь перед самым отъездом. Иностранцы, конечно, и не догадывались, что с печатей и подписей в их паспортах снимались точные копии. В отделе Мильтера работало человек десять. Он тоже погиб в 1937 году.

Крупнейшим был отдел печати. Правда, в нём не печатали ни газет, ни журналов, так что название не соответствовало действительности. Там работали переводчики и стенографистки, владевшие немецким, русским, испанским, французским и английским. Поскольку далеко не у всех заведующих отделами и других работников были личные секретари, им приходилось прибегать к помощи отдела печати: в нём изготовлялось множество копий с различных документов, расшифровывались стенограммы.

В отделе печати работал чрезвычайно способный человек, беженец из Венгрии — Левин[54]. Это был, пожалуй, лучший синхронист того времени, владел он почти всеми языками. Когда какой-нибудь иностранный представитель произносил речь, Левин переводил её в микрофон совершенно синхронно, не отставая ни на слово от говорящего, на немецкий или русский. Я однажды спросила, как это он так быстро переводит с немецкого, ведь надо дождаться конца фразы, чтобы узнать, какой глагол употребит говорящий. «Не могу понять, как вам это удаётся», — сказала я. Левин ответил: «Как только они начинают фразу, я уже знаю, какой глагол они собираются употребить, и редко

ошибаюсь».

Одним из крупнейших был также организационный отдел, которым руководил Пятницкий. Когда я начинала работать в Коминтерне, отдел возглавлял старый большевик Борис Васильев[55]. Впоследствии он перешёл в аппарат партии, и на его место назначили эстонца Меринга[56]. Он тоже погиб в 1937 году. Орготдел осуществлял контроль за иностранными компартиями, проверял, как выполняются рекомендации Коминтерна, выявлял отклонения от генеральной линии, внутренние разногласия в партиях. В отделе постоянно изучались экономические и политические материалы, издававшиеся в еженедельном информационном бюллетене Коминтерна. Если орготдел обнаруживал какие-либо нарушения, начальник отдела или его заместитель встречались с членом Исполкома, представлявшим ту или иную «провинившуюся» партию, чтобы обсудить, какие меры следует принять. В особо сложных случаях начальник рекомендовал послать инструктора орготдела, чтобы разрешить проблему на месте.

Каждый функционер Коминтерна, выезжавший за границу, должен был сдать свой партбилет, а если поездка была нелегальной — то и все остальные документы в орготдел, где они хранились до его приезда.

Большим и важным был также отдел агитации и пропаганды, который в сотрудничестве с ОМСом давал руководящие указания по вопросам пропагандистской деятельности. Московская «Радиостанция имени Коминтерна» впрямую Коминтерну не подчинялась, но получала много материалов из отдела агитации и пропаганды.

Я свою работу в Коминтерне начала в 1924 году в отделе информации. Руководил им в то время старый большевик Гусев[57], которого вскоре заменил Борис Шубин[58], тоже русский. Отдел этот был обширный, и работали в нём специалисты, бывшие в курсе всех событий в крупнейших странах мира. В отделе прочитывались газеты и журналы всех политических направлений, из важнейших делались выжимки, которые еженедельно издавались в бюллетене. Отдел информации был разделён на национальные и территориальные секторы: скажем, страны, географически примыкающие друг к другу и имевшие сходные проблемы, входили в один сектор.

Надо ещё упомянуть административный отдел, которым руководил способный ленинградский адвокат Кивелиович[59]; заместителем его был Козлов, человек довольно ограниченный. Отдел Кивелиовича занимался хозяйственными вопросами. В его ведении было здание Коминтерна и две московские гостиницы —

«Люкс» и «Малый Париж». Отдел бронировал гостиничные номера, заказывал театральные билеты и доставлял всё необходимое, когда в Москву приезжали иностранные делегаты. Административному отделу подчинялся финансовый отдел, там начислялось жалованье работникам аппарата, оплачивались текущие счета. Старшим казначеем был Орест.

Ещё существовал отдел кадров, который занимался всеми кадровыми вопросами, и прежде всего проверял политическую благонадежность работников. Работали там люди из ГПУ, они мало считались с мнением руководства Коминтерна, и между этими двумя организациями часто возникали разногласия.

В состав Коминтерна входил и женотдел, которым руководила Клара Цеткин. Это была единственная женщина в Исполкоме, но, поскольку она в то время была уже старая и почти слепая, основную работу вела её подопечная, немка Герта Штурм[60]. Женотдел добывал сведения о деятельности различных женских организаций во всём мире. Он принимал видных деятельниц коммунистического движения и заботился о том, чтобы у них не сложилась превратная картина жизни в Москве.

Наконец, ещё три организации, находившиеся в тесном сотрудничестве с Коминтерном, получавшие от него инструкции и финансовую помощь: Коммунистический интернационал молодёжи (КИМ)[61], Крестинтерн[62] и Профинтерн (международный союз профсоюзных организаций)[63]. Кабинеты КИМа находились в здании Коминтерна, он занимался молодёжным движением, посылал за границу своих инструкторов. Руководил им грузин Ломинадзе.

Крестинтерн был создан, чтобы объединить различные иностранные крестьянские организации под эгидой Коминтерна, но попытка оказалась бесплодной. Из трёх организаций значение имел только Профинтерн.

В этой связи хочется сказать несколько слов о человеке, которого можно назвать оргсекретарём всего Коминтерна, — Мауно Хеймо. Хеймо, студент правоведения, в Финляндии принимал участие в мятеже 1918 года и бежал в Швецию. Именно он помог Отто тайно переправиться из Швеции в СССР. Отто был с ним хорошо знаком и в начале 1924 года вызвал его в Москву. Помню, как Хеймо впервые появился в нашей квартире в гостинице «Люкс». Едва усадив гостя, Отто заговорил с ним о наиболее неотложных проблемах:

— Я давно тебя жду. Коминтерн не имеет настоящей организационной структуры, и мы с тобой должны её создать. У нас там нет способных работников, и никто толком

не знает, чем должен заниматься. Тысяча пятьсот человек получают деньги, но никто из них не знает, кому подчиняется и каковы его полномочия. Хаос страшнейший! Мы должны заново пересмотреть всю организацию.

Хеймо ответил:

— Дай сперва оглядеться… Мне потребуется список всех тысяча пятисот работников, чтобы выяснить, что это за люди.

Не прошло, кажется, и недели с того разговора, как Хеймо пришёл вечером к нам домой и представил Отто отчёт:

— Я изучил список работников, познакомился с наиболее ответственными из них и выяснил, в чём состоит их работа. Вот список ненужных людей — тысяча человек. Мне надо ещё немного времени, чтобы решить, как распределить работу между оставшимися. Ясно пока одно: надо переехать в новое здание, более пригодное под учреждение, чем нынешнее.

Через два дня Хеймо детально изучил дом номер шесть по улице Моховой в центре Москвы, неподалеку от Кремля. В тот же вечер он принёс Отто проект, на котором было отмечено, как переделать квартиры в кабинеты. Хеймо был чрезвычайно способный и умный молодой человек, особый талант у него был на решение организационных и кадровых вопросов. В тот же вечер, показав Отто свой проект, он представил предложения, как распределить работу в Коминтерне, чтобы добиться наибольшей эффективности и чтобы в отделах было легче соблюдать секретность.

У Отто не было абсолютно никаких организационных способностей, он был в восхищении от таланта Хеймо. Помимо всего, Хеймо ладил с людьми, его любили.

Работа Коминтерна отныне была организована так, что вся власть была сосредоточена в руках Отто, Пятницкого, Хеймо и (в меньшей степени) Мануильского. Таким образом, сам Хеймо стал кем-то вроде оргсекретаря Коминтерна, у него были широкие полномочия в принятии решений по повседневным вопросам. Хеймо постоянно знал больше других о том, что делалось в аппарате Коминтерна. Должность «секретаря секретарей», созданная именно для него, открыла перед ним все двери. Но, как и Отто, он не считал нужным афишировать свою огромную власть и при посторонних держался как скромный клерк.

Вскоре после приезда в Москву Хеймо женился на американке латышского происхождения, приехавшей в СССР в качестве переводчицы американской группы помощи АРА[64]. У них родился мальчик, но ни о нём, ни о его матери я ничего не знаю. Сам Хеймо погиб во время сталинского террора. Доля его участия в реорганизации Коминтерна и в его повседневной

деятельности была гораздо значительнее, чем обычно принято считать. Доказательством служит, в частности, тот факт, что ему вместе с секретарём Зиновьева Тивелем[65] было поручено написать историю Коминтерна первых десяти лет существования[66].

У главного входа в здание Коминтерна находилась комендатура. Посторонним вход был воспрещён. Охранники в штатском были не работниками Коминтерна, а людьми печально известного ГПУ. Приказы тайной полиции надо было выполнять беспрекословно. У входной двери и у дверей святая святых всего Коминтерна — ОМСа, на шестом этаже, всегда стояли часовые. У всех входящих в здание спрашивали о цели визита. Обычно встречи назначались заранее. Гостя провожали в комнату ожидания, комендант сообщал Хеймо, кто пришёл и с кем хочет встретиться. Хеймо проверял, ждут ли посетителя, и по телефону распоряжался выдать пропуск. Когда пропуск бывал выписан, в соседней комнате тщательно изучались документы пришедшего, чтобы выяснить, действительно ли он тот, за кого себя выдаёт. И только после этого его провожали в нужный кабинет.

При входе и выходе работники Коминтерна должны были делать отметку в своей карточке. Это требование не касалось лишь членов Исполкома и высших чинов Коминтерна.

Библиотека и архив Коминтерна находились в подвале здания. Библиотекарем был бывший финский студент, подопечный Отто Аллан Валлениус[67]. Он прошёл библиотечный курс в городской библиотеке Нью-Йорка и прекрасно владел несколькими языками. В своей области ему не было равных; он погиб в 1938 году.

Архивариусом был Борис Рейнштейн[68], тоже хорошо знавший своё дело. Он учился в Париже и был задержан за революционную деятельность. Затем он переехал в США, а после революции вернулся в Россию. Это был образованный и общительный человек.

Когда я однажды, кажется в 1928 году, пришла в архив, старый Рейнштейн сидел за своим письменным столом, в задумчивости подперев голову руками. Я спросила, почему он такой грустный.

— Да вот, думаю о том, что в мире три типа людей: те, кто умирает слишком рано, те, кто умирает слишком поздно, и те, чья смерть приходит как раз вовремя, — ответил он. — Я вот сижу и думаю, кого из наших вождей к какой группе отнести. Ясно, что Ленин умер слишком рано, страна выиграла бы, живи он подольше, а вот Троцкий не заметил момента, после которого

от него больше не было пользы. Ему лучше было умереть вовремя, но он остался жить. Посмотрите, я здесь вписал имена руководителей в графы, где они, по-моему, должны находиться…

Велико же было моё удивление, когда я увидела, что Рейнштейн поместил Сталина во вторую графу — как это он не побоялся?

— Но, — продолжал он, — я не знаю, как быть с самим собой. Я часто думаю, что зажился и никому не нужен!

Рейнштейн был одним из тех редких служащих Коминтерна, которые умерли естественной смертью.

Хертта Куусинен[69], дочь Отто от первого брака, приехала в Москву в 1922 году, окончив в Финляндии школу. По советским законам каждый, достигший восемнадцати лет, был обязан устроиться на работу. Пришлось искать для Хертты место. Я предложила, чтобы она продолжала учёбу, но Отто и слышать об этом не хотел — он был невысокого мнения о русских учебных заведениях, да к тому же Хертта не знала русского. Я её устроила в библиотеку Коминтерна, к Аллану Валлениусу. Кроме того, Хертта окончила курсы шифровальщиков при Коминтерне. Вскоре она вышла замуж за финна, студента советской военной академии Тууре Лехена[70]. Обучившись библиотечному делу, Хертта Куусинен перешла на работу в финскую компартию и со временем была послана со спецзаданием в Финляндию. Там она была арестована и провела многие годы в тюрьме. После своего освобождения в 1944 году она занимала ведущий пост в компартии Финляндии, вплоть до смерти своего отца. Хертта единственная из близких Куусинена не подверглась в СССР репрессиям. О жизни в России она мало что знала, так как бывала лишь в гостинице «Люкс» и в здании Коминтерна.

Поступая на работу в Коминтерн в 1924 году, я предварительно должна была сообщить все данные о себе, подписать множество документов и ответить на вопрос, знаю ли я марксизм. Ленин, говорят, на такой вопрос ответил: «Пытаюсь ему научиться».

Меня посадили за пустовавший стол в кабинете Ярославского, бывшего в то время председателем контрольной комиссии партии[71]. Я слышала, что в Коминтерне он находился потому, что изучал в его архиве документы по некоторым щекотливым вопросам. Я с ним виделась мало.

Для начала меня ознакомили с материалами по истории и работе Коминтерна, с принятыми резолюциями и решениями. Текст я получила на немецком языке. Каждый новый работник должен был изучить эти материалы.

В отделе информации я занималась изучением политической и экономической жизни Швеции, Норвегии и Дании; должность называлась — референт по Скандинавии. Я внимательно читала все крупнейшие издания, выходящие в Скандинавии, информацию ТАСС и заявления советского правительства, касающиеся этого региона. Мне помогали берлинец Вилли Миленц и стенографистка из отдела печати. Каждую неделю мы готовили два реферата на немецком языке о каждой из трёх стран. Один — о политике, другой — об экономике. Оба реферата должны были каждую пятницу около четырёх часов дня лежать на столе у Хеймо. Их изучал сам Хеймо или по его просьбе кто-нибудь другой, малозначительные факты вымарывались, остальное переводилось на русский. Один экземпляр русского текста, если мне не изменяет память, доставлялся в секретариат Сталина.

Мы получали телеграммы ТАСС двух типов: на серых бланках — информация, которая печаталась в газетах, и секретные сведения — на розовых бланках. Их имели право читать лишь немногие из служащих Коминтерна и члены ЦК партии. Ко мне в кабинет часто заходили редакторы иностранных отделов «Правды», «Известий», «Вечерней Москвы», спрашивали, нет ли в секретных телеграммах новостей, которые можно использовать в газете. Я передавала им устно некоторые сведения о забастовках и других событиях, но телеграммы показывать не имела права.

Мой помощник Миленц во время первой мировой войны работал на фабрике в Швеции и хорошо знал шведский. Это был неплохой, толковый помощник. Был, правда, у него недостаток, из-за которого он и пострадал. Миленц не только критиковал действия советского правительства, но по своей наивности ещё и писал в различные инстанции жалобы, в которых со свойственным немцу высокомерием давал советы, как в Москве улучшить жизнь рабочих. Я разделяла его критическое ко всему отношение, но никогда не говорила об этом ни с кем, кроме мужа. Мне приходилось не раз говорить Вилли, что советы его и бесполезны, и опасны, но он упорно продолжал своё. Когда я в 1933 году возвратилась из Америки, Вилли в Коминтерне не было, и где он — никто мне не смог ответить.

К счастью, жизнь в Скандинавии в 20-х годах протекала довольно ровно, поэтому составление рефератов особых трудностей не представляло. Помню, правда, кое-какие сложности с профсоюзами Норвегии, но вообще о рефератах я почти всё позабыла.

В 1925-м на пленуме Исполкома разбирали компартию Швеции за то, что она ослушалась некоторых приказов

Коминтерна. От шведов были Чильбум[72], Самуэлссон и Стрём[73]. Они обвинялись в том, что сорвали первомайские демонстрации трудящихся, не последовав примеру Осло и Копенгагена. Чильбум, руководитель шведской делегации, произнёс пространную гладкую речь. Он, казалось, был чрезвычайно собой доволен. Да и вся шведская компартия была о себе высокого мнения. Руководство же Коминтерна считало иначе…

Швеция была страной крайне буржуазной, компартия там была слабая и незначительная, она, конечно, была не в состоянии сделать революцию или хотя бы поднять восстание. По словам Чильбума, первомайская демонстрация была отменена из-за дождя. Рабочие вряд ли в такую погоду вышли бы на улицы, и руководство, чтобы сохранить престиж партии, решило демонстрацию отменить. Когда Чильбум кончил говорить, на него посыпались насмешки: «А что бы вы сделали, если бы это была революция? Тоже отменили? Что бы стало, по-вашему, с Октябрьской революцией, если бы мы испугались дождя, снега, града?» — говорили Пятницкий и другие члены Исполкома.

После этих обвинений Чильбум ещё раз встал и ответил подчёркнуто спокойно и с достоинством:

— Возможно, мы в Швеции иногда и ошибаемся — сделаем шаг вправо или влево, но не забывайте, что и мы на пути к революции.

Едва эти слова были переведены на русский, как ко всеобщему удивлению Сталин мрачно сказал:

— Ни шага вправо и ни шага влево — прямо надо идти!

Все были уверены, что карьере Чильбума настал конец: так обычно бывало после публично высказанного строгого замечания Сталина. Если же речь шла о советском гражданине, его ожидало гораздо худшее.

Чильбум прекрасно знал, как в Москве распоряжались людскими судьбами, и я ничуть не удивилась, когда Отто рассказал, что Чильбум был у него в кабинете и со слезами на глазах просил вычеркнуть его слова о шаге вправо и влево и резкое замечание Сталина из протокола. Бедный Чильбум был полумёртв от страха и расточал похвалы Сталину и Отто — лишь бы простили его ошибку и забыли всю эту историю. Отто говорил о нём со Сталиным, и тот, смеясь, согласился Чильбума простить. Скоро Чильбум снова ходил с важным видом.

Расскажу немного о так называемом зиновьевском скандале. Осенью 1924 года английские газеты напечатали письмо, в котором Коминтерн давал советы английской компартии.

Письмо, якобы подписанное председателем Исполкома Коминтерна Зиновьевым и Отто Куусиненом, было зачитано в английском парламенте[74]. Что же произошло на самом деле?

После пятого конгресса, летом 1924 года[75], Коминтерн действительно переправил английской компартии ряд инструкций. Речь шла прежде всего о действиях в Индии, где, казалось, обстановка созрела для начала революционных интриг. Кроме того, английской компартии рекомендовалось создавать в армии партийные ячейки и разжигать трудности в колониях. Но английская компартия была неосторожна, и содержание письма стало частично известно журналистам. Они составили новое, подложное письмо, и оно-то и было зачитано в парламенте. Отто с самого начала знал, что зачитанное письмо — фальшивое, хотя оно и содержало часть подлинных инструкций. В подписи Куусинена был лишь один инициал, а он всегда подписывался «О. В. Куусинен».

Москва была в ужасе от того, что в компартии Англии так неосторожно обращались с важными документами. Руководству был вынесен строгий выговор. В британском парламенте письмо вызвало бурю возмущения, члены парламента потребовали объяснений от премьер-министра Великобритании и от советского правительства. Обстановка накалилась не только в Коминтерне, но и в Наркомате иностранных дел. В Коминтерн приехал сам Чичерин[76] и вёл долгие переговоры за закрытыми дверями с Куусиненом и Пятницким. Позже я узнала от Отто, что Чичерин был крайне недоволен тем, что Коминтерн занимался тайной деятельностью, ставившей под угрозу дипломатическую деятельность советского правительства. Он потребовал, чтобы Коминтерн прекратил тайную, незаконную деятельность — для этого есть специальные организации. После этого события часть секретной работы была передана в четвёртое управление Армии и ГПУ. Чичерин был вынужден заверить англичан в том, что Коминтерн никогда не прибегнет к тайным или незаконным действиям, не говоря уж о том, что «письмо Зиновьева» было низкопробной подделкой.

Но британцы этим не удовлетворились. Профсоюзы Англии попросили разрешения внимательно ознакомиться с материалами Коминтерна. Требование поначалу показалось невыполнимым, но Отто и Пятницкий решили отобрать компрометирующие Коминтерн материалы и дать после этого английской делегации возможность ознакомиться со «всеми» бумагами, касающимися английских дел. Последовали три дня и три ночи судорожной работы. Под наблюдением Мауно Хеймо и архивариуса Бориса Рейнштейна изымались все опасные документы и особенно всё,

что было связано с тайными инструкциями для английской компартии. Была переписана даже книга регистрации переписки. Изъятые бумаги куда-то увезли, а заодно провели репетицию приёма англичан.

С проверкой приехали три человека. Попросили показать помещение и документы Коминтерна. Все они знали русский или немецкий. После проверки, когда англичане уехали, коминтерновцы ещё долго радовались, что им так ловко удалось провести англичан и отвести от Коминтерна всяческие подозрения.

Ленин верил, что со временем в странах, где создаётся революционная ситуация, способные руководители сами собой выдвинутся из народа. Но Куусинен в конце 1924 года пришёл к выводу, что надежды эти не соответствуют действительности: способных коммунистов надо приглашать в Советский Союз, обучать руководству партией и посылать их потом обратно в свою или другую страну. Это было главное, что Куусинен понял в результате неудавшихся революций в Финляндии, Венгрии, Германии, Польше и Болгарии. Он считал, что хорошие руководители не могут появиться как по волшебству на пустом месте, их надо готовить в СССР из лучших людей, которых можно найти за границей! Не думаю, что один только Куусинен придерживался этого вполне верного взгляда. Незаметно, но очень настойчиво он добивался поддержки советского руководства.

В результате этой его работы в 1925 году в Москве открылась Ленинская школа[77], где приезжавшие из капиталистических стран молодые коммунисты обучались революционной деятельности. Эта закрытая секретная школа находилась на улице Кропоткина во дворце времён Екатерины Второй. Когда студентов стало больше, школа переехала в большее помещение. Со времени основания школы до 1939 года руководила ею госпожа Кирсанова[78], бывшая замужем за председателем контрольной комиссии партии Ярославским. В первые годы в школе были только русское и английское отделения, затем их стало десять, для разных национальностей. Обучение длилось от двух до четырёх лет, в программу входили истмат, история компартий, работа в партии, навыки нелегальной работы, порядок проведения революции, применение шифровки, другие предметы. Не знаю точно, сколько человек окончили школу, думаю, их было несколько сотен. Некоторые из них впоследствии заняли у себя дома высокие посты, например Энвер Ходжа в Албании[79]. Бывший ученик Ленинской школы Аксель Ларсен был известным

политическим деятелем в Дании[80].

Сейчас вместо Ленинской школы существует другое учебное заведение[81]. В 1964 году я случайно услышала от одного молодого иностранца, что он учится в Москве в какой-то секретной школе. Что-то вроде политической, социальной академии, обучение длится пять лет, и учатся там только иностранцы. Обучение велось на русском и английском языках. Один мой знакомый сообщил мне даже адрес, я ходила проверять — там действительно находилась эта школа.

В подчинении Коминтерна был также Коммунистический университет трудящихся Востока[82], известный как университет Сунь Ятсена[83]. Москва имела виды и на Азию. В университете учили, как совершать революцию, представителей народов Азии, прежде всего китайцев. Директором была Мария Фрумкина[84]. Я с ней познакомилась много лет спустя в Лефортовской тюрьме.

Коминтерн издавал два журнала — «Коммунистический Интернационал» и «Инпрекорр». Первый журнал выходил нерегулярно, в основном в нём печатались теоретико-политические статьи, часто их писали руководители Коминтерна. В редколлегию журнала входили в разное время Зиновьев, Варга[85], Бухарин, Радек и Куусинен. Редакция находилась в Москве, а сам журнал печатался в Гамбурге на немецком, а часто и на других языках. Гамбург был выбран потому, что оттуда журнал легче было распространять по всему миру.

«Инпрекорр» печатался в 1920-х годах тоже в Гамбурге. Его главным редактором был Юлиус Альпари[86], венгерский коммунист. Он владел несколькими языками, был разносторонне образован. Альпари часто приезжал в Москву за материалами. В его издании печатались статьи о работе различных отделов Коминтерна и о деятельности крупнейших компартий мира, сообщения о пленумах, совещаниях, различные решения и резолюции. «Инпрекорр» предназначался для компартий различных стран и издавался на немецком, английском, испанском и французском языках. Редакция подчинялась Политическому секретариату Коминтерна. Позднее «Инпрекорр» стали издавать в Москве. Через него осуществлялась связь между компартиями. Думаю, материалы этого издания могут представлять интерес для научного исследования. Важно, однако, помнить, что из соображений секретности и пропаганды в журнале часто печатались дезориентирующие сведения, действительное положение дел предпочитали держать в тайне.

Коминтерном финансировался ещё один журнал — «World News and Views», хотя он и был печатным органом Института мировой экономики. Редактором был Евгений Варга. В нём

публиковались статьи по вопросам экономики и политической пропаганды.

Эти издания поглощали немало средств. Вообще, большая часть коммунистической прессы мира хотя бы частично субсидировалась Коминтерном. И лишь немногие из руководителей знали, какие это были суммы, думаю — немалые.

Итак, третий конгресс Коминтерна принял подготовленный в 1921 году Куусиненом и одобренный накануне конгресса Лениным устав. Впоследствии устав этот действовал во всех компартиях мира. Важнейшим было положение о партийной ячейке — основной структурной единице партии. Ячейки должны быть в каждом учреждении и на каждом предприятии: в совхозе, колхозе, на заводе… В ячейку входит минимум три члена партии, а на заводах и в крупных учреждениях — сотни и тысячи человек. Ячейка избирает партсекретаря и бюро. Следующая ступень — райкомы, над ними — обком и так далее — до ЦК и Политбюро партии. Над ними только съезд. На каждой ступени — свой секретарь и свои органы руководства. Секретарь ячейки отвечает за деятельность своей организации и поддерживает связь с райкомом. Он обязан следить, чтобы члены ячейки регулярно участвовали в партсобраниях и платили членские взносы. За невыполнение исключали из партии, а это часто влекло за собой увольнение с работы. Коминтерн был в этом отношении чрезвычайно твёрд. Взносы составляли полпроцента от зарплаты. Иностранцы, работавшие в Коминтерне, платили взносы в своих партиях.

Рассказываю эти подробности, чтобы читателю легче было понять, как проходили собрания партячейки Коминтерна. Они проводились нерегулярно, лишь когда секретарь и различные комиссии ячейки считали это необходимым. Иногда ячейка собиралась раз в неделю. Так было, например, во время борьбы Троцкого со Сталиным. Собрание вёл секретарь, он зачитывал доклад, полученный из более высоких инстанций. Присутствующие могли задавать вопросы и даже дискутировать по поднятой проблеме, затем секретарь зачитывал резолюцию. Он получал её готовой из райкома. Резолюция, естественно, принималась единогласно.

Собрания проводились в клубе, в нижнем этаже здания Коминтерна. Приходилось часами сидеть на узких скамейках — и это после восьмичасового рабочего дня, когда все утомлены и мечтают только скорее попасть домой. Особенно мучились на этих собраниях иностранцы, не знавшие русского языка. Они едва сдерживали зевоту, но возразить не смели. Члены Исполкома на собрания не ходили, они были чересчур заняты. Собрания были

унылые, однообразные, хотя в среде коминтерновцев, людей образованных, они могли бы быть более живыми.

Как же, наверное, скучали простые рабочие, слушая высокопарные доклады и не улавливая даже их смысла. В политике они не разбирались. Жизнь рабочих в других странах по этим докладам представала крайне неприглядной. Один докладчик как-то раз пожаловался мне, что ему трудно после доклада отвечать на вопросы рабочих: «Они мне просто не верят! А ответить по-своему я не имею права. Простого человека ведь политика не волнует, для него главное — продукты, одежда, квартира, размер зарплаты и возможность обучать своих детей!»

Кроме утомительных собраний ячейки и «чисток», служащим Коминтерна приходилось ходить на профсоюзные собрания. Собирались они, правда, реже, чем партийные. Вёл их тоже партсекретарь. Коминтерновцы были членами профсоюза работников культуры. Позднее он был, кажется, переименован.

Для читателя слово «чистка», скорее всего, обозначает сталинский террор, во время которого были уничтожены многие тысячи людей. Но существовали ещё и чистки в партии, когда исключали неблагонадёжных членов.

Чистки проводила собственная парторганизация. Контрольная комиссия назначала комиссию по чистке из членов ячейки. На собрании должны были присутствовать все, кроме Политического секретариата и членов Исполкома. Обычно собрания тянулись с шести вечера до полуночи. Недовольны были все — собрание было лишней нагрузкой после рабочего дня. Но особенно трудно приходилось «подсудимым». Они весь день нервничали, ожидая ужасного испытания.

Чистка проходила следующим образом: человека, который должен был защищаться, вызывали на трибуну. Комиссия и присутствующие начинали допрос. Многие отделывались сравнительно легко. Но некоторые проходили через жестокие испытания. Если у тебя были враги, они имели возможность повлиять на результат судилища. Правда, сразу из партии не исключали, решающее слово было за контрольной комиссией. Если повода для исключения не было, дело прекращали, не ставя на голосование. Если же обсуждение складывалось не в пользу обвиняемого, никто не смел сказать ни слова в его защиту. Председатель спрашивал: «Кто против?» Никто не осмеливался протестовать, и решение принималось единогласно. Покажу на двух примерах, как проходили чистки.

Австриец Штанге работал в отделе печати Коминтерна. Во время первой мировой войны он попал в плен, был сослан в Сибирь, а после войны там и остался. Женившись, сложными

путями перебрался в Москву. Благодаря знанию немецкого устроился на работу в Коминтерн. Жил он с семьёй недалеко от Москвы в небольшом домике, разводил клубнику, купил корову. Иногда продавал молоко и клубнику коминтерновцам. Именно за это его разбирали: как спекулянта!

Когда я вернулась домой с собрания, где был осуждён Штанге, и рассказала обо всём Отто, он страшно удивился, спросил, неужели я тоже голосовала за исключение Штанге.

— Конечно, — ответила я, — иначе и меня бы исключили.

Отто вскочил:

— Сумасшедшие! Какой же Штанге спекулянт?

На следующее утро Куусинен сходил в контрольную комиссию, и Штанге оставили в покое. Это был единственный случай, когда Отто осмелился защищать невиновного. Штанге был настолько малозаметной фигурой, что, защищая его, Отто ничем не рисковал. И потом, он любил клубнику…

Второй случай произошёл в 1928 году. Разбирали гораздо более значительного человека, редактора журнала «Коммунистический Интернационал» Петровского[87]. Это был способный, знающий языки журналист, он только что вернулся из командировки в Англию. Он с достоинством, обстоятельно рассказал о себе, и всем уже показалось, что чистку он прошёл. Председательствующий спросил, хочет ли кто-нибудь взять слово. Вдруг встала незнакомая женщина и спросила:

— Товарищ Петровский, вы жили в Бердичеве, когда там были немцы (во время мировой войны)?

Петровский ответил утвердительно, и женщина продолжала:

— Где вы тогда работали?

— Я был бургомистром города.

— Как вас тогда звали?

— Липец.

— Это немцы назначили вас бургомистром?

— Да, но партия одобрила мое назначение.

— Вы знаете человека, подписывавшего смертные приговоры, вынесенные немцами евреям?

— Да, это был я, Липец.

Оказалось, что на собрании присутствует несколько евреев, свидетелей из Бердичева, и Петровский-Липец, который и сам был евреем, подвергся яростным нападкам. Единогласно проголосовали за исключение Петровского из партии. Дело было передано в контрольную комиссию для дальнейшего расследования. Там выяснилось, что за Петровским числятся и другие преступления, он был приговорён к смертной казни и расстрелян. Когда Троцкий командовал Красной Армией,

Петровский был инспектором военных училищ, то есть правой рукой Троцкого. Одного этого было достаточно, чтобы вынести смертный приговор. Ко всему прочему выяснилось, что Петровский в 1927 году был редактором тайной газеты троцкистов, которая печаталась на Моховой, в подвале одного дома. Известная как хороший адвокат, сестра Троцкого Нюрина (видоизменённая подлинная фамилия Нюрнберг) тоже была расстреляна как троцкистка.

Иностранным служащим Коминтерна, которые были членами ВКП(б), тоже приходилось проходить чистки. Многие плохо говорили по-русски, и выступления переводились. Все без исключения ждали чисток с ужасом. Однажды ко мне в кабинет пришла в слезах дочь Чемберлена, стала спрашивать, как себя вести, что говорить на собрании. Это была дочь тогдашнего министра Англии сэра Остина Чемберлена[88], завербовал её руководитель компартии Мак-Манус[89]. Она была уверена, что из партии её исключат как дочь члена английского правительства. Я посоветовала ей сказать, что отец её родился гораздо раньше неё и поэтому она не знает, как он стал министром. Девушка так и сказала, и под общий хохот её оправдали. Работала она в отделе печати Коминтерна. Когда именно её в конце концов «вычистили», я не знаю.

Лишь немногие тщательно отобранные работники штаба Коминтерна считались достаточно компетентными, чтобы выполнять спецзадания за границей. Это были так называемые «международные кадры». Послать за границу могли человека из любого отдела, в любом звании, даже члена Исполкома. Люди эти знали языки, имели опыт работы за границей.

«Международные кадры» посылались за границу с самыми разными заданиями. Чаще всего — улаживать внутренние конфликты или с проверкой в компартиях. Обычно их избегали посылать в ту страну, откуда они приехали. Всех не помню: их было человек сорок. Я и Елена Стасова были в этой группе единственными женщинами. Задание утверждала «узкая комиссия». Поездки держались в секрете. Человек исчезал без всяких объяснений. Среди членов Исполкома, выезжавших за границу, были мой старый друг Юрьё Сирола, Куллерво Маннер, Артур Эверт[90], Жюль Эмбер-Дро[91], Елена Стасова и Чемоданов[92]. Из остальных «международных кадров» помню Мауно Хеймо, Ниило Виртанена[93], Меринга, близнецов Глаубауф[94], Йозефа Поганя[95] (работал в США под именем Джона Пеппера), Файнберга[96], Петровского (в Англии — под именем Беннет) и помощников Пятницкого Грольмана[97] и Идельсона[98].

Кроме того, служащих Коминтерна отправляли за границу проводить двухнедельные спецкурсы. Например, Ниило Виртанен часто ездил в Норвегию обучать членов компартии партийной и профсоюзной работе. Сирола, Маннер и Ханна Малм[99] ездили налаживать работу компартии в Швецию. Юсси Лумивуокко[100] был послан туда же заниматься профсоюзами. Компартия Дании считалась незначительной, и я не помню, посылали ли туда кого-нибудь вообще. Правда, однажды Тогера Тогерсена[101], руководителя датских коммунистов, вызвали в Москву, чтобы он в Профинтерне познакомился с работой коммунистов в профсоюзных организациях.

За границу выезжали под чужим именем, с фальшивым паспортом, получали его от специалиста по паспортам Мильтера.

Чтобы понять, в чём состояла работа Коминтерна, надо не забывать две важные вещи: во-первых, организационная структура Коминтерна не раз изменялась, во-вторых, многое держалось в тайне, тщательно скрывалось, что компартии других стран не имели влияния на политику Коминтерна. Представители иностранных компартий имели высокие звания, вели пленумы и занимали ключевые посты в различных комиссиях. Но, в сущности, практического значения ни один из этих постов не имел. Во время конгрессов и заседаний Исполкома председатель сменялся ежедневно. Я как-то поинтересовалась у Отто, зачем это. Он улыбнулся, что случалось редко, и объяснил: «Чтобы товарищи из-за границы могли посидеть высоко и думали, что вершат делами». В действительности же все решения принимались до совещаний. Каждый вопрос был заранее досконально проработан, и, в общем, было неважно, кто вёл собрание, с какими речами выступали представители иностранных компартий. Часто резолюции конгрессов и пленумов Исполкома бывали подробно разработаны за несколько недель до совещания.

Руководство Коминтерна вмешивалось во все стороны деятельности компартий. Готовясь разбирать вопросы, связанные, например, с германской компартией, из Германии вызывали представителей партии. Но во избежание случайных поворотов заранее составляли поимённый список этих представителей. Таким образом, власть руководства Коминтерна постоянно укреплялась. Но всё же, несмотря на все предосторожности и стремление подчинить другие компартии Москве, возникало множество разногласий.

Да и сами партии постоянно раздирали противоречия, и приходилось тратить массу сил и энергии, чтобы уладить внутрипартийные конфликты.

Время от времени Коминтерн предпринимал грандиозные попытки осуществить на практике знаменитый лозунг Маркса: «Пролетарии всех стран, соединяйтесь!» — но с чрезвычайно незначительными результатами.

Первым актом, задуманным Коминтерном, была германская революция, намеченная на октябрь 1923 года.

Ленин был убеждён, что у революции в капиталистических странах должны быть три предпосылки:

В стране может сложиться революционная ситуация, если её политическая власть и экономика расшатаны войной, разрухой, безработицей — если существует недовольство масс.

Во-вторых, в стране должна действовать хорошо подготовленная компартия. Используя нищету и бесправие народа, она должна собрать массы под своими знамёнами и осуществлять руководство борьбой.

В-третьих, надо иметь достаточно оружия и людей, умеющих им пользоваться.

Долгое время Ленин и его помощники изучали политическую и экономическую обстановку в Европе и в начале 1923 года пришли к выводу, что в Германии сложилась революционная ситуация — там были налицо все три предпосылки революции[102].

Наступило время революционной атаки. Это была попытка отыграться за позорный, жалкий провал восстания, поднятого в марте 1921 года[103] под руководством Бела Куна[104]. Среди людей, повлиявших на ленинское решение, был и Отто Куусинен. Он мне сам об этом сказал, а ему была отнюдь не свойственна пустая похвальба.

По планам большевиков, Германия — ведущая промышленная держава, расположенная в центре Европы, — была идеальным объектом. Революция на родине Маркса и Энгельса! Уже одно это… Но, кроме теорий и эмоций, были и другие, более веские причины, по которым Германию избрали опытным полигоном для ленинских теорий. Со времён мировой войны в Германии существовали хорошо организованные группы крайних левых. Они становились всё заметнее и своими действиями обостряли в стране кризис.

Перед отъездом в Москву я сама видела, что творилось в Германии.

Ленин придавал Германии огромное значение и после 1919 года послал несколько наиболее надёжных советников в Берлин. Они должны были изучить обстановку на месте и разработать план восстания. В Германию поехали Елена Стасова и Карл Радек. Бела Кун, хотя и потерпел в 1921 году неудачу, всё ещё считался

специалистом по германским вопросам. В двадцать третьем, как и в двадцать первом году, специалистов по Германии было с избытком — многие немецкие коммунисты жили в Москве. Они тоже верили, что немецкий рабочий класс готов к восстанию и захвату власти. В марте 1923 года у Ленина случился третий удар. Он был в тяжёлом состоянии. Коминтерн принялся поспешно готовиться, чтобы до смерти Ленина осуществить хотя бы одну революцию за рубежом.

Отто считал, что хаотичные и плохо подготовленные революции на маленьких территориях — как в Болгарии, Венгрии и Баварии — никоим образом не могут привести к устойчивому успеху. Но в отношении Германии он тоже был полон надежд. Отто был убеждён, что если в Германии власть возьмут коммунисты, то и в соседних странах будет легче совершить перевороты. В конце концов в Москве уже никто не сомневался в том, что после революции в Германии все страны Европы попадут в сферу влияния коммунизма.

В полночь 22 октября 1923 года в Германии должен был произойти переворот. Время было определено за несколько месяцев. На рассвете 23 октября Берлин, Гамбург и другие крупные города должны были перейти в руки коммунистов[105].

В Берлине были созданы вооружённые ударные отряды. Они должны были одновременно захватить ратушу, министерства, полицейское управление, государственный банк, важнейшие железнодорожные станции и другие объекты.

Члены правительства должны были быть арестованы и ночью же расстреляны. Берлин был выбран основным объектом нападения. Предполагалось, что после взятия столицы легко будет завладеть и остальными городами.

За несколько месяцев до мелочей был разработан план укрепления власти, даже подготовлена программа и лозунги нового правительства.

Для переправки оружия Коминтерн арендовал грузовое судно, регулярно курсировавшее между Ленинградом и Гамбургом. Коммунисты-портовики разгрузили оружие и переправили его в город.

Маленький, тщедушный человек по имени Кляйне (настоящая его фамилия Гуральский[106]) часто наведывался в Москву, занимался переправкой оружия. В Германию были отправлены тысячи винтовок!

Вся подготовительная работа велась в строжайшей тайне. Даже в штабе Коминтерна мало кто знал о происходящем. С руководителями германской компартии план восстания обсуждали ночью. Внезапности нападения придавали решающее

значение.

На одном из заседаний высокопоставленных чиновников Коминтерна обсуждалась кандидатура полномочного представителя, который был бы готов руководить революцией в Берлине. Ленин намекнул, что хотел бы видеть на этом месте О. Куусинена. Отто чувствовал, что здесь легко можно обжечься, но сначала делал лишь осторожные замечания, впрямую не отказываясь. Наконец он вынужден был сказать Ленину, что польщён выбором, но вряд ли его кандидатура подходит, он ведь участник неудавшейся революции 1918 года в Финляндии. В Германию лучше послать одного из руководителей Октябрьской революции, которая закончилась успешно! Отто предложил кандидатуру Карла Радека. Именно Радек и был откомандирован в Германию, чтобы подготовить восстание и потом его возглавить[107].

Прекрасно помню вечер 22 октября в нашей квартире в гостинице «Люкс». Отто, Пятницкий и Мануильский ждали условленной телеграммы из Берлина — сообщения о начале революции. Они втроём сидели в кабинете Отто, беспрерывно курили и пили кофе. С Горками, где лежал больной Ленин, поддерживалась телефонная связь всю ночь. Ленин был в тяжёлом состоянии, произносить он мог лишь отдельные слоги, но голова у него была ясная, и он с большим интересом следил за событиями. Германская революция должна была подтвердить на практике его теорию. Я думаю, у Ленина в Горках находились в ту ночь и другие советские руководители.

Полночь миновала — телеграммы всё не было! Час ночи — молчание. Два, три часа ночи — опять ничего. Под утро Пятницкий с Мануильским наконец ушли домой, послав Радеку короткую телеграмму: «Что произошло?» Через несколько часов пришёл ответ, подписанный Радеком: «Ничего».

Позже, днём, было получено сообщение, что ночью в Гамбурге велись сильные бои[108]. Рабочие во главе с Эрнстом Тельманом[109] начали восстание. Много рабочих погибло. Но на этом всё и кончилось! И это после долгих, мучительных приготовлений! Революция Германии была мертворожденным ребёнком. Руководители Коминтерна кипели от ярости, были крайне разочарованы и с нетерпением ждали момента, когда выяснится, в чём ошибка и — что тоже немаловажно — кто виноват в неудаче. В Германию летели суровые телеграммы, в Москву вызывались из разных районов Германии все, кто занимал ключевые посты: Радек, Тельман, Бела Кун и многие другие. Они должны были объяснить, кто «предал германский пролетариат».

Прошло несколько дней. В дверь нашей квартиры

постучались. Передо мной стоял высокий мужчина. Говорил он по-немецки, спросил, здесь ли живёт Куусинен, и представился Тельманом из Гамбурга. Я ответила, что муж ещё не вернулся с работы. Тельман сказал, что ему назначили именно это время, спросил, можно ли подождать. Едва я успела закрыть дверь, как снова постучали, и вошёл Карл Радек с очень пышной женщиной. Он представил её мне, имени её я раньше не слышала, а Радек не объяснил, почему она с ним.

Снова, в третий раз, открылась дверь. Теперь это был сам Бела Кун. Не успел он войти, как между ним и Тельманом вспыхнула ссора. Они обвиняли друг друга в том, что каждый не подчинился указаниям руководства, предал пролетариат. Я усадила женщину рядом с собой на диван, а мужчины стоя спорили о событиях в Германии. Я удивилась, что они говорят об этом при постороннем человеке. Сначала Радек был спокоен, но вдруг тоже включился в спор. Теперь все трое орали друг на друга. Я с нетерпением ждала Отто: ситуация становилась всё более угрожающей. Вдруг женщина вскочила, вклинилась между Радеком и Тельманом, погрозила Тельману кулаком и обозвала его идиотом, который надеется только на свои мышцы. Обошлась она с ним не очень-то вежливо. Когда, казалось, очаровательный концерт для четырёх исполнителей достиг апогея, в комнату спокойно, правда, с немного удивлённым лицом, вошёл Отто. Под мышкой он держал набитый бумагами портфель. В пылу ссоры никто его не заметил. Отто осторожно прошёл на своё обычное место за обеденным столом. Портфель он всё время прижимал к груди, будто боясь, что его отнимут. Женщина как раз вцепилась в Тельмана, дёргала его за лацканы пиджака и била кулаком в грудь. Бой шёл двое на двое: Радек и женщина по одну, а Тельман с Куном по другую сторону. Радек был худосочен против Тельмана, тот не шелохнулся, стоял крепко, расставив ноги, сунув руки в карманы брюк, — настоящий портовый грузчик.

Радек был уже готов броситься на Бела Куна, но Тельман вынул одну руку из кармана, взял Радека за лацканы пиджака, подержал так на вытянутой руке и сказал:

— Слушай, Радек, с чего это галицийский еврей взял, что может избить венгерского еврея?

После этого замечания все немного опомнились и послышались неловкие смешки.

Наконец Отто получил возможность заговорить:

— Тельман, — сказал он, — ты бы шёл к себе. Мы ведь можем встретиться после ужина и спокойно поговорить о наших проблемах.

Когда Тельман ушёл, Отто велел уходить домой и остальным:

всё равно никто из них сейчас не в состоянии обсуждать германские события.

Представители пролетариата удалились. Позже, вспоминая это происшествие, я подумала — неужели Маркс имел в виду именно это, когда писал: «Пролетарии всех стран, соединяйтесь!» Когда гости ушли, я сказала Отто:

— Они выбалтывали все секреты при этой женщине.

Отто ответил:

— Женщина полностью в курсе. Это подруга Радека — дочь польского профессора Рейснера, Лариса[110]. Она была послана в Германию в помощь Радеку.

Когда обсуждение, наконец, состоялось, выяснилось, что Радек и его подруга, не посоветовавшись с Москвой, в последний момент решили изменить план. Они отдали приказ отложить революцию на три месяца. Посоветовавшись с коммунистами — сторонниками председателя компартии Германии Брандлера[111], они пришли к выводу, что в стране ещё не созрела революционная ситуация и не все районы готовы к революции. В ходе обсуждения выяснилось, что была допущена грубейшая ошибка: Тельману ничего не сообщили об этом внезапном решении, поэтому он, придерживаясь первоначального плана, пытался в Гамбурге захватить полицейский участок и другие объекты. Он был уверен, что такие же вооружённые захваты идут в Берлине и других крупных городах.

Главными виновниками, в конце концов, оказались Радек и его подруга. Отто Куусинен, принимавший непосредственное участие в подготовке этой неудачной революции, вышел, как всегда, сухим из воды. Он был достаточно осторожен, принимая участие в рискованных предприятиях. Составленный им план восстания Отто из осторожности дал на подпись Зиновьеву, председателю Исполкома. Однако не следует думать, что Отто оставался в тени из скромности или из-за отсутствия честолюбия.

Причины неудачи в Германии Отто обдумывал не один год. Казалось бы, всё в 1923 году соответствовало ленинской теории, были налицо все предпосылки для революции. И — провал. Лишь много лет спустя Отто пришёл к выводу, что причина неудачи — в руководителях. Те просто перетрусили. Отто считал, что Лениным была недостаточно продумана роль руководителей и функционеров при подготовке и проведении революции.

Так неожиданно мертворожденная революция в Германии стала переломным моментом в истории Коминтерна. Пришлось до основания пересматривать саму стратегию.

Германия оказалась крепким орешком, и руководство Коминтерна решило попытать счастья в небольшой стране. Выбор

пал на Эстонию. Правда, по ленинской теории эта маленькая республика была не готова к революции: политическая обстановка постепенно стабилизировалась, экономика вставала на ноги. Едва ли можно было говорить о внутреннем кризисе. Но эстонские большевики, жившие в Москве и Ленинграде, были уверены, что ударный отряд коммунистов сможет свергнуть буржуазное правительство. Их поддержало руководство Коминтерна, и в срочном порядке было сформировано подразделение в несколько сот человек. 1 декабря 1924 года отряды коммунистов атаковали стратегически важные объекты Таллина, но основная масса рабочих участия в восстании не приняла и атаки были отбиты. Лишь немногим бойцам ударных отрядов удалось бежать в СССР. Предприятие провалилось. Помню, как разочарован был Отто; он надеялся, что южное побережье Финского залива перейдёт к коммунистам и таким образом стратегическое положение Финляндии станет более слабым.

О попытке переворота в Эстонии знали в Москве лишь немногие. Мне о мятеже рассказывали муж, Хеймо и Юрьё Сирола, который, к моему удивлению, осмелился поехать в Таллин в качестве наблюдателя.

В 20-е годы интерес Коминтерна был направлен и на балканские страны. Но результатов удалось достигнуть только в Болгарии. Да и то благодаря многовековым хорошим отношениям между Россией и Болгарией. Болгарское правительство возглавил председатель левой аграрной партии Стамболийский[112], но в 1923 году произошёл военный переворот и во главе правительства встал профессор Цанков[113]. Коминтерн принялся подготавливать контрудар. Компартия Болгарии получила приказ пока отказаться от каких-либо активных действий. Через два года подготовка была закончена, коммунисты получили приказ убить царскую семью и членов правительства. На торжественном богослужении в Софийском соборе в апреле 1925 года при взрыве погибло более двухсот человек[114]. Царь и министры остались невредимы. Главным инициатором этого тайного предприятия был Георгий Димитров[115], коминтерновец. О нём я расскажу позднее.

Коминтерн готовил восстания не только в Европе. Уже в 20-е годы начали заниматься Китаем и Индией. Интерес к Востоку был велик, поэтому в 1926 году Отто стал председателем комитета по Дальнему Востоку. Планировалось большое мероприятие — переворот в Китае, где хаос, казалось, давал все основания надеяться на успех.

В университете Сунь Ятсена в Москве училось много

китайцев, среди них был и сын Чан Кайши[116], руководителя гоминьдановской национально-патриотической партии[117]. Москва пыталась завязать тесные контакты с партией гоминьдан: коммунисты внедрялись в руководство партией и в вооружённые силы, Чан Кайши получал от СССР материальную и финансовую помощь.

Хорошо помню день 1926 года, когда китайцы из университета Сунь Ятсена вышли с песнями и развевающимися флагами к зданию Коминтерна, чтобы выразить свою благодарность. Примерно тогда же советского генерала Блюхера[118] «одолжили» Чан Кайши как военного советника. Блюхер был казнён Сталиным в 1938 году. Однако отношения между гоминьдановцами и китайскими коммунистами стали с 1926 года ухудшаться, и в 1927 году произошёл разрыв. Чан Кайши выступил против коммунистов. В конце 1927 года Коминтерн предпринял ответный удар — восстание в Кантоне[119], но Чан Кайши его без труда подавил.

Снова ошибка в действиях Коминтерна! Кто виноват на этот раз? Отто прислушивался к мнению лишь нескольких человек. Среди них помню Файнберга из Лондона, а также доверенное лицо и секретаря Куусинена Ниило Виртанена. Именно его Отто и послал в Китай выяснить причины провала. Когда Ниило вернулся, Отто расспрашивал его обо всём до мельчайших подробностей. Через два дня Ниило сказал мне, усмехаясь: «Отто о Китае ровно ничего не знает. Задавал мне глупейшие вопросы».

После неудачного восстания в Кантоне Отто уверился в том, что никогда в Китае не произойдёт ничего для Коминтерна интересного. Он понял, что в Москве ни один человек не знает как следует этой страны. Как он ошибался в первом пункте и как прав был во втором!

Есть все основания спросить: почему в отделе информации Коминтерна Финляндия приравнивалась к Польше, Латвии, Литве и Эстонии, а не к скандинавским странам? Скорее всего потому, что эти страны расположены рядом и к тому же имели сходство: в каждой компартия была запрещена, а нелегальная деятельность коммунистов сталкивалась с одинаковыми по характеру трудностями. Руководители компартий всех пяти стран жили в Москве, поэтому деятельностью этих компартий занимался непосредственно штаб Коминтерна. С большими трудностями, через курьеров и агентов тайной службы пытались поддерживать связь с действующими нелегально коммунистами в Финляндии, странах Прибалтики и Польше. Курьеров часто арестовывала полиция, и связь снова прерывалась.

Всё, связанное с нелегальной деятельностью в этих странах, держали в строгом секрете. Дверь польского отдела была всегда заперта, и, кроме двоих работников, туда имели право входить лишь высшие чины Коминтерна. Финский отдел занимал небольшую комнату на пятом этаже. Там работали Куллерво Маннер и Ханна Малм. Такие же помещения были у литовцев, латвийцев и эстонцев. Дела этих партий в коридорах Коминтерна не обсуждались, о них никогда не говорили ни на пленумах Исполкома, ни в Политическом секретариате. Все дела, касающиеся этих нелегальных партий, решали Куусинен и Пятницкий. В Исполком входило много иностранцев, они не должны были знать тайн незаконно действовавших партий. Ни по одной из этих стран не было даже референта, и информационный бюллетень Коминтерна не публиковал рефератов о событиях в этих странах.

Я не раз думала над вопросом — кто финансирует Коминтерн? Однажды я услышала у нас, в номере «Люкса», разговор между мужем и Пятницким, из которого с удивлением узнала, что Коминтерну приходится оказывать финансовую помощь всем компартиям мира и их печатным органам. И те и другие постоянно находились в финансовой зависимости от Коминтерна. Однако не припоминаю, чтобы это заставило хоть кого-нибудь из коминтерновцев усомниться в будущем коммунизма. Коминтерн пытался создать в мире впечатление, будто рабочие всех стран объединяются в компартии, стремящиеся совершить мировую революцию, и что Коминтерн существует за счёт партвзносов. Чтобы ввести в заблуждение общественное мнение, каждой партии была определена сумма, которую та будто бы должна была вносить ежегодно. Годовой финансовый отчёт для печати составляли Отто и Пятницкий. В нём всегда была графа «Членские взносы братских партий». Отто часто говорил мне, что Коминтерн никогда не получил ни копейки ни от одной иностранной партии. Наоборот, за всё время моей работы в Коминтерне не прекращался поток иностранных коммунистов, приезжавших просить у Коминтерна финансовой помощи. Обычно их направляли к Пятницкому, и, если он ставил на заявлении свою резолюцию, «узкая комиссия» рассматривала вопрос на своём заседании. Только Пятницкий знал точно, какие суммы получали партии, очень редко в это посвящали и двух других членов «узкой комиссии». Даже финансовая комиссия не имела сведений о том, какие суммы выплачивал Коминтерн и сколько денег поступало в его кассу.

Деятельность Коминтерна финансировалась советским правительством. Первое время часть средств выручали от

продажи национализированных драгоценностей и произведений искусства царского времени. Но большую часть средств Коминтерн получал из государственной казны. Правда, непосредственно в Коминтерн деньги поступали из разных отделов ЦК партии.

В конце 30-х годов Пятницкий и его ближайшие помощники Грольман и Идельсон были преданы суду и расстреляны — слишком многое им было известно. Главный пункт обвинения гласил, что они тайно оказывали финансовую помощь находившемуся в эмиграции Троцкому.

Как могло случиться, что в нищие, голодные годы, когда страна испытывала страшную нехватку валюты, — как могло случиться, что взрослые, неглупые люди столь наивно швыряли миллионы на издание за границей мало кому нужных журналов, нисколько не заботясь о главной задаче — восстановлении своей собственной родины, разрушенной войной и революцией? Фантастические планы мировой революции, основанные на догме, заслоняли руководству страны обстановку — и ближайшую, ту, что прямо перед ними, и дальнюю — в других странах.

Помню историю с Калининым[120], президентом СССР. Её рассказывал секретарь ЦК Товстуха[121]. Калинин принимал латвийского посла, тот должен был вручить верительные грамоты. Старый Калинин решил, что перед ним латвийский коммунист, и приветствовал его шуткой: «Здравствуй, товарищ! Что, Пятницкий даёт вашей партии маловато денег? Но тогда вы должны обращаться не ко мне. В Коминтерн! К Пятницкому! Вы же знаете, что деньги в его руках».

Калинин был человек весёлый — редкое качество в советском руководителе. Он любил над кем-нибудь подшутить. Вот один случай. Это было, кажется, летом 1929 года. Мы с Отто проводили отпуск в Гаграх, на Чёрном море. У нас была дача на самом берегу, там жил и Калинин со своим помощником Валерианом Гориным. Тот был почти всё время пьян. Дача стояла среди тенистого парка, вокруг неё были разбиты красивые клумбы. В парк можно было попасть только через проходную, которая охранялась ГПУ. По предписанию врача мы все должны были после обеда отдыхать с двух до четырёх часов. Вдруг однажды в четыре часа дня обнаружили, что комната Калинина пуста. Поднялась паника. Калинина нигде не было. За дачей стояли высокие мрачные горы, и охрана сперва решила, что президента выкрали горцы, враждебно настроенные к русским и к советской власти. Машины, отчаянно сигналя, понеслись по побережью до Сухуми и Туапсе и обратно. С нашей дачи

позвонили в Москву, подняли ближайшие воинские части, чтобы с собаками прочесать территорию. Было уже около шести вечера, когда лежавший на пляже человек вдруг стянул с лица платок и пошёл к даче. Улыбающийся, в купальных трусах, с платком на шее — сам товарищ Калинин! Он со смехом рассказывал, с каким наслаждением хоть на какое-то время отделался от своих ангелов-хранителей. И был очень доволен, что поднялась такая паника. Он всё время следил из-под своего платка за развитием событий. Никому и в голову не пришло, что он может быть на берегу среди загорающих. Кто, кроме Калинина, мог бы так ловко провести людей из ГПУ?

Правда, для главы государства Калинин был недостаточно образован, но отсутствие образования он компенсировал сочным юмором. Человек он был добрый, если мог, искренне пытался людям помочь. В 1938 году в номере Бутырской тюрьмы мне рассказывала о своём сыне одна женщина. Её муж был расстрелян как кулак, и мальчика не хотели принимать в школу. Мать работала в колхозе, к землям которого присоединили их бывшую усадьбу. Сын был мальчик способный и энергичный. Он решил ехать за помощью к Калинину. В Москве он нашёл дом, где Калинин принимал посетителей, и прождал в очереди двое суток. Ночевал в ближайшем трактире. На третий день он попал на приём к Калинину и вышел от него с письмом, где его рекомендовалось принять в школу. Учился он, по словам матери, хорошо. Она же попала в тюрьму за то, что критиковала действия колхозного агронома. Не знаю, что с ней стало в дальнейшем.

Члены Коминтерна имели все основания сомневаться, что выделенные им суммы компартии получают полностью. Несколько примеров.

Во время забастовки портовых рабочих в Англии в 1926 году Коминтерн решил переправить одному из руководителей портовиков около тридцати тысяч фунтов стерлингов. Библиотекарь Коминтерна Аллан Валлениус хорошо владел английским языком, поэтому получил задание отвезти деньги в Англию. Он должен был плыть из Стокгольма в Англию на британском судне. Когда он вернулся, Отто спросил, как прошла поездка. Аллан рассказал, что сел в Швеции на британское судно, но без билета — боялся полиции. Кочегар спрятал его в угольном трюме. Когда пароход вышел в открытое море, Аллан поднялся на палубу весь в угольной пыли. Кочегар показался ему неплохим человеком, он оказался коммунистом и был даже знаком с человеком, которому Аллан должен был передать деньги. Аллан весело, в подробностях описывал свою поездку, пока Отто не

вышел из себя и не прервал его словами:

— Так видел ты, в конце концов, того человека в Лондоне или нет? Деньги отдал?

— Не видел, — ответил Аллан, — в этом не было необходимости. Мне показалось слишком рискованным показывать фальшивый паспорт британским властям, и я передал деньги моему другу кочегару. Он обещал доставить их до места.

— Как хоть его зовут? — холодно спросил Отто.

— Он говорил мне, да я забыл.

Отто долго смотрел на Аллана в молчаливой ярости и затем указал ему на дверь. Адресат, конечно, никогда не получил этих тридцати тысяч фунтов.

Вторая неудача связана с финской компартией. Финны должны были направить верного человека, коммуниста, в Стокгольм, чтобы там открыть ювелирную лавку. В этой лавке он должен был национализированные большевиками ценности продавать за шведские кроны, необходимые Коминтерну. Человек, выбранный финнами (забыла его имя), поехал в Стокгольм и открыл магазин. Мне приходилось там бывать. Витрина была завалена драгоценными камнями, украшениями, серебряными шкатулками. Всё лежало вперемешку, кое-как. Мало того, что «директор» был бездарным продавцом, — спустя месяц он исчез со всеми деньгами и драгоценностями. Коминтерн не получил ни гроша.

Помню также скандал с Шейнманом. Правда, история эта не связана с Коминтерном, но она хорошо характеризует то время.

Знатоком финансовых дел считался в середине 20-х годов товарищ Шейнман, который, по рассказам Отто, был в 1918 году советником и связным между большевиками и «красными» в Финляндии. Отто считал Шейнмана волшебником в финансовых делах, и не удивительно, что позже, в Москве, тот стал директором госбанка. На него возлагались большие надежды: надо было придумать, как стабилизировать рубль и улучшить положение с валютой. Шейнман по работе постоянно поддерживал связь с банками и правительствами Европы. Возникли, в частности, проблемы с долговыми обязательствами царского правительства, иностранные банки требовали от советского правительства их выполнения.

Ленин считал стабилизацию рубля настолько важным моментом, что однажды сказал: «Если мы не сможем стабилизировать нашу валюту, мы обречены на неудачу и провал». Шейнман часто выезжал за границу.

Проработав несколько лет, он в 1927 году попросил разрешения взять с собой за границу жену и детей. Иначе коллеги

на Западе ехидничают, что члены семьи остаются во время его поездок как бы заложниками. Разрешение было получено, семья выехала за границу. Вскоре из Праги пришло письмо, в котором Шейнман сообщал, что никогда, к сожалению, не сможет стабилизировать рубль. Поэтому больше не может возглавлять банк и в Россию не вернётся. Что собирается делать, не сообщил.

Вскрыли сейфы — на это имели право только руководители страны — они были опустошены. Шейнман прихватил всё, имеющее за границей ценность, как рассказывал мне Отто, — всё, что только мог. Парадокс, но правительство вынуждено было молчать, даже в Москве мало кто знал об этой краже. Шейнман рассчитал верно: западные финансисты и раньше сомневались в кредитоспособности большевиков. Если бы на Западе узнали о размерах кражи, недоверие стало бы ещё больше. Поэтому невозможно было вернуть ни Шейнмана, ни деньги. После исчезновения Шейнмана началось расследование, стали выяснять его связи до революции. Оказалось, что в разговорах он упоминал имена известных людей, и его окружение было убеждено, что он — выдвиженец высокопоставленного лица из старой гвардии. Кто ввёл его в круг большевиков, выяснить так и не удалось. Возможно, что он сам пришёл и сослался на чью-то рекомендацию — и так проник во внутрипартийные высшие круги.

Это была не единственная кража. Их было множество, но о них почти ничего не известно.

Несмотря на все предосторожности, многие тайны Коминтерна становились известны иностранным агентам. Они подчас проникали в самую сердцевину организации. Японскую компартию представлял в Москве Сэн Катаяма[122]. Это был добрый старик, абсолютно не умевший держать язык за зубами. Его раза два отправляли со спецзаданием за границу, но скоро поняли, что для секретной работы он не пригоден, и его решено было оставить в Москве.

Хеймо раз случайно узнал, что в квартире Катаямы уже несколько месяцев живёт молодая японка, якобы дочь Сэна, приехавшая погостить. Кому-то пришло в голову заглянуть в личное дело Катаямы. Оказалось, он не женат. Хеймо пригласил его на дружескую беседу. Старик Сэн сказал, что не считал нужным упоминать жену, потому что женился по настоянию родителей и прожил с женой совсем недолго. Дочь родилась уже после его отъезда из Японии, и теперь японская компартия любезно оплатила её поездку к отцу в Москву.

Агенты Коминтерна провели в Японии расследование и с

удивлением узнали, что компартия ни о какой дочери ничего не знает и в Москву её не посылала. К тому же у жены Катаямы, вышедшей замуж очень рано, вообще не было дочерей[123].

Положение для Коминтерна сложилось щекотливое. Ясно, что женщина подослана японской тайной полицией, чтобы вызнать секреты Коминтерна. Но если Коминтерн её задержит, ГПУ обвинит Коминтерн в ротозействе и усилит наблюдение. Что делать? Приняли соломоново решение: «дочку» без лишнего шума переправили обратно в Японию, ничего не объясняя ни ей, ни Сэну Катаяме.

О втором японском шпионе я слышала от Халла, негра, с которым познакомилась в 1932 году в Нью-Йорке. В Москву он приехал в 1928 году. Его сперва по ошибке направили в университет Сунь Ятсена, а оттуда перевели в Ленинскую школу. В университете Халл и ещё один студент заподозрили в шпионской деятельности одного японца. Решили его обезвредить. Вечером, когда японец вернулся с очередного подозрительного собрания, его ударили по голове гвоздодёром, и он с проломленным черепом покатился вниз по лестнице. Вскрытие показало, что смерть наступила не от удара о ступени, ГПУ взялось за дело и нашло виновных. Но поскольку оно тоже подозревало японца, Халл и его друг отделались замечанием.

Помню ещё одну попытку проникновения посторонних в Коминтерн. Году в 1927-м муж представил мне венгерского коммуниста по фамилии Томсен. Человеком он казался неплохим, бегло говорил по-немецки, и Отто был доволен, что нашёл такого способного работника. Но удовольствие его длилось недолго. Через несколько дней новичка арестовали. Оказалось, портрет Томсена и сведения о нём были опубликованы немецкой компартией в списке лиц, занимавшихся в различных странах антисоветской деятельностью. Томсен был казнён.

Руководство Коминтерна делало всё возможное, чтобы создать иностранцам хорошие условия. Уровень жизни коминтерновцев действительно был гораздо выше, чем у среднего советского человека. Однако от царившего в городе хаоса и беспорядков оградить коминтерновцев было трудно. Их тоже, как и всех москвичей, постоянно обворовывали. Расскажу несколько курьёзных случаев.

В середине 20-х годов — точнее не помню — Отто как представитель Коминтерна был приглашён в Минск, на торжественное заседание к военным. В приглашении было указано, что он будет главным почётным гостем и торжество продлится весь день. Отто питал отвращение ко всякого рода

торжествам, в особенности если ему приходилось выступать на русском языке. Он сказал, что не намерен тратить время на всякие глупости. Вместе с дорогой на поездку ушло бы около полутора суток. Я предложила Отто послать вместо себя Василия Коларова (представителя компартии Болгарии в Исполкоме Коминтерна)[124]. Он любит внимание и с удовольствием произносит речи. «Ты же всегда посылаешь его на заводы и на всякие торжественные заседания».

Отто идея понравилась, и он попросил меня сообщить Коларову, что от Коминтерна нужно направить представителя в Минск и что он, Коларов, для этого подходит как нельзя лучше. Как я и предполагала, Коларов пришёл от предложения в восторг. В Минск он выехал ночным поездом.

Через несколько дней он поведал нам свою минскую историю. Ехал он всего на один день и взял с собой только портфель с чистыми воротничками и носовыми платками. В соответствии с рангом он ехал в купе первого класса, один. Когда поезд отошёл, он разделся и лёг спать.

Помня о происшедших за последние месяцы кражах, он тщательно запер дверь купе. Перед отъездом Коларов немного выпил, спал поэтому крепко и проснулся у самого Минска, когда проводник постучал в дверь. Коларов вскочил, хотел одеться, но все его вещи исчезли — даже ботинки и портфель. Утащили всё, что не было приторочено или прибито гвоздями. Бедняга остался босиком в одном белье. Он беспомощно сел на постель. Поезд тем временем остановился, и на перроне грянул военный марш. Коларов осторожно выглянул в окно и увидел группу офицеров. Кто-то спрашивал проводника, в каком купе едет представитель Коминтерна. Оркестр играл марш за маршем, а Коларов сидел в замешательстве на постели. Положение становилось всё напряжённее, почётный караул и офицеры стояли по стойке смирно, ждали гостя. Начальнику станции пришлось задержать поезд, и в окно купе стали заглядывать любопытные пассажиры.

Наконец кто-то принёс офицерскую шинель и сапоги, и почётного гостя в одних кальсонах вывели незаметно на другую сторону вагона и увезли на машине…

Лишь немногие в Москве узнали об этом приключении, да тогда никто и не обращал внимания на такие мелочи. Я бы, наверное, и сама забыла эту историю, если бы Коларов не рассказывал её с такой яростью.

Летом 1926 или 1927 года я однажды встретила в коридоре Коминтерна Пальмиро Тольятти, представителя итальянской компартии[125]. (Тогда его звали Эрколи.) Он у меня спросил, не знаю ли я, куда он может на некоторое время поместить жену и

маленького сына. Вечером того же дня они должны были приехать из Италии. Тольятти не хотел, чтобы сын его жил в душной московской гостинице. Я предложила Тольятти отвезти семью на нашу дачу в Серебряный Бор. Там на третьем этаже постоянно жил наш шофёр.

Тольятти с благодарностью принял моё предложение. Для его семьи приготовили спальню на втором этаже. Приехали на дачу вечером и рано легли спать. Я попросила жену нашего шофёра утром приготовить для гостей завтрак, но когда проснулась, в доме стояла тишина. Из комнаты Тольятти не слышно было ни звука. Будить мы гостей не стали — пусть отдохнут с дороги.

Наконец около двенадцати часов дня я решилась к ним постучаться. Тольятти подал голос, но сказал, что раздет и открыть дверь не может. Ночью украли все их вещи! Когда я, наконец, вошла в комнату, все трое лежали в постелях, натянув одеяла до подбородка. Воры унесли деньги, часы, кошельки, всю одежду. Они, видимо, взобрались на балкон и через открытое окно проникли в комнату. К счастью, в гостинице «Люкс» у Тольятти оказалась кое-какая одежда, и мы послали за ней шофёра. Но для жены его найти одежду было не так-то просто. Думаю, она помнит своё первое знакомство с жизнью в СССР.

Некоторых руководителей, как, например, Отто Куусинена и его подопечного Мауно Хеймо, в Коминтерне не всегда умели оценить. Оба они старались держаться в тени, в отличие от тех работников, что умели себя подать. К последним, мне кажется, можно причислить Григория Зиновьева, Карла Радека и Георгия Димитрова.

В 1921 году Зиновьев был снова избран председателем Президиума Исполкома, но для Коминтерна он был лишь вывеской: его политическое честолюбие было направлено на другие цели, главным своим делом он считал работу первым секретарём Ленинградского обкома партии, она занимала почти всё его время. На международных совещаниях он, правда, всё же произносил речи, иногда публиковал статьи. Многое из этих речей и статей принадлежало перу других, в частности Отто. В коминтерновских кругах у Зиновьева было два прозвища: «ленинградский царёк» и второе, придуманное Отто, — «сатрап».

Когда Зиновьев бывал в Москве, он большей частью занимался делами, не имевшими никакого отношения к Коминтерну. Его кабинет и квартира находились в Кремле, за все годы в Коминтерне я видела его всего два раза. Он должен был подписывать некоторые документы, и помню, как Отто отправлял Мауно Хеймо к нему с бумагами, но тот возвращался ни с чем:

Зиновьева опять не оказывалось в Москве.

Личность Зиновьева особого уважения не вызывала, люди из ближайшего окружения его не любили. Он был честолюбив, хитёр, с людьми груб и неотёсан. Большинство женщин испытывало к нему неприязнь: это был легкомысленный женолюб, он был уверен, что неотразим. К подчинённым был излишне требователен, с начальством — подхалим. Мой муж, который тоже был отнюдь не ангелом, в разговорах со мной называл Зиновьева беспринципным оппортунистом. Правда, какое-то время вынужден был выступать с ним заодно. Ленин Зиновьеву покровительствовал, но после его смерти, когда Сталин стал пробиваться к власти, карьера Зиновьева стала рушиться. Осенью 1926 года его вывели из ЦК партии и из Коминтерна. В Коминтерне этим не были огорчены. Отто повезло — его лучший друг из русских Николай Бухарин занял место председателя в Исполкоме Коминтерна[126].

Карл Радек представлял СССР на Международном конгрессе мира в Гааге 10—15 декабря 1922 года. Конгресс был созван социал-демократическим интернационалом профсоюзов в целях предотвращения новой мировой войны[127]. За границей Радек считался могущественным большевистским руководителем. Родом он был из Австрии, участвовал в германских мятежах, а в Коминтерне стремился быть всегда на виду, выступал как специалист по разнообразнейшим вопросам. Но на политику Коминтерна он особого влияния не оказывал, даже ни разу не избирался в Политический секретариат. Чрезвычайно способный, надо отметить, журналист, он многие годы был главным редактором «Известий». Звезда Радека закатилась, когда почти всю вину за неудачу с германской революцией взвалили на него одного. Он был выведен из Исполкома Коминтерна и из ЦК партии и несколько лет занимал весьма незначительные посты.

Радек был маленький, скользкий как уж человечек, любил делать ехидные замечания; у него не было ни внешних, ни каких-либо других данных руководителя. Кажется, Лариса Рейснер была единственным человеком, находившим его милым и достойным восхищения. Отто не питал к Радеку уважения, относился к нему с недоверием.

Георгия Димитрова я уже упоминала в связи со взрывом бомбы в Софийском соборе в 1925 году. После этого прискорбного приключения он работал в различных отделах Коминтерна, но всякий раз его приходилось смещать: его интересовали только выпивки и женщины. Когда возмущение и жалобы достигали предела, его куда-нибудь переводили. В Коминтерне попросту отказывались с ним работать, и его

отправили в другое здание, в Крестинтерн, к старику Мещерякову[128]. Однажды в кабинет Отто (я была там) ворвался Мещеряков: «Товарищ Куусинен, нужно поговорить! Заберите Димитрова! Он ничего в нашей работе не понимает, знает только пить и соблазнять наших девушек. Я не начальник отдела, пока он там! Пожалуйста, заберите его от меня!»

Отто обещал что-нибудь придумать, а когда Мещеряков ушёл, он сказал мне смеясь: «Никто не хочет связываться с Димитровым. Куда его деть? Лучше, наверное, отправить обратно на Балканы». И отправили. Вместе с двумя другими учащимися Ленинской школы — Таневым[129] и Поповым[130]. Через несколько лет, году в 1930-м, их всех перевели в Берлин. Когда они в 1933 году были арестованы по обвинению в поджоге рейхстага, Отто использовал ситуацию для широкой антифашистской акции. Эти трое выступали как невинные мученики. Коминтерн начал пропагандистскую войну. Публикациями он оказывал большое влияние на профсоюзы всего мира. На лейпцигском процессе нацистские руководители потерпели моральное поражение, а Димитров произнёс свою знаменитую политическую речь. В Москве, правда, не верили, что Димитров сам может подготовить «политически выверенную» пламенную речь, он и по-немецки говорил неважно. Поэтому Отто получил задание написать длинное, вдохновенное обвинение фашизму. Димитров должен был зачитать речь как свою. Отвезти текст речи в Лейпциг поехала младшая дочь Отто — Риика, в паспорте проходившая как жена Попова, обвиняемого вместе с Димитровым. «Госпожа Попова» поехала в Германию в сопровождении русского адвоката. Во время процесса в речах защитника не раз мелькали мысли Отто. Когда настала очередь Димитрова, он произнёс речь весьма драматично, и все поверили, что он написал её сам, находясь под следствием[131].

Речь привлекла всеобщее внимание. Когда Димитров со своими товарищами вернулся в Москву, многие коммунисты и антифашисты превозносили их как «пионеров борьбы с фашизмом». Менее известна судьба товарищей Димитрова в СССР: Танев был расстрелян, а Попов сгинул в одном из лагерей. Сам Димитров стал генеральным секретарем ИККИ — Коминтерн обрёл нового руководителя. Такова была вывеска. В действительности все важнейшие решения принимались теми же людьми, что и прежде.

У Димитрова был диабет, здоровье его резко ухудшилось, но, несмотря на это, на торжественных заседаниях он выступал как «мастер». Куусинен был рад — он не любил быть в центре внимания, не любил произносить речи, добиваться признания

масс. С гораздо большим удовольствием он плёл на заднем плане, вдали от людских глаз, интриги. В отличие от многих людей, Димитрову было суждено умереть своей смертью в 1949 году от диабета.

В 1927 году политический секретариат планировал переезд части Коминтерна в Берлин[132]. Оттуда, из центра Европы, легче было бы наладить связь со всем миром. Кроме того, в середине 20-х годов в Германии было демократическое правительство и сильная компартия. Подталкивало к переезду и то, что между Коминтерном и наркоматом иностранных дел шли постоянные стычки. Комиссар иностранных дел Чичерин относился к Коминтерну холодно, считая, что тайные связи Коминтерна с иностранными компартиями через посольство СССР вредили репутации советского правительства. Немцы, работавшие в Коминтерне, были, конечно, всей душой за переезд. Но положение в Германии становилось всё сложнее, к власти пришли национал-социалисты, и от планов пришлось пока отказаться.

В мае 1943 года мир с удивлением узнал о роспуске Коминтерна. Для меня это не было неожиданностью, я прекрасно видела, как всё меньше и меньше оставалось работников; было уничтожено столько способных людей, что организация потеряла дееспособность. Кроме того, Коминтерн своей подстрекательской деятельностью ставил под угрозу сотрудничество СССР с западными странами. Советское руководство стремилось создать видимость того, что отныне никто не собирается рушить капитализм и разжигать мировую революцию. Но главной причиной, почему Коминтерн стал не нужен, был, мне кажется, тот факт, что Сталин увидел нереальность мировой революции, которая достигалась бы внутренними мятежами. Сталин начал явно склоняться к той мысли, которую Куусинен высказывал мне ещё за несколько лет до того: коммунизм должен насаждаться, прежде всего, с оружием в руках, путём присоединения к сфере его владения новых территорий. Начать предполагалось с Финляндии.

Десятки лет уничтожались человеческие жизни, через Коминтерн переправлялись огромные средства для свержения правительств в других странах. Ещё до того как революция закрепила свои позиции в СССР, Коминтерн делал всё возможное, чтобы распространить идеи коммунизма на капиталистические страны. От всех этих усилий не осталось ничего — ушли из жизни почти все практические «проводники» этих идей. Не осталось ничего — кроме воспоминаний тех немногих людей, что выжили.

Когда Гитлер в 1933 году пришёл к власти, в Берлин был послан секретарь Куусинена Ниило Виртанен. Кроме него в берлинском бюро работало лишь несколько секретарей и курьеров. Бюро должно было поддерживать связь между Москвой и большей частью компартий мира, что было нелёгкой задачей. Деятельность бюро прекратилась, когда был арестован Виртанен. Об этом я расскажу в последующих главах.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ. В Америке

Весной 1930 года я присутствовала на заседании американской комиссии Коминтерна, созванной моим мужем. Заседание вёл он сам. Участвовали Мануильский, Пятницкий и Эверт, из американцев — Уильям Фостер[133], Джей Ловстон[134], Эрл Браудер[135] и два известных американских коммуниста, по национальности финны, Хенри Пуро[136] и Матти Тенхунен[137] — они представляли Нью-Йоркский финский рабочий союз. Были на заседании Мауно Хеймо и ещё несколько человек, имён которых я уже не помню. Комиссия разбирала конфликт, возникший между компартией США и финским рабочим союзом. Компартия США постоянно подвергалась резкой критике за то, что распалась на множество группировок, не сумела привлечь коренное американское население в свои ряды. Открывая заседание, Отто сказал, что руководство компартии США тратит на внутренние конфликты больше сил и времени, чем на борьбу с капитализмом.

Первым слово взял Эверт, один из руководителей германской компартии, член Исполкома. Он только что провёл месяц в США, пытаясь уладить разногласия в компартии и выяснить, почему так мал приток новых членов. С едким сарказмом Эверт вначале высмеял американскую компартию, которая якобы так слаба, что ни один уважающий себя рабочий не хочет в неё вступать. Затем он продолжал:

— За всё время моей работы я не раз расследовал внутрипартийные конфликты, и мне всегда удавалось выяснить их причины. Но в компартии США внутренняя борьба стала целой наукой, конфликты настолько многоступенчаты, что в них не суждено разобраться никому. Можете посылать в Америку кого угодно — ни один человек не сможет найти правых и виноватых. В чём причина кипения? Ясно одно: во внутрипартийной борьбе участие принимают все — вплоть до почтальонов! Однажды вечером Фостер собственноручно опустил около дома письмо в почтовый ящик, а на следующий день его конкурент Ловстон получил по почте копию этого письма! Никто не в состоянии объяснить, отчего и как началась эта борьба, и, значит, никто не сможет найти способа её прекратить.

Следующим выступал Мануильский, он предъявил обвинения председателю партии Фостеру. В партию не привлекают новых членов, сказал он. Американские рабочие охотно вступают в профсоюз, но не в компартию. Мануильский резко критиковал Фостера:

— Ты, товарищ Фостер, пришёл из международного

профсоюзного движения, и твоя позиция доказывает, что ты и теперь всего лишь профсоюзный деятель и останешься им навсегда. Ты никогда не сможешь стать хорошим коммунистом. Ты, видимо, и не понимаешь, что такое коммунизм.

На это Фостер ответил так же резко:

— Я действительно опытный профсоюзный деятель. Меня закалил профсоюз, и вот такой я теперь есть. Всем известно, что из крутого яйца яйцо всмятку уже не получится!

Замечание Фостера вызвало смех и аплодисменты. Компартия США постоянно нуждалась в деньгах. В неё входили в основном рабочие-иммигранты, и взносы они платили далеко не всегда. Коренные американцы вступали в партию редко. Зато бесчисленные иноязычные клубы и союзы, в которых иммигранты встречались, чтобы поговорить на родном языке о своей родине, были богатыми организациями. Почти у всех выходцев из Европы были свои национальные союзы в Нью-Йорке и их филиалы во всех крупных городах страны. Многие имели гораздо больше средств, чем компартия, поэтому коммунисты стремились привлечь эти организации в партию. Тогда финансовую помощь, регулярно поступающую от Коминтерна, можно было бы сократить. Но пока что в партию вступали только еврейские организации.

Коммунисты очень интересовались и финским рабочим союзом. Это была разветвлённая, богатая, в основном неполитическая организация. Штаб её находился в Нью-Йорке, а филиалы — во всех районах США, где жили финны. Союзу принадлежало большое здание «Хаал» в восточной части Нью-Йорка, в Гарлеме, на 125-й улице. Здание было приобретено за счёт ссуд, выделенных членами союза. В нём было немало помещений: комнаты для собраний, баня, ресторан, театр и большой актовый зал, сдача их в аренду приносила к тому же неплохой доход. Финскому союзу принадлежало пять независимых в экономическом отношении газет, тогда как партийная газета «Дейли Уоркер» существовала только за счёт субсидий Москвы.

Правда, многие члены правления финского союза были членами компартии (Хенри Пуро входил даже в политбюро), хотя правление в целом относилось к действиям партии с недоверием. Партия, например, проводила в «Хаале» партийные собрания, но платить за аренду помещения отказывалась. Коммунисты также требовали, чтобы каждый член финского союза, принятого в партию как коллективный член, платил партийные взносы, и чтобы финны выписывали «Дейли Уоркер» независимо от того, знают они английский или нет. Такое отношение вызывало среди

финнов вполне понятное недовольство.

На заседании в Москве Пуро и Тенхунен о своих претензиях почти не говорили. Зато секретарь компартии США Браудер поносил финский рабочий союз за самоуправство, уверял, что деятельность его направлена против интересов партии.

Однако руководители Коминтерна приняли сторону финнов: они считали, что финский союз имел большее право на независимость, чем еврейский. Обосновывалось это тем, что финны и у себя на родине, и в других странах всегда были настоящими рабочими, а еврейские коммунисты Нью-Йорка в большинстве своём — мелкие лавочники, бизнесмены, нанимающие рабочую силу. По московским понятиям, это были капиталисты, эксплуатирующие рабочий класс. Так было в теории. На практике же всё выглядело иначе: евреям простили все их капиталистические грехи, ведь их союз переводил в партийную кассу немалые суммы. Именно поэтому среди функционеров партии оказалось немало евреев.

Заседание шло напряжённое. Руководство Коминтерна пришло к выводу, что компартия США действовала неправильно, стремясь вовлечь в партию целые организации. Этим был нарушен устав Коминтерна, принятый на третьем конгрессе. Партия имеет право — и даже обязана — вести пропагандистскую деятельность среди иммигрантов, но недопустимо вести приём коллективных членов, а потом требовать, чтобы каждый из группы платил партвзносы или выписывал газеты, которые не может прочитать.

Руководители компартии США пробыли в Москве несколько месяцев и повсюду говорили друг о друге гадости, по очереди пытаясь втереться в доверие к Пятницкому, казначею Коминтерна. В конце концов, они всем надоели, им было велено покончить с конфликтами и заняться делами партии.

Когда Фостер со свитой, наконец, уехал, Куусинен написал «открытое письмо» финскому рабочему союзу Нью-Йорка. В соответствии с решением московского заседания он подтвердил, что союз имеет право на полную независимость, но очень просил разобраться в конфликтах между союзом и компартией. Письмо было опубликовано в газетах финского союза. Коммунистической партии пришлось временно от финнов отступиться. Позиция, занятая Коминтерном, явилась, конечно, тяжёлым ударом для американской компартии.

В Коминтерне прекрасно понимали, что мировая революция вряд ли начнётся с Америки, и внимания на американскую партию обращали мало. Для Коминтерна было куда важнее заручиться поддержкой финского союза.

Жалобы из Америки не прекращались. Компартия не соблюдала решений, принятых в Москве, и руководство Коминтерна решило направить в Америку человека, который бы разобрался в обстановке. Выбор пал на Юрьё Сирола. Он когда-то по заданию Коминтерна провёл несколько лет в Америке, даже преподавал там в финской школе и хорошо говорил по-английски. Но Сирола ехать отказался, предложил меня. Я учила английский в школе, позже брала уроки у миссис Биттельман, жены американского сотрудника Коминтерна[138]. Сирола спросил, согласна ли я ехать, я согласилась, с условием, что Отто не будет против. О том, что мне эта мысль была очень по душе, я молчала.

Долгое время ничего не было слышно. Но однажды Отто приехал домой удивительно мрачный. Долго молчал, потом спросил:

— Ты бы хотела поехать в Америку, выяснить, что у них там за конфликт между компартией и финским союзом?

Я ответила:

— Да.

Отто возмутился:

— Ах, так, значит, ты хочешь со мной расстаться!

Я ничего не ответила. В тот вечер мы больше не произнесли ни слова.

Через несколько месяцев, в конце января 1931 года я села в поезд Москва — Берлин. Еду в Америку! Моим попутчиком был Куллерво Маннер, он должен был представлять Исполком Коминтерна в Торонто, на конгрессе канадской компартии. Маннер не знал английского, редко ездил один, и я получила задание сопровождать его до Торонто. Я рада была возможности посмотреть Канаду. Меня, правда, немного удивило, что в Торонто послали человека, не говорящего по-английски. Лишь много позже я узнала, почему был выбран именно Маннер. Куусинен хотел удалить его из Москвы и тем временем подготовить его окончательное отстранение от дел.

Никаких душевных неудобств, уезжая из Москвы, я не испытывала, наоборот, была рада, что на какое-то время вырвусь из душной канцелярской атмосферы Коминтерна. Да и в городе обстановка становилась всё тягостнее. Недавно начавшаяся принудительная коллективизация бросала мрачный отсвет и на жизнь города. Ходили страшные слухи о жестокостях в деревне и о голоде, вызванном насильственным объединением крестьянских хозяйств. Крестьян арестовывали и расстреливали, если они отказывались сдавать свою землю и скот. В Москве правительство

пыталось предотвратить голод, но всё напрасно — люди голодали, магазины были пусты. Неудивительно, что я обрадовалась поездке, хотя пока не знала, сколько пробуду в Америке.

У меня был шведский паспорт на имя госпожи Элизабет Петтерсон, мне его достала госпожа Сигне Силлен[139], агент Коминтерна в Стокгольме. Она же достала подложный паспорт для Маннера. В Берлине мы взяли билеты на поезд до французского порта Шербур, а оттуда отправились морем в Канаду. Через десять дней мы приплыли в Галифакс. Всю дорогу Маннер волновался из-за подложного паспорта. С такими нервами нельзя заниматься секретной работой!

Он страшно перетрусил, когда служащий паспортного отдела заговорил с ним в Галифаксе по-шведски, и не хотел верить, что другой господин, говоривший по-шведски, оказался в поезде рядом с нами случайно.

Не знаю, какое ещё спецзадание было у Маннера в Канаде, кроме официального — представлять Коминтерн на съезде канадской компартии и уладить некоторые конфликты между компартией Канады и финским рабочим союзом. Я оставила его на попечение канадских друзей и готовилась к поездке в Нью-Йорк. Визу я получила без всяких затруднений в консульстве США в Торонто.

Я много слышала об Америке, но действительность превзошла все ожидания. Небоскрёбы Нью-Йорка меня потрясли, я восхищалась продуманной планировкой улиц: даже новичок легко ориентируется в бесконечном море зданий. Но больше всего меня поразило, как легко снять номер в гостинице: надо лишь заполнить бланк, документов никто не спрашивает.

Руководители финского рабочего союза устроили чрезвычайно тёплую встречу. За время моей поездки союз оплачивал все мои расходы, отвёл под кабинеты две комнаты, одну — мне, другую — секретарю. Хотя я в США не занимала никакого официального положения, я имела полную свободу деятельности, мои предложения выслушивались всегда с интересом.

Первым делом надо было изучить работу редакций пяти финских изданий. Наиболее крупная газета, «Тюёмиес», издавалась в Супериоре, штат Висконсин, где жило много финнов. Они частично и финансировали газету. Редакция имела свою типографию. Помимо «Тюёмиес» в Супериоре издавался популярный еженедельный журнал «Пуникки». В Астории, штат Орегон, выходила газета «Товери» и еженедельник для женщин «Товеритар», редакция у них была общая. Но финнов там жило

мало, тираж был невелик, и редакция едва сводила концы с концами. Такие же трудности испытывала и газета «Этеенпяйн», выходившая в Ворчестере, штат Массачусетс.

Я была удивлена, узнав, что в Нью-Йорке, где финская колония самая крупная, не выходило ни одной финской газеты.

Гораздо логичнее выпускать крупнейшую газету в Нью-Йорке, ведь там находилось и руководство союза. Я предложила «Этеенпяйн» перевести из Ворчестера в Нью-Йорк. «Этеенпяйн» — для восточных регионов, а «Тюёмиес» — для западных. Далее я предложила закрыть «Товери», а «Пуникки» и «Товеритар» издавать в Нью-Йорке под новым названием «Тюёляйснайнен». Мои предложения были одобрены и осуществлены.

До заседания Коминтерна в 1930 году все финские газеты считались органами компартии США, но потом положение изменилось.

Печатный станок старого образца не имело смысла перевозить из Ворчестера в Нью-Йорк. Союз купил новый типографский станок, который поставили в подвале помещения компартии, поскольку наверху того же здания финский союз снимал ещё несколько кабинетов. Компартия воспользовалась ситуацией и стала печатать «Дейли Уоркер» и другие свои издания в новой типографии, отказываясь платить за бумагу и работу. После долгих препирательств коммунисты согласились оплачивать лишь незначительную часть типографских расходов. Партийная касса была всегда пуста, деньги поступали из Москвы и от коммунистов, входящих в руководство рабочего союза. Но большую часть американских финнов компартия не интересовала, им было вполне достаточно рабочего союза. Поэтому на одном из общих собраний союза было решено, что каждый член союза волен сам решать, будет ли вступать в компартию.

Я получила полномочия и принялась по-новому организовывать работу печати. Я должна была укомплектовать редакции прежними работниками и принять новых. Занималась и финансовыми вопросами. Особое значение придавала отделу рекламы, им заведовал толковый коммерсант, нам с ним удавалось получать рекламу от многих, и не только финских, предприятий, от врачей, адвокатов. Редакторы газеты «Этеенпяйн» обычно обсуждали со мной главные события дня, почти каждый вечер я беседовала с главным редактором. Иногда я правила стиль, пыталась улучшить общий уровень газеты. Мы старались публиковать в газете больше статей о Финляндии, финнов очень интересовала покинутая родина.

Старый печатный станок в Ворчестере решено было продать.

В Москве это стало известно, и Сирола написал мне, что ленинградская финская газета «Вапаус» готова его купить. Руководство финского союза в Нью-Йорке решило этот станок подарить ленинградским финнам. Его разобрали и отправили в Россию, но там выяснилось, что собрать его некому, попросили направить в Ленинград специалистов. Поехало трое наборщиков из американских финнов. Закончив работу, двое из них, Вирккула и Юрвелин, вернулись в Америку. Третий, Хиетала, к своему несчастью, решил задержаться в Ленинграде. Сообщил, что должен обучить наборщиков «Вапаус» пользоваться станком. На самом же деле он влюбился в молодую финку и женился. Очень скоро ГПУ заподозрило в нём тайного агента США. Молодожёнов арестовали. Я встретила госпожу Хиетала в лагере в Потьме: два десятилетия она промаялась по тюрьмам и лагерям. Когда освободилась, узнала, что муж умер в каком-то из сибирских лагерей.

Я думала, что Маннер пробудет в Канаде недолго, поэтому очень удивилась, когда он через много месяцев после нашего приезда появился в моём кабинете в Нью-Йорке. По его словам, Куусинен препятствовал его возвращению в Москву. Задание в Канаде он уже выполнил, делать там больше было нечего. Он был страшно обижен на Отто, считал, что Куусинен хочет от него избавиться, ждёт его ареста. И Маннер уговорил меня просить Куусинена о его возвращении в Москву. Я написала Отто письмо, высказав неодобрение его действиям. Скоро Маннер получил разрешение вернуться. В глубине души я, правда, сомневалась, что Куусинен хотел отставки Маннера. Что Маннер был в своих догадках прав, я узнала лишь в 1933 году, когда вернулась в Москву и услышала о разногласиях Куусинена и Маннера в отношении финской компартии. Тогда мне стало ясно, что Отто в своей мстительности не отступит ни перед чем. В 1935 году он подал в Интернациональную контрольную комиссию длинную докладную с обвинениями против Маннера и его жены. Обоих Маннеров исключили из партии и вскоре арестовали.

Шёл 1932 год. Америка готовилась к президентским выборам. По решению Коминтерна коммунисты выдвинули своего кандидата — председателя компартии США Уильяма Фостера. Фостер активно участвовал в профсоюзном движении, поэтому надеялись, что рабочие проголосуют за него. Претендентом на пост вице-президента был выдвинут негр Джим Форд[140]. В Коминтерне думали, что за него проголосует цветное население.

Форд в это время учился в Москве, в Ленинской школе. Он получил приказ вернуться в Америку и принять участие в

предвыборной кампании, которую финансировал Коминтерн. Там так плохо знали политическую обстановку США, что верили в победу. Всю энергию сосредоточили на негритянском населении. Но напрасно — кандидаты партии не набрали достаточно подписей для включения в избирательные бюллетени. Тогда коммунистам велели голосовать за Рузвельта[141] — была надежда, что он признает советское правительство. Это и произошло в 1933 году.

После неудачной предвыборной кампании Коммунисты США ещё больше упали в глазах руководства Коминтерна: за компартией не пошло даже негритянское население! Решено было прекратить заигрывания с американскими неграми и заняться Африкой. Для начала Джима Форда направили в Гамбург, чтобы он там изучал языки народов Африки. Но вскоре Форд из Гамбурга исчез, больше я о нём ничего не знаю.

Американские негры не проявляли к СССР ни малейшего интереса. Знаю лишь одно исключение. Однажды ко мне в кабинет пришла красивая негритянка, учительница из Гарлема Мэри Адамс. У неё было два сына, семи и восьми лет, и она хотела отправить их в СССР, в надежде, что они там получат хорошее образование и станут настоящими коммунистами. Спрашивала у меня совета, как это сделать. Я ей посоветовала написать письмо в Москву, советскому правительству — оттуда письмо обязательно передадут по назначению.

Прошло двадцать пять лет. Шёл 1956 год. Я освободилась из лагеря в Потьме годом раньше. О разговоре с Мэри Адамс я давным-давно забыла. И вдруг, садясь в московский автобус, я с удивлением увидела, что водитель — негр. За спиной его сидел второй негр. Между собой они говорили по-русски. Лишь тогда я вспомнила негритянку из Гарлема и спросила молодых людей: «Вы случайно не сыновья Мэри Адамс?» Это были они! Как тесен мир! Мне, правда, стало за них обидно — мать надеялась, что они получат хорошее образование, а они в России стали всего-навсего шофёрами. Их мать всё же была в США учительницей.

Однажды ноябрьским утром 1932 года на первой странице «Нью-Йорк Таймс» я увидела заголовок: «Сталин убил свою жену Надежду Аллилуеву». Я сперва подумала, что это злобная пропаганда падкой до сенсаций буржуазной прессы. Официально было объявлено, что Аллилуева умерла во время операции, которая была необходима из-за неожиданно открывшейся болезни. Но как родился слух об убийстве? Я в него не верила, но чувствовала: что-то здесь неладно.

В Москву я вернулась в конце июля 1933 года. На следующий

день после приезда встретилась со своей старой подругой, врачом Муромцевой, работавшей в Академии медицинских наук. Она была коммунисткой и обычно защищала всё, что происходило в СССР. Муж её был старым большевиком, занимал высокие посты. Подруга засыпала меня вопросами о жизни в Америке, я отвечала. Вдруг она прервала меня вопросом:

— А что американская печать писала о смерти жены Сталина? Там писали, что её убили?

— Да, в газетах было полно сообщений о смерти Аллилуевой. Писали, что она была убита.

— Вы поверили?

— Нет, я не могла этому поверить.

— Но это правда.

Я в ужасе уставилась на неё и спросила, откуда ей это известно. Она рассказала мне следующее:

— Раз утром я собиралась на работу. Вдруг мне позвонили, и незнакомый голос велел мне срочно подойти к комендатуре у главных ворот Кремля и предъявить там партбилет. Я была, конечно, вне себя от страха. Когда я пришла в Кремль, там меня ждали ещё две женщины-врача и комендант Кремля. По коридорам нас, троих врачей, провели в комнату Нади Аллилуевой. Она лежала на постели неподвижно, и мы сперва подумали, что она больна или без сознания. Но она была мертва. У тела никого, кроме нас троих, не было. Надя Аллилуева училась в московской промышленной академии и, видимо, собиралась идти утром на лекции: рядом лежали книги и тетради.

Двое мужчин внесли в комнату гроб, нам велели положить в него тело. Но сначала надо было покойную переодеть, и мы стали искать в шкафах и ящиках нужные вещи. В шкафу нашли чёрный шёлковый костюм.

Вдруг врач Н. сделала нам знак и молча указала на большие тёмные пятна на шее покойницы. Мы их осмотрели и, обменявшись взглядами, пришли к выводу: Надежда Аллилуева была задушена! Пока мы стояли, ошеломлённые, пятна всё увеличивались и становились чётче, ясно вырисовывался след каждого пальца левой руки убийцы.

Чтобы скрыть эти пятна, мы обвязали шею Аллилуевой платком, пусть тысячи пришедших проститься думают, что она умерла от какой-нибудь болезни шеи.

Свой рассказ моя подруга закончила словами:

— Вы, конечно, догадываетесь, что мы, все трое, провели после того множество бессонных ночей — ведь мы слишком много знаем!

И в последующие дни, встречаясь со старыми знакомыми и друзьями, я убедилась, что слух об убийстве Аллилуевой распространился довольно широко. Думали, что диктатор накинулся в ярости на жену, когда она стала выговаривать ему за жестокости коллективизации, в результате которой пострадали миллионы крестьян. Слух о преступлении Сталина подтверждался ещё и тем, что после смерти Аллилуевой таинственным образом исчезли её близкие родственники. Все эти разговоры об убийстве были, конечно, чрезвычайно опасны. Даже спустя много лет смерть Аллилуевой была запретной темой. Вместе со мной в Бутырской тюрьме сидела старая уборщица, двадцать лет проработавшая на Монетном дворе. Её соседка по дому, коммунистка, написала донос, что старушка спрашивала: «От какой же это болезни умерла жена Сталина?»

Но слухи об убийстве ходили по-прежнему, об этом много говорили ещё и в 1955 году. Другая моя подруга, тоже член партии, слышала от персонала Кремля ещё одну историю. Маршал Ворошилов[142] жил в Кремле рядом со Сталиным. За стеной своей спальни он слышал гневный голос Сталина и Надины крики о помощи. Он бросился в пижаме на помощь, но опоздал — Аллилуева была мертва. Ворошилов, естественно, не сказал об этом никому ни слова, это стоило бы ему жизни. Многие годы он, единственный свидетель убийства, ощущал нависшую над ним угрозу. В своей знаменитой речи на двадцатом съезде Хрущёв сказал о планах Сталина объявить Ворошилова британским шпионом[143].

Об этих планах я знала ещё в 1938 году. Однажды вечером следователь начал мой допрос хвастливыми рассказами о казнях, которые производились в подвале тюрьмы. Он показал список будущих жертв: первой стояла фамилия Ворошилова, вторым был мой муж Отто Куусинен, а третьим — Микоян![144]

Позже, живя в Москве, я часто в хорошую погоду сидела с книгой в парке Новодевичьего монастыря. Там всегда тихо и красиво. Передо мной древние могучие здания монастыря, церковь, а за крепостной стеной — кладбище, там хоронят знаменитых людей по сей день. На этом кладбище похоронена и Аллилуева. Изящный мраморный памятник: плечи окутывает большая белая шаль, а левая рука изваяния касается шеи как раз в том месте, где, по рассказу моей приятельницы, остались тёмные следы пальцев убийцы.

С Надеждой Аллилуевой я была знакома. Последний раз видела её на международном конгрессе женщин. Это была красивая, добрая женщина. Она мне говорила, что поступила учиться текстильному делу, чтобы получить профессию, а за нею

— и независимость. Мне она показалась очень нервной. Она тяготилась знаками внимания, которые ей оказывали как жене Сталина.

И вот она стоит белоснежным изваянием неподалеку от монастырской стены. Я долго смотрела и думала, как много страданий она перенесла, живя с тираном. Она не пожаловалась ни разу — молчала, как этот мраморный памятник на монастырском кладбище. Кто же осмелился изваять надгробие, так явно указывающее на причину смерти? И почему до сих пор об этом нельзя говорить? Всё ещё смерть Надежды Аллилуевой окутана тайной…

Но пора вернуться в Америку. Финны мне, естественно, чрезвычайно близки, я знаю о них гораздо больше, чем об американцах иного происхождения. Их было в Штатах больше полумиллиона. Честолюбивые, предприимчивые люди, почти все они жили неплохо. В Америке их знали как честных, порядочных людей. Но в 1929 году, когда в мире царил экономический кризис и в США свирепствовала безработица, многие финны тоже лишились работы. Советское правительство не преминуло воспользоваться их бедственным положением: чтобы выполнить пятилетку, нужна была техника и хорошие рабочие руки. А главное — доллары. Финнов стали агитировать переехать в Советскую Карелию — «строить социализм».

К тому времени из Финляндии переселилось в Восточную Карелию около двенадцати тысяч финнов (я о них расскажу позднее). Карельские власти начали вести пропаганду и среди американских финнов, обещая им рай земной. По меньшей мере, пять тысяч человек поддались «карельской лихорадке». Эпидемия эта распространилась с молниеносной быстротой.

В США страсти очень ловко разжигал некто Горин, человек из госбезопасности. В Нью-Йорке он находился под видом работника Амторга, советского торгового представительства. У него было несколько помощников, наиболее эффективно вёл пропаганду американский финн Оскар Корган. Американцам обещали работу, хорошие заработки, добротные квартиры и, конечно, бесплатный проезд морем от Нью-Йорка до Ленинграда, а оттуда — в землю обетованную — Карелию. Бедняков, правда, отвергали. Всё внимание сосредоточили на вербовке рабочих, имевших ценные инструменты, владельцев заводов или своих мастерских. Просили всё имущество брать с собой, обещая бесплатную перевозку и по приезде в Карелию — денежную компенсацию.

Проводились митинги, рассматривались и одобрялись сотни заявлений. И началась миграция. Амторг арендовал несколько

пароходов, один за другим они отплывали из Нью-Йоркской гавани, увозя переселенцев. Многие финны приезжали в Нью-Йорк из отдалённых штатов, Оригоны или Калифорнии, на своих машинах. Часто они были куплены на деньги, вырученные от продажи дома и прочего имущества. Во время кризиса банки охотно скупали недвижимость за гроши. Не все автомобили помещались на судах, множество их скопилось на припортовых улицах, в суматохе отъезда их продавали по дешёвке.

Но я-то знала, что всё это переселение кончится страшной трагедией. Я бывала дома у многих из американских финнов, видела, как хорошо и ладно они живут. Что могла им предложить Восточная Карелия? Какая страшная судьба ждала эти семьи, сколько горя пришлось потом испытать их детям! Я знала, что в Карелии голод, что даже в Петрозаводске не найдётся для этих людей ни жилья, ни продуктов вдоволь.

Куусинен в письме просил и меня принять участие в агитации. Но в ответ я описала, каким хаосом была в Америке «карельская лихорадка», и твёрдо отказалась участвовать в этом деле. Как мне хотелось сказать во всеуслышание об опасности этого предприятия! Но в моём положении это было затруднительно. Раза два я всё же попыталась предостеречь моих друзей, старалась разъяснить им, какой нищий, убогий край — Карелия. Там они не получат ни квартир, ни тех удобств, к которым здесь так привыкли. Но предостережения мои наталкивались на глухую стену непонимания. Один из моих друзей холодно ответил: «Приспособимся к условиям не хуже карел. Мы едем строить социализм!» Одна женщина накупила всякой электротехники и сказала мне с гордостью: «В Карелии я полностью электрифицирую свою кухню». Я же подумала: «Вряд ли у тебя там будет своя кухня».

Горин услышал мои осторожные попытки предостеречь и сообщил о них в Москву. Я получила письмо от президента Карельской республики Эдварда Гюллинга[145], в котором он высказывал недовольство моими действиями и просил, чтобы я больше не пыталась отговаривать финнов. Он писал, что люди и их имущество нужны ему, чтобы превратить Карелию в цветущий край. В письме он подробно изложил свои планы.

Я ответила, что планы его, если и хороши, то только на бумаге и что я никоим образом не хочу участвовать в этом постыдном предприятии. Ещё я написала, что Горин рисует финнам неверную картину жизни в Карелии, каким же контрастом она будет в сравнении с их жизнью в Америке.

Итог этой кампании оказался гораздо страшнее и печальнее, чем я могла предположить. Что же сталось с дорогой техникой и

ценными инструментами, которые переселенцы увезли с собой? Куда делись их доллары?

Технику конфисковали в Ленинграде, не выдав компенсации, деньги отобрали. Простодушных переселенцев уговорили сдать американские паспорта, и позже, в глухих карельских лесах, они оказались беззащитны перед произволом. Жили они в тяжелейших условиях, получали гроши, нищенские заработки совершенно не соответствовали их мастерству. Через какое-то время многие из американских финнов поняли, что их жестоко обманули, и попытались выехать обратно. Но уехать смогли лишь единицы — те, кто предусмотрительно не сдал американские паспорта. Наиболее упорные ушли пешком через леса в Финляндию, там обратились в посольство США за помощью, чтобы вернуться в Америку. Но вскоре и этот путь был закрыт: граница стала усиленно охраняться. Начался сталинский террор.

Многие из тех, кто выжил в ужасных условиях Карелии, сгинули в лагерях или были расстреляны.

Позже, в Москве, друзья, которым я полностью доверяю, рассказали мне, как погибла целая группа финнов из Америки, все профессиональные строители. Они строили здание финского посольства в Москве. Когда работа была окончена, все они были ликвидированы.

Единицы, которым удалось вернуться, в Америку, следуя совету Гюллинга, попытались получить обещанную компенсацию за имущество от американской компартии. Не знаю, верил ли сам Гюллинг в такую возможность, во всяком случае, ни один из этих обманутых людей не получил ни гроша. Спасибо, живы остались!

Подробности этой карельской трагедии я узнала, лишь вернувшись летом 1933 года в Москву. И ещё немало я узнала об этих несчастных за время своего пятнадцатилетнего заключения.

Одним из наиболее известных американских финнов, переехавших в Карелию, был Мартин Хенриксон. В Америку он приехал ещё молодым и прославился в финском рабочем союзе как превосходный оратор. Когда вспыхнула «карельская лихорадка», он был уже стариком, но, желая своими глазами увидеть социалистическое общество, тоже поехал в Карелию. Куусинен в одной из своих рекомендаций назвал его «старейшим коммунистом мира», и на основании этой рекомендации Хенриксона приняли в ВКП(б). Но и он не ушёл от своей судьбы. В 1958 году в Петрозаводске я узнала некоторые подробности его дальнейшей жизни. Однажды его вызвали в контрольную комиссию партии. Обвинялся он в том, что позволил себе презрительное антисоветское замечание. Какое же? Он сказал: «В этой стране живут одни овцы». За это «преступление» старика

исключили из партии, что было равносильно смертному приговору. Его не спасли даже рекомендации. На работу его не брали, а в то время голодали и те, кто работал. Скоро безработный Хенриксон, раньше здоровый и упитанный, превратился в скелет, он с трудом передвигался. Несмотря ни на что, чувства юмора он не терял. Однажды он шёл по улице Петрозаводска с несколькими американскими финнами, на дороге увидели овцу. Хенриксон назидательно погрозил ей пальцем: «Никому не говори, что ты овца, а то тебе здорово влетит!»

«Карельская лихорадка» сказалась не только на судьбе тех финнов, которые поддались соблазну и поехали на Восток, но это был ещё и смертельный удар по финскому рабочему союзу в Америке. Большая часть переселенцев были членами союза. Денежные средства, вплоть до сумм, пожертвованных союзу для покупки собственного здания, были переведены в СССР в качестве «технической помощи Карелии». Союз прекратил своё существование.

Переселение другой группы американских финнов окончилось так же печально. Американский финн Лео Лейно поддался агитации, которую проводили советские служащие в США, и размечтался о переезде в СССР. К политике его мечты и планы никакого отношения не имели: он надеялся, что в СССР ему выделят землю, которую он сможет обрабатывать. Он повсюду говорил о своих планах, и у него становилось всё больше сторонников. Воздушные замки Лео Лейно вознамерился превратить в реальность и поехал в Москву. Там я с ним и познакомилась. Он ещё раньше знал Юрьё Сирола, и тот оказал ему содействие. Правительство с большим интересом отнеслось к планам Лейно, ему в помощь была создана даже специальная комиссия, занявшаяся поиском подходящих земель. Лейно предложили территорию в плодородном Черноземье, неподалеку от Ростова-на-Дону. Он согласился. Вернувшись в Америку, начал подготовку к переезду.

Стали собирать средства, составлять списки желающих ехать, приобретать современную сельскохозяйственную технику. И, наконец, множество семей американских финнов поплыли через океан. Землю им, по словам Лейно, обещали предоставить без всяких ограничений. Поначалу жили под открытым небом, а потом сами себе построили дома. Ничто этих пионеров не пугало. Как-то во время приезда Лейно в Москву я имела возможность с ним поговорить. Он рассказал, что они уже выстроили большой барак, с кухней и общей столовой. К молодым людям приезжали

невесты, и в бараке уже справили несколько свадеб.

Землю возделывали быстро, и скоро местность стала похожа на американскую ферму. Они работали размеренно и охотно. Бывали, конечно, и неудачи, но поселенцы были упорны. Однажды у финнов возникли разногласия с местными властями по каким-то вопросам. Лейно отправили в Москву, ни много, ни мало — к самому президенту страны. Лейно попал на приём к Калинину и через переводчика рассказал о своих затруднениях. Скоро ему вручили бумагу с печатью и за подписью Калинина. В ней говорилось, что местные власти не имеют права вмешиваться в работу приехавших из Америки финнов — они могут засевать земли, сколько посчитают нужным.

Будущее рисовалось прекрасным. Но вдруг как гром среди ясного неба пришёл приказ местным властям образовать на всей территории, где находились и земли американских финнов, большой совхоз, под названием «Гигант». У поселенцев отобрали без всякой компенсации землю и дорогую технику. В одно мгновение они оказались ни с чем. Некоторые уехали нищими обратно в Америку, но Лейно остался в СССР, твёрдо собираясь бороться за свои права. По рассказам Сирола, его и некоторых его товарищей постигла та же судьба, что и многих других невинных: они были расстреляны.

Летом 1933 года я получила приказ вернуться в Москву. Но сперва коротко расскажу, как описали Соединённые Штаты того времени два известных советских сатирика, Ильф и Петров. В начале 30-х годов они на автомобиле исколесили США вдоль и поперёк и в результате написали книгу «Одноэтажная Америка». Читая книгу, приходишь к выводу, что, как ни странно, нет в Америке ничего такого, что бы делало людей счастливыми. В пригородах люди живут в аккуратных небольших домиках. Утром отец семейства едет на своей машине на работу, а жена остаётся с детьми дома. Продукты ей доставляют прямо на дом, ей по магазинам бегать не надо. Всё достается просто, без усилий. Потому-то американцы понятия не имеют, что такое настоящая радость.

Зато в Москве — совсем другое дело. С утра, едва одевшись, не умываясь, выскакиваешь на улицу. Где-то, по слухам, продают сливочное масло. Бежишь на трамвайную остановку. Переполненные трамваи один за другим проскакивают мимо. Наконец с огромным усилием вскакиваешь на подножку, повисаешь и, довольный, едешь. С замиранием сердца всматриваешься в каждый магазин. Наконец трамвай подкатывает к лавке, перед которой выстроилась длиннющая очередь.

Соскакиваешь с подножки и бежишь в конец очереди. Перед дверью лавки — милиционер, пропускает по одному. Только бы масло не кончилось! И вот — о чудо! — входишь в лавку. Через головы толпящихся различаешь глыбу на прилавке, фунтов на двадцать. Хватит ли? Глыба всё меньше. Но когда ты уже готов впасть в отчаяние, продавщица наклоняется и достаёт ещё такую же глыбу масла. С огромным чувством удовлетворения выходишь из магазина, держа в руках заветный кусочек. День потрачен не напрасно!

А в Америке? Жизнь ровная, благополучная, без всплесков. Разве людям там ведомо чувство радости?

В середине июля я села в Нью-Йорке на немецкий пароход, который Амторг арендовал, чтобы перевозить американских финнов в Ленинград. На нём я доплыла до Саутгемптона, оттуда добралась поездом до Лондона и следующим вечером пересела на русский пароход «Красин», плывший в Ленинград. Это был маленький старый пароход, и в бурю на Северном море судну и пассажирам пришлось нелегко.

Во время путешествия у меня было достаточно времени, чтобы обдумать свою дальнейшую жизнь. Я окончательно решила развестись с мужем. За два с половиной года я к нему совсем охладела. Чем ближе мы подходили к Ленинграду, тем больше я укреплялась в мысли, что к Отто не вернусь. Я нисколько не сомневалась, что прекрасно проживу и одна.

Сразу по возвращении, ещё в Ленинграде, меня постигла первая неудача. В Нью-Йорке я купила кое-какую обувь и одежду, зная, как с этим трудно в СССР. Везти всё это я имела право, но таможня отобрала все мои лучшие вещи. Мне, правда, выдали квитанцию и заверили, что в Москве я получу своё имущество обратно, но в таможенном управлении в Москве мне лишь с ехидством ответили: «Вы ведь, наверное, можете здесь купить всё, что вам надо».

Перед самым отъездом из Нью-Йорка я получила письмо от Ниило Виртанена. Он предостерегал, чтобы в Москве я ни с кем не разговаривала, пока он сам не разъяснит мне, какова теперь обстановка. Поэтому из Ленинграда я дала ему телеграмму, попросив, в частности, заказать номер в гостинице. Рано утром Ниило встретил меня на вокзале и повёз на такси в гостиницу «Люкс». По дороге он рассказал, что многие рядовые работники Коминтерна арестованы и что отношения между Отто и финляндской компартией обострились. Ниило говорил, что я напрасно вернулась из Америки. Но я ответила, что другого выхода у меня не было:

— Вернусь на старую работу в Коминтерн, в отдел скандинавских стран.

Ниило был ошеломлён моей наивностью:

— Ни в коем случае! Коминтерн совсем не тот, что раньше, перед вашим отъездом. Обстановка там нездоровая.

Сам он пока, правда, работал в Коминтерне, но всячески старался выехать за границу в командировку. Четвёртое управление штаба Красной Армии могло направить его военным разведчиком в Китай. Другой возможностью было уехать в Берлин, хотя сейчас, при нацистах, это было небезопасно.

Виртанен был умён и рассудителен, в оценках своих он вряд ли ошибался. Я поняла, что разводиться с мужем сейчас опасно — я потеряю всякую опору, кроме того, он мог начать мне мстить. Во всяком случае, помощи я бы от него не получила.

На следующий день я встретилась с Отто и у нас был долгий разговор. Начал он его с выговора. Был обижен тем, что я не сообщила заранее о своём приезде и остановилась в гостинице. Своего отношения к нему я не скрывала: мы стали чужими.

Я рассказала Отто о своей работе в Нью-Йорке, о том, что конфликт между компартией и финским союзом уладить невозможно, особенно сейчас, когда деятельность союза пришлось почти полностью прекратить в результате «карельской лихорадки». Ещё раз сказала, что считаю преступным агитировать финнов переселяться в Восточную Карелию, последствия будут страшные. Отто к моим аргументам отнёсся совершенно холодно: ему было важно, что Карелия получила технику и профессиональных рабочих. Я рассказала о финансовых трудностях компартии США, о беспомощности её руководства. «Но фантазия у них работает хорошо», — и я рассказала, как один из руководителей партии мечтал, что как только они совершат революцию, ЦК партии переедет в Эмпайр Стейт Билдинг. Они уже и этаж выбрали.

— А чем в Америке занимаются финские коммунисты? — спросил Отто.

Я рассказала о нескольких финских семьях в Детройте. Это были в основном семьи рабочих, жили они неплохо, зарабатывали достаточно, работой были довольны. Почти у каждой семьи был свой дом и машина.

— А какова их политическая направленность?

Я ответила, что эти рабочие выписывают и читают левые газеты, но никогда по приказу партии не поднимутся на вооружённый мятеж против правительства. Они уверены в своём будущем.

Отто меня перебил:

— Будь осторожнее, не говори об этом Пятницкому, он об Америке иного мнения. Он просто не поверит, а у тебя будут неприятности. И вообще, если хочешь избежать трудностей, меньше болтай. Ты, кажется, стала настоящей американкой, видишь там только хорошее.

Я вспылила: пусть пошлёт в Америку ещё кого-нибудь, раз мне не верит:

— Объясни же, зачем американским рабочим революция? У них есть всё, что им надо!

Коминтерн в то время разослал во все компартии инструкции для нового пропагандистского демарша. Лозунгом компартии США стала борьба с безработицей. Я прямо сказала Отто, что считаю такую пропаганду смехотворной, она никакого влияния оказать на американских рабочих не может, они живут совсем не так, как рабочие в Европе.

С удивлением прочитала однажды в «Дейли Уоркер», что в Америке якобы двадцать миллионов безработных. На самом деле их было два миллиона. Я сказала об этом главному редактору газеты Вейнстоуну: как он мог опубликовать такую чушь? Левые европейские газеты перепечатают его данные и тоже окажутся в дурацком положении. Вейнстоун ответил с усмешкой: «Подумаешь, на один нолик больше…»

— А чем же ты тогда объясняешь первомайские демонстрации? — спросил Отто. — В них участвуют тысячи рабочих.

— Это верно. Но если ты думаешь, что это имеет какое-то отношение к коммунизму, то ошибаешься. Демонстрации устраивают в основном профсоюзы, они не направлены ни против капиталистов, ни против американского правительства, — ответила я.

Отто заговорил о проблеме негров. Я согласилась, что это действительно серьёзная проблема, но Коминтерн её преувеличивает. Отто удивился, услышав, что у цветного населения в Гарлеме есть свои рестораны и клубы, свои машины и что негры хорошо одеваются. Он был явно разочарован, когда я сказала, что в Нью-Йорке и его окрестностях негры живут гораздо лучше, чем считают в Москве.

Под конец Отто хотел узнать ещё что-нибудь о здании, в котором я работала. Когда он услышал, что в доме девять этажей, то спросил, есть ли там лифт.

— Конечно, и не один, а целых три.

— Ну а если лифты неисправны, людям придётся подниматься пешком? Почему они не приобрели дом пониже?

— Но лифты никогда не ломаются. Не помню, чтобы хоть

один из них был сломан.

— Послушай, неужели ты думаешь, что я попадусь на эту пропагандистскую удочку?

— Да, сейчас вспомнила: один раз лифт сломался. Полный лифт опустился как-то вечером в самый подвал, удивительно, что никто не пострадал. Но к следующему утру лифт починили.

— Вот так, — сказал Отто с насмешкой. — Наконец-то ты рассказала мне хоть один случай, когда американская партия хоть что-то переняла у большевиков. (В СССР лифты вечно ломаются!)

Отто был уверен, что я вернусь на работу в Коминтерн. Я его в этом не разубеждала. Мы ни слова не сказали об арестах работников Коминтерна.

У меня была длинная беседа с Пятницким. Его прежде всего интересовало финансовое положение американской компартии. Он недоумевал, почему компартия такой богатой страны постоянно просит помощи у Коминтерна.

ГЛАВА ЧЕТВЁРТАЯ. Япония — страна улыбок (1934—1937)

Как выехать, и побыстрее, из СССР? С каждым днём становилось всё яснее — надо торопиться. Я снова обратилась за советом к Ниило Виртанену. Он сказал, что четвёртое управление армии подыскивает людей, знающих языки и имеющих опыт работы за границей. Управление занималось военной разведкой, руководил им генерал Ян Берзин[146]. Виртанен был с ним знаком, считал его способным руководителем разведки и обещал мне устроить с ним встречу. Берзин был латыш, с шестнадцати лет участвовал в революционном движении, был арестован в 1906 году и избежал смертной казни только потому, что был несовершеннолетним. Из сибирской ссылки бежал, чтобы продолжить нелегальную революционную деятельность. После 1917 года Берзин примкнул к Троцкому, командовавшему тогда Красной Армией. Таков был человек, который, по словам Виртанена, примет меня с распростёртыми объятиями.

Через несколько дней я была у него в кабинете. Берзин был статный красавец, с лицом, будто высеченным из камня. Разговаривая, он постоянно моргал воспалёнными глазами. Времени на пустые разговоры не тратил. Узнав, что я работаю в Коминтерне референтом по Скандинавии, Берзин сказал, что дело для меня найдётся. Но не был уверен, что Куусинен отпустит меня из Коминтерна. Не лучше ли мне сперва переговорить с мужем?

Я снова пошла к Куусинену. Он уже знал, что меня «вербует» Берзин, и был против моего ухода из Коминтерна. Сказал, что, если меня не устраивает прежняя работа, в Коминтерне можно подыскать другое место.

В конце разговора я сказала:

— Ты, видно, не понимаешь, что у нас с тобой всё кончено. И будет лучше, если после развода я буду работать под началом Берзина.

Я не сказала ему, что твёрдо решила уехать за границу. После длинного, тяжёлого разговора Куусинен понял, что меня не уговорить остаться в Коминтерне, но развод дать категорически отказался.

Я снова пошла к Берзину, сказала, что Отто согласен. Он при мне позвонил Пятницкому, спросил, чем я занималась в Коминтерне, положив трубку, сказал, что Пятницкий меня горячо рекомендовал. Берзин спросил, была ли я когда-нибудь на

Дальнем Востоке. Я ответила отрицательно. Он предложил мне ехать в Японию. Я согласилась не сразу. Мне ведь не были знакомы тонкости работы тайных служб, да ещё я должна была ехать в совершенно чужую страну. Генерал, конечно, заметил моё замешательство, сказал:

— Не беспокойтесь. Мы вам разведзадания не дадим. В Японии можете устраивать жизнь по своему усмотрению, учите японский и вообще знакомьтесь со страной. Мы будем вас финансировать, отчитываться будете передо мной. Единственное условие: в Японию вы должны ехать надолго.

Из разговора я поняла, что задание я всё же получу, но после того, как полностью освоюсь в незнакомой стране. Не хотелось принимать поспешного решения, я попросила несколько дней на раздумье.

В последующие дни я не раз советовалась с Виртаненом, хотя заранее знала, что он скажет. Ниило был уверен, что нам обоим в Москве грозит большая опасность и мы должны пользоваться любой возможностью выехать из СССР. Он сказал, что именно поэтому согласился на предложение Куусинена возглавить бюро Коминтерна в Берлине — недавно было решено его открыть. Он хотел уехать в Китай, но пока это было невозможно. Я согласилась с ним, что жизнь в душной московской атмосфере мне невыносима после «свежего воздуха» Америки. Некоторые из друзей исчезли, я, конечно, тоже была под подозрением, так как долгое время находилась за границей. Кроме того, в Москве трудности с продовольствием, товары, если они ещё в магазинах появлялись, были плохого качества. Повсюду царили антиправительственные настроения, но диктатор сидел в седле крепко.

Так что предложение Берзина было единственным средством спасения. Я согласилась.

Моя работа началась с четырёхнедельного отпуска в Кисловодске, на Кавказе. Вернувшись в Москву, никакого задания я так и не получила, об этом даже не заговаривали. У меня отлегло от души: не надо бояться, что не справлюсь. Единственное, чего от меня потребовали, — держать новую работу в строжайшей тайне.

Пора приступать к сборам. Вначале надо было раздобыть поддельный паспорт. В Японию я должна была выезжать из Швеции, поэтому паспортом меня снабдила моя знакомая Сигне Силлен, работавшая и на Коминтерн, и на четвёртое управление. На этот раз меня звали Хилдур Нордстрём. Хилдур недавно приехала в Москву из Берлина, в паспорте была проставлена виза через Варшаву, Вену и Париж в Берлин, а оттуда в Стокгольм.

Денег на дорогу мне дали в избытке, и я выехала из Москвы в октябре 1933 года. Около недели пробыла в Вене и Париже, там обновила гардероб — русский таможенник оказался прав, сказав, что скоро я смогу купить всё, что мне нужно.

В Берлине я провела сутки. Там случайно в ресторане встретила Виртанена — мир тесен! Такая встреча была небезопасной: в гитлеровской Германии за иностранцами велась жестокая слежка. Виртанен говорил свободно по-норвежски, в Берлине жил под норвежским именем, с немецким паспортом, который получил в отделе международных связей Коминтерна. Кажется, его звали Ёхан Луис Корселл, когда-то паспорт его принадлежал коммунисту из Осло, приезжавшему в Москву. Но Виртнена беспокоило, что паспорт был подделан неуклюже, он просил Сигне Силлен заменить его на шведский. Поэтому он был рад нашей случайной встрече и просил меня сразу по приезде сообщить Сигне, что будет ждать новый паспорт в определённое время в отеле «Терминус» в Копенгагене. Подделка паспорта трудностей не составит — у Сигне были его фотографии и данные. Ниило, кроме того, был недоволен работой — в условиях гитлеровской Германии он не мог ничего сделать — и надеялся скоро уехать из Берлина. Так вскоре и случилось, правда, немного иначе, чем он предполагал. Он всё ещё надеялся, что четвёртое управление направит его в Китай. Мечта его позже сбылась, но, к своему несчастью, он подчинился приказу вернуться из Китая в Москву, где жили его жена и сын, и стал жертвой репрессий.

С паспортом на имя Хилдур Нордстрём я без труда прошла паспортный контроль и в конце ноября приехала в Стокгольм. Остановилась в отеле «Кронпринсен». На следующее же утро я встретилась с Сигне Силлен, передала просьбу Виртанена. Паспорт для него у Сигне был уже готов, но вдруг перед отъездом в Копенгаген она получила письмо на немецком языке, в котором Виртанен сообщал, что арестован, просил связаться с его норвежским другом адвокатом Фальком. Тот должен приехать в Берлин и постараться его вызволить. Фальк был норвежский коммунист, они подружились с Ниило в Москве. Как ни странно, письмо было адресовано прямо Сигне, это было опасно. Но ещё более непонятно, что письмо послано в конверте с печатью полицейского управления Берлина. Чем это объяснить? Мы предположили, что Ниило нашёл среди тюремных надзирателей товарища по партии и тот на всякий случай послал письмо официальным путём.

Получив из Коминтерна телеграмму с разрешением финансировать поездку Фалька в Берлин, Сигне уехала в Осло. Фальк сообщил, что ехать в Берлин согласен. Но скоро

надобность в поездке отпала. Берлинская полиция выяснила, что в Осло задержан настоящий Ёхан Корселл, совершивший незначительное преступление, и что Виртанен родом из Финляндии.

Много месяцев Ниило просидел в берлинской тюрьме, но ему, к счастью, удалось скрыть связи с Коминтерном. В конце концов его отправили в Хельсинки. Но там оснований для его задержания не было, и, как советского подданного, финские власти передали его в советское посольство. Виртанен, возможно, был прав в том, что норвежский паспорт был изготовлен плохо, но подпись губернатора, как Ниило рассказывал в декабре 1935 года в Москве, была подделана так ловко, что сам губернатор признал её за свою.

Прежде чем продолжить путь, я должна была получить новый паспорт: по русской визе в Японию я ехать не могла. Сигне Силлен снова принялась за дело, и через месяц у меня было новое имя и новый паспорт. На этот раз я была Элизабет Ханссон из Луле. Паспорт был настоящий, переклеена лишь фотография. Муж Элизабет, член компартии, получил паспорт официально в Стокгольме: так просто! Теперь я была журналисткой Элизабет Ханссон, мы вместе с Сигне обдумали все подробности биографии.

Рождество 1933 года я провела в семье Сигне. Вдруг из Москвы я получила неожиданный приказ: возвращаться под именем Хилдур Нордстрём! Я уже было подумала, что поездка в Японию не состоится, но опасения оказались напрасны. До сих пор не могу понять, зачем мне велели вернуться, — инструкции можно было переправить и в Стокгольм. Но генерал Берзин, видно, хотел ещё раз со мной поговорить. Он подчеркнул, что в Токио я должна жить на широкую ногу и наладить связи с высшими правительственными кругами. Немецких кругов надо непременно избегать — почему, я узнала гораздо позднее. Никто, кроме самого Берзина, не может отдать мне приказа. Лишь по приезде в Японию я узнала, как будет организована с ним связь. Мой псевдоним — Ингрид. Связным в Японии будет мой старый знакомый, но кто — Берзин не сказал. Потом Берзин выслушал легенду о жизни Элизабет Ханссон и остался доволен. Мы с Сигне действительно продумали все подробности.

Потом генерал подробно изложил мой маршрут. Я должна вернуться в Стокгольм, проставить необходимые визы в паспорте Элизабет Ханссон и получить деньги на дорогу. В три часа дня 23 февраля я должна сидеть в ресторане «Гранд-отеля» в Стокгольме в синем костюме с красным бутоном на левой стороне груди. Там со мной свяжется агент четвёртого управления. Из Стокгольма я

поеду в Осло, положу там на счёт в банке тысячу долларов и через Копенгаген отправлюсь в Париж. Там закажу каюту на итальянском пароходе «Конте Верде», он отплывает в конце июля из Триеста в Шанхай. В Шанхае я должна остановиться в гостинице на улице Бубблинг Уелл, где снова со мной свяжутся и сообщат, куда я должна дальше ехать.

В заключение генерал прочитал мне лекцию о политике. Предупредил, что, возможно, отношения СССР с Японией будут постоянно ухудшаться. Он обосновывал это начавшимся в 1931 году военным столкновением между Японией и Китаем, приведшим к захвату Японией Маньчжурии, основанию марионеточного государства Маньчжоу-Го, а позднее — к переходу Шанхая к Японии.

Но меня ничуть не страшила угроза войны, я с нетерпением ждала приказа отправиться в путешествие. В середине февраля я выехала. В Стокгольм прибыла 21 февраля и остановилась в «Гранд-отеле». Через два дня я, в синем костюме, сидела в ресторане, где кроме меня было ещё двое пожилых людей, они пили коньяк. Я была на месте ровно в три. Никто не появлялся, и я забеспокоилась. В четыре в зал вошли двое просто одетых мужчин. Я поняла, что это и есть агенты. Они сделали мне едва заметный знак, и я последовала за ними на улицу. Я быстро догнала их, мы остановились в переулке. Один вынул из портфеля большой пакет, завёрнутый в рваную газету, сказал по-русски, что в нём много денег. Мы условились встретиться у Сигне Силлен и разошлись.

Неловко было проходить мимо портье отеля с растрёпанным пакетом под мышкой, я была удивлена, как эти агенты неуклюже всё проделали. Но зато я получила ещё тысячу долларов. У Силлен я узнала, что их зовут Крамов и Ильин и что жена Крамова — сестра генерала Урицкого[147]. Крамов был постоянным резидентом четвёртого управления в Стокгольме, а Ильин — его помощником. Оба, как и их руководитель, погибли во время репрессий.

Сигне передала мне имена и адреса, по которым я должна была писать из Японии. Один адрес принадлежал библиотекарю городской библиотеки Стокгольма, доктору наук. Имя и адрес я позабыла. Второй адрес принадлежал Маргарет Сандберг — Бондегатан, 60. Мы условились, что писать мне Сигне будет на имя Карин.

«Элизабет Ханссон» без особых трудностей получила визу в Европу, Китай и Японию. Времени, правда, на приготовления ушло немало, но я и не торопилась — пароход отплывал только в конце июля. В апреле документы были готовы, и я поехала в

Париж. Там я прекрасно провела время, перечитав множество книг о Японии, её культуре.

Я села на пароход «Конте Верде» в Венеции 26 июля, и началось чудесное путешествие в каюте первого класса. Я всегда любила море, хорошо переносила качку, но это путешествие было особенно приятным: у меня были милые попутчики, они дали мне множество хороших советов, касающихся Китая и Японии. Пароход заходил в Порт-Саид, в Массауа в Эритрее, а потом в Индийском океане мы попали в страшный шторм. В Бомбее я видела, как бедно живут индийцы и насколько они суеверны. Огромное впечатление произвёл на меня Цейлон, для пассажиров там провели экскурсию. Это и был тот рай, из которого изгнали Адама и Еву! Потом причаливали на безлюдной Суматре, в Джакарте (в то время Батавии), об этих местах я не запомнила ничего. Заходили ещё в несколько портов Индокитая, в Гонконг и в середине сентября приплыли в Шанхай. Путешествие длилось шесть недель. Я с грустью сошла с «Конте Верде», где мне было так хорошо. Я тогда и не подозревала, что через два года проделаю тот же путь на том же пароходе.

Мои попутчики-итальянцы отговаривали меня останавливаться в гостинице на улице Бубблинг Уелл, как было условлено в Москве. Говорили, что она пользуется дурной славой. Как случилось, что люди Берзина так плохо знали жизнь вне СССР? Мне рекомендовали первоклассный отель «Палас». Я сняла там номер в надежде, что связной меня найдёт. Для верности я телеграфировала библиотекарю в Стокгольм: нужной книги не нашла, остановилась в отеле «Палас».

Через несколько дней после моего приезда в отеле появилась молодая женщина, говорившая по-немецки. Она должна была отвезти меня к «шефу». Мы поехали на такси во французскую часть города, остановились на бульваре Фоха. Шеф представился как доктор Босх, женщина была радисткой, звали её Элли.

Босх выразил недовольство тем, что я сама выбрала гостиницу. Это был резидент, глава тайной спецслужбы СССР в Шанхае, ему подчинялись все советские агенты на Дальнем Востоке. Он, правда, признал, что я на особом положении, потому что приказы буду получать прямо из Москвы. Он поинтересовался моим заданием, но я ответила, что конкретных заданий пока не получала. Ему это явно не понравилось. Я ни в коем случае не должна ехать дальше, пока он не получит на то разрешение из Москвы, сказал он. Последнее время трудно связаться по радио с «Висбаденом» (Владивостоком), поэтому я должна терпеливо ждать, так как с «Мюнхеном» (Москвой) прямой связи нет. Мне показалось странным, что он так неосторожно и без особой

надобности раскрыл мне кодовые названия. Босх допустил и вторую небрежность: когда он ненадолго вышел из комнаты, на столе, среди бумаг, я увидела его паспорт. Я быстро в него заглянула: он был выдан на имя латыша Абрамова.

Элли тоже нарушила правила секретной службы, показав мне, что радиопередатчик хранится за шкафом. Родом она была из Люксембурга, в Шанхай приехала из Москвы на несколько недель раньше меня. Лишь через много лет я узнала, что настоящая фамилия Абрамова — Бронин, что они с Элли женаты, оба из Москвы. Они мне показались людьми малообразованными, и, находясь в Шанхае, я по возможности старалась их избегать. У Босха я однажды познакомилась с одним из его агентов — Войтом, представителем германской фирмы «Сименс».

Я пробыла в Шанхае около месяца, пока из «Висбадена» не пришло, наконец, разрешение продолжать путь. Босх сообщил, что ехать я должна в Токио, спросил, где собираюсь остановиться. Мои попутчики-итальянцы рекомендовали мне отель «Империал», и мы с Босхом условились, что меня там разыщет «доктор». Босх дал мне денег на дорогу.

Скоро я буду в Японии! Я заказала каюту на американском пароходе «Президент Джэксон» и через неделю, в конце ноября, прибыла в Кобэ. Меня встречали в гавани несколько моих друзей-итальянцев, которым я сообщила о своём приезде. Я пробыла в Кобэ неделю, потом отправилась в Токио. И вот я в «Империале», началась моя жизнь в Японии — счастливое время! Жаль, что два года, которые мне суждено было там провести, пролетели так быстро…

Отель «Империал», длинное низкое здание жёлтого и красного кирпича, находился неподалеку от императорского дворца. Отель был построен по проекту американского архитектора Франка Ллойда Райта. По стилю он совершенно отличался от окружающих его современных зданий, напоминая скорее древнее жилище индейцев в Центральной Америке. Чтобы избежать разрушений во время землетрясения, под здание не был подведён единый монолитный фундамент, и стояло оно, как ни странно, у самого моря, на илистом берегу. Во время землетрясения 1923 года отель нимало не пострадал. Рассказывали, что, узнав об этом, Райт отбил телеграмму: «Я был в этом уверен!» Фойе и ресторан отеля «Империал» были излюбленным местом встреч элитарной публики из разных стран. Там назначали встречи дипломаты, коммерсанты, журналисты, а порой даже разведчики. Выходившая на английском газета «Джапан Таймс» публиковала имена вновь прибывших и давала светскую хронику об иностранцах в Токио. Постоянно жить в

«Империале» было не очень удобно, хотя это был очень уютный, со вкусом обставленный отель.

Я и суток не пробыла в «Империале», как в моём номере зазвонил телефон и мужской голос попросил дать интервью для газеты «Асахи». Я поняла, что должна согласиться. Очень скоро ко мне пришёл какой-то барон Накано[148] с фотографом. Накано брал интервью для газеты, но я не сомневалась, что он подослан полицией. Был он исключительно вежлив и тактичен. Интервью было опубликовано на следующий же день. Со временем барон Накано стал моим хорошим другом, с его помощью передо мной раскрылись многие двери, обычно закрытые для иностранцев. Мне всегда помогал и другой журналист — Уехара из «Джапан Таймс», это был очень образованный человек.

Я твёрдо решила выучить японский и, не теряя времени, уже через неделю пошла на первый урок в школу Ваккари. Господин Ваккари был итальянец, он давал японцам уроки английского, а его жена Энко учила иностранцев японскому. Многие из её учеников были работниками посольств. Энко была хорошим преподавателем, скоро мы с ней подружились, и это дало мне возможность расспрашивать её о таких сторонах жизни Японии, о которых говорить с иностранцами было не принято. Разговорный японский давался мне легко — язык мелодичен, фразы не длинные, и слова произносятся чётко. Но научиться писать иероглифы иностранцу почти невозможно. В японском много вежливых, изысканных обращений и чрезвычайно мало слов, выражающих любовь и нежность. Японец привык скрывать свои чувства, особенно имея дело с иностранцами, прикрывая их вежливым обхождением. Но было бы неверно думать, что японцы не испытывают горячих чувств, просто они об этом не говорят; они никогда не жалуются на неприятности и даже в несчастье умеют улыбаться и смеяться. Японцы считают, что ни у кого нет права отягощать душу ближнего своими заботами; японскому характеру, прежде всего, присуще самообладание.

Рождество я провела у моих жизнерадостных друзей-итальянцев в Кобэ. За двенадцать месяцев, прошедших с предыдущего Рождества в Стокгольме, произошло чрезвычайно много для меня интересного, годом я была довольна. Что принесёт следующий, 1935-й?

Я хотела как можно скорее снять меблированную квартиру в доме Нономия, чтобы съехать из дорогого отеля. Но пока со мной не свяжется таинственный «доктор», уехать из «Империала» я не могла. В начале января 1935 года, в точно назначенное время я сидела в фойе «Империала». В дверях появился мужчина и едва заметно мне кивнул. Я сразу узнала доктора Рихарда Зорге, с

которым познакомилась ещё десять лет назад, когда он работал в немецком секторе Коминтерна. Тогда, вскоре после своего приезда из Германии, они с женой бывали в гостях у нас с Отто. Вот, значит, кто будет связным между мною и генералом Берзином!

Я ещё немного посидела, потом вышла на улицу, где меня в такси ждал Зорге. Разговор наш был короток. Я сообщила, что собираюсь переехать, он знал, что я — «Ингрид», но понятия не имел о моём задании. Он не имел полномочий ни приказывать мне, ни давать инструкций, но вся связь между мною и четвёртым управлением должна была идти через него. Зорге предложил встретиться через неделю в одном из баров.

На этой же неделе я переехала в дом Нономия, где сдавались квартиры. Как и было условленно, мы встретились с Зорге в баре. Это была низкопробная немецкая пивнушка, и я попеняла Зорге на то, что он заставил идти в такое отвратительное место женщину, до того жившую в отеле «Империал». Зорге на мои слова не обратил внимания, сказал, что скоро собирается в Москву, туда и обратно поедет через США. Когда вернётся, не знал, потому дал мне денег на целый год.

До ноября меня никто не беспокоил, и мне удалось познакомиться со многими журналистами и людьми из высоких правительственных кругов. Но потом вдруг произошло нечто странное. Ко мне домой пришла незнакомая блондинка и сообщила по-немецки, что «наш общий друг доктор» велел мне срочно ехать в Москву, но до этого повидаться с ним. В тот же вечер я должна была встретиться с мужчиной, говорящим по-немецки, в цветочном магазине на площади Роппонги, и он отведёт меня к доктору. Женщина сказала также, что я должна срочно подготовиться к поездке в Москву и ехать кратчайшим путём.

Это было выше моего понимания! Разве мне не было сказано, что я пробуду в Японии несколько лет? Отчего же вдруг эти перемены, именно сейчас, когда мне удалось завязать много ценных знакомств? Как же я объясню свой внезапный отъезд знакомым?

Вечером я послушно пошла в цветочный магазин, купила два цветка. Там меня ждал толстый немец. Он не представился, и я не стала спрашивать его имени. Мы взяли такси и приехали в скромную двухкомнатную квартиру Зорге. Он подтвердил сообщение, но причины вызова не знал. Я должна ехать через Сибирь, в Москве остановиться в гостинице «Метрополь», там меня найдут. Затем он попросил передать в Москве несколько сообщений и дал денег на дорогу.

Толстый немец был главным помощником и радистом Зорге (позже я узнала, что его звали Макс Клаузен[149]). Он просил меня сказать в Москве, что может открыть в Иокогаме магазин радиотехники и электротоваров — это будет прекрасная ширма и, кроме того, даст Клаузену средства к существованию. Для открытия предприятия нужно двадцать тысяч долларов.

Через несколько дней я прочитала в «Джапан Таймс», что в Шанхае арестован таинственный шпион по фамилии Абрамов (Элли, по-видимому, ареста избежала). Хотя причин, по которым меня отзывали, могло быть множество, я сразу подумала, что скорее всего это вызвано арестом Босха. Правда, я с октября 1934 года с ним не виделась, но могло стать известно что-нибудь, меня компрометирующее. Босх был центром всей советской дальневосточной разведки, и вполне вероятно, что арест его вызвал в Москве беспокойство.

В бюро Интуриста я узнала, что лучше всего ехать морем из японской гавани Шимоносеки до китайского порта Дайрен. Оттуда по железной дороге я доберусь через Маньчжурию до Харбина и поеду дальше сибирским экспрессом.

Ехать так на восемь суток быстрее, чем ждать парохода на Владивосток. Я заказала транзитный билет через Советский Союз и Берлин в Стокгольм, куда, естественно, и ехала Элизабет Ханссон.

Но Элизабет Ханссон должна была ещё получить советскую транзитную визу. Это было не так-то просто. Я боялась, что за советским посольством в Токио ведётся наблюдение и, не желая привлекать лишнего внимания, поехала в Кобэ, где было советское консульство. Там мне пришлось оплатить телеграмму, которой консул запросил разрешение на визу. Через какое-то время в моём паспорте проставили транзитную визу, и заодно я получила разрешение пробыть в Москве трое суток.

Друзьям и знакомым в Токио я объяснила, что вынуждена ехать в Швецию по семейным обстоятельствам и что постараюсь вернуться как можно скорее. Садясь в поезд на Шимоносеки, я поняла, сколько друзей приобрела за год. На вокзале меня провожало около двадцати человек, среди них барон Накано со своей матерью. Как трудно было расставаться с этими людьми и их прекрасной страной!

Путешествие прошло без приключений. Пароход, на котором я плыла из Шимоносеки в Дайрен, был уютный и чистый, зато гостиница в Харбине, где я провела одну ночь, — необычайно грязной.

Проезжая через Маньчжурию, я отметила, что страна наводнена японскими солдатами. Затем девять суток

однообразного пути через Сибирь, и лишь в начале декабря 1935 года я оказалась в знакомой обстановке гостиницы «Метрополь». На следующий день после моего приезда в гостиницу пришёл офицер четвёртого управления майор Сироткин. Я выразила ему своё недовольство тем, что меня так скоро отозвали из Японии, как раз когда у меня завязались хорошие контакты.

— Но мы решили, что вам грозит опасность, — сказал Сироткин, — и, кроме того, наш новый начальник генерал Урицкий хочет с вами встретиться. Он считает, что вы должны вернуться в Японию.

Я удивлённо спросила, где генерал Берзин. Сироткин ответил уклончиво и заговорил о Зорге. Сведения Зорге якобы неточны, часто не соответствуют истине. Ещё Сироткин сказал:

— Между нами, в отделе полный хаос, даже командование не знает, чего хочет.

Уходя, Сироткин обещал устроить мне как можно скорее встречу с Урицким.

Я всегда заранее старалась выяснить черты характера и уровень образования людей, с которыми мне предстояло встретиться. Поэтому попросила Сироткина описать мне Урицкого. Он не сразу согласился, но в конце концов рассказал, что Урицкий — опытный в делах разведки человек. Во время гражданской войны командовал конной бригадой. Я спросила, не родственник ли он руководителю петроградской чека Урицкому[150], убитому в августе 1918 года, в тот самый день, когда Фанни Каплан стреляла в Москве в Ленина. Сироткин ответил, что Моисей Урицкий был дядей генерала Урицкого. Под конец Сироткин попытался меня приободрить — бояться мне нечего, начальник дружелюбен и образован.

В тот же день я позвонила Ниило Виртанену. Он тотчас ко мне приехал и без обиняков как бы продолжил наш разговор 1933 года, когда я приехала из Америки. Зачем я вернулась? Разве я не знаю о страшных чистках? Берзин уволен, финские функционеры в Карелии отстранены, многие из них арестованы. Если это только возможно, я должна вернуться в Японию, ни в коем случае нельзя оставаться в Москве! Сам он скоро по заданию четвёртого управления едет в Китай, но боится, что его жена и сын не получат разрешения выехать из СССР. Виртанен рассказал о своей случайной встрече в августе в Москве с Зорге. Они вместе провели весёлый вечер в ресторане гостиницы «Большая Московская». Зорге, как обычно, много выпил и в пьяном виде прямо говорил о своём сложном положении. Ему надоело работать на русскую разведку, но нет возможности отказаться и начать жизнь снова. Он чувствовал, что в СССР он в опасности, но

знал, что Германия для него закрыта, там он сразу будет арестован гестапо. Оставалось вернуться в Японию, хотя он и предвидел, что работать ему там оставалось недолго.

Только Виртанен ушёл, зазвонил телефон. Это был Отто. Он опечален, что я не приехала к нему, сказал он. Хочет со мной поговорить о каком-то важном деле, но это не телефонный разговор. Не могу ли я сегодня вечером прийти? Я не сразу ответила, но потом обещала прийти в девять вечера, в тот самый огромный Дом правительства, который был мне так хорошо знаком.

Отто заметно постарел, двигался и говорил медленнее, не так живо, как два года назад. Расспрашивал о моей поездке и жизни в Японии. Но рассказам об оставшихся в Японии друзьях и о моих там занятиях не поверил. Глубоко вздохнув, очень серьёзно сказал:

— Когда-нибудь тебя арестуют как шпионку и приговорят к смерти.

Я его убеждала, что задание у меня совершенно не опасное, я могу заниматься чем угодно, что сейчас я изучаю японский и знакомлюсь с обычаями этой страны.

Наконец я спросила, что это за важное дело, о котором он хотел поговорить. Он долго рассеянно смотрел на меня, потом сказал, что сможет сказать только завтра вечером и после его предложения, он уверен, я иначе отнесусь к своему возвращению в Японию. Меня его слова очень раздражили, но я всё-таки обещала прийти на следующий день в восемь вечера.

Теперь я поняла, что это именно Куусинен стоит за отданным мне приказом вернуться. На следующий вечер, не скрывая гнева, я сразу спросила:

— Зачем ты меня вызвал в Москву? Я ведь только что завела важные знакомства в высших кругах Японии.

Отто ответил не сразу. Потом заговорил, как обычно, сухо, даже грустно:

— Не я тебя вызвал.

— Кто же? — спросила я сердито.

— Сталин, — ответил Отто. — Сиди спокойно, не волнуйся, ты поймёшь, что именно Сталин отдал приказ… Ты ведь знаешь, как быстро сейчас меняется картина мира и как трудно угнаться за ходом истории. Помнишь, обстановка в Германии осенью 1923 года, казалось, вполне созрела для революции. Экономика в упадке, деньги обесценены, там была сильная компартия и рабочие были готовы к революции. Оружия было в достатке, программа разработана до мельчайших подробностей. И что же произошло 22 октября, когда должна была начаться атака?

Ровным счётом ничего. С тех самых пор день и ночь мне не даёт покоя вопрос: чем было вызвано это дремотное состояние? В течение десяти лет я снова и снова искал тому причину. И, в конце концов, пришёл к выводу, что все наши старые теории революции нынче не имеют почвы. Мы живём в новое время, нужны новые предпосылки, а мы этого в 1923 году не поняли. На этом выводе основана и моя новая теория, в которую, действуя медленно и осторожно, я заставил поверить и Сталина. Он думает, что это его собственная идея, поэтому говорить в Москве об этом я не могу ни с кем. Сейчас я хочу объяснить тебе, в чём состоит моя новая теория. Будь добра, сядь и не прерывай меня.

Я ничего не сказала, и Куусинен снова заговорил:

— Русская революция произошла спонтанно, царизм был к ней не готов. Недальновидное русское правительство отрицало всякую вероятность революции. Может показаться странным, но в тот момент революционеры и сами не верили в осуществление их цели — и меньше всех Ленин… Но теперь дело обстоит иначе. Капиталистические правительства знают о коммунистической угрозе и без стеснения используют все способы, чтобы в зародыше задушить революцию. Правительства преследуют коммунистические партии, имеющие хорошо обученные кадры, во всех странах Европы тюрьмы набиты коммунистами. На заводах и везде, где есть рабочие и служащие, коммунистов увольняют. Или третируют коммунистическую прессу, партийную пропаганду всячески стараются задушить. В таких условиях подготовка революции едва ли возможна. В Коминтерне мы продвигаемся очень медленно, обучая кадры из разных стран, но потом в капиталистических странах тех, кто мог бы по-настоящему руководить, не ставят на ключевые посты. Сталин признал вчера в разговоре со мной, что у Коминтерна в международных кадрах есть очень способные люди, но у большинства из них нет настоящей работы.

После такого вступления Отто ясно обрисовал мне свою теорию, которую, стало быть, поддерживал и Сталин:

— Я буду говорить прямо и откровенно. Вполне возможно, что скоро вспыхнет война. Финляндия тайно готовится к нападению, хочет захватить Восточную Карелию и часть северной территории до Мурманска…

Я всё время сидела молча, но тут не выдержала:

— Неужели, ты думаешь, финны так глупы, что нападут на эту огромную страну? Это всё равно что мухе напасть на слона! Откуда у тебя такие сведения? Это неправда!

Прямого ответа Отто мне не дал.

— Ты же знаешь любовь Гюллинга к Финляндии, помнишь,

как он с восхищением говорил о финской административной системе: страна разделена на губернии, в каждой — самоуправление. Помнишь, он говорил, что это разделение применимо и в Восточной Карелии?

— Да, я помню. Но тот разговор никакого отношения не имел к военным вопросам. Гюллинг имел в виду только экономику.

Отто на это заметил:

— Гюллингу доверять нельзя. — Затем продолжал: — Можешь мне поверить, скоро начнётся война, очевидно, она охватит много стран. Ты должна понимать, что Германия всегда стремилась к захвату Финляндии, а сейчас немцы выжидают момента, чтобы Финляндия начала какие-либо действия против Советского Союза, тогда у неё будет повод кинуться на помощь финнам. Будь то Финляндия или любая другая страна, немцы готовы в любой момент начать войну против Советского Союза. Англия, кроме того, имеет виды на мурманское побережье, даже Норвегия пришла бы на помощь. Значит, мы должны сосредоточить все силы на том, чтобы не растерять достижений большевистской революции. Финляндия — страна маленькая, но она имеет важное значение! Во-первых, мы должны выяснить, как можно помочь Финляндии защититься от угрожающих ей внешних опасностей. Я имею точные сведения о международных кадрах Коминтерна, которые в нашем распоряжении: их надо за границей верно распределить, расставить на те места, где они смогут действовать наиболее эффективно.

Сейчас наступило время и тебе применить свои способности для осуществления этого грандиозного предприятия. Сталин уже давно следит за твоею жизнью и работой, и сейчас у него есть для тебя важное место, где ты можешь наилучшим образом повлиять на будущие события. Ты была в Японии — ну и чего добилась? Сталин хочет предложить тебе настоящую работу!

Ты ведь знаешь Александру Коллонтай и то, как часто она в политическом отношении изменяла нашему правительству. Она из старых меньшевиков, выступавших в своё время против Ленина. После революции она присоединилась к группе Шляпникова и была за это арестована.

После этого она приняла сторону Троцкого и, будучи послом в Норвегии, поддерживала Транмеля[151] в его борьбе против Коминтерна. Ты знаешь, что потом её направили послом в Мексику, где жил Троцкий и где она к нему и примкнула[152]. Сейчас она в Швеции, но Сталин хочет её отозвать и уже больше не выпустит за границу. Послом в Швеции и Норвегии должна быть ты!

Я всё с большим изумлением слушала торжественный

монолог Отто, в его словах было даже что-то забавное, но тут я сердито воскликнула:

— Я? Послом? Я не дипломат и этого места мне не надо!

— Но Сталин уверен, что ты — лучшая кандидатура на это место. Скандинавы привыкли к тому, что наши послы — женщины. Ты знаешь язык, знакома со страной. Что ещё? Отсутствие опыта дипломатической работы тебя не должно волновать: рядом с тобой будут люди, которые тебе помогут. Ты много лет проработала в штабе большой международной организации. Думаешь, работа в Швеции будет очень отличаться от твоей прежней работы? Можешь быть уверена, мы постоянно будем находиться рядом с тобой, ты можешь всегда обращаться к нам за советом.

Терпение моё лопнуло:

— Теперь мне ясно. СССР начнёт войну против Финляндии, а я как посол в Стокгольме должна помогать авантюре, должна идти против моей родины и её народа. Нет, спасибо, я с этим не хочу иметь ничего общего. Объясняй это Сталину как хочешь.

— Но Сталин всё же пригласит тебя на беседу, сам объяснит, насколько это важно. Что ты ему ответишь?

— Пока не знаю. Ясно одно: послом я не буду и к подготовке войны не хочу иметь никакого отношения!

На этом закончился мой разговор с Куусиненом в декабре 1935 года. Я ушла, не простившись, и больше мы с ним не виделись.

Я не спала всю следующую ночь, всё думала, как мне выпутаться из этой истории. Я ни в коем случае не хотела соглашаться на предложение Куусинена и Сталина.

На следующее утро после моего разговора с Отто пришёл майор Сироткин, передал телефон генерала Урицкого. Генерал попросил прийти на следующий день в семь утра к нему на квартиру в Дом правительства. Урицкий был стройный, среднего роста брюнет, с небольшой бородкой. Он вежливо поздоровался. Я рассказала о своём разговоре с Отто, просила сделать всё возможное, чтобы я смогла вернуться в Японию. Он обещал постараться, однако опасался, что решению Сталина и Куусинена противостоять невозможно. Скоро генерал заторопился уходить. Во время разговора в комнату забегал мальчик, он был из Испании, его отец, командир военно-воздушных сил, отправил его для безопасности в Москву.

Целую неделю я с беспокойством ждала в гостинице приказа прибыть к Сталину. Наконец Сироткин принёс радостную весть: принято решение о моём возвращении в Японию. Урицкий хотел ещё раз со мной поговорить, и Сироткин проводил меня к нему.

Кроме Урицкого в кабинете находился незнакомый мужчина в гражданском. Я сразу почувствовала к нему неприязнь и, хотя он не сказал ни слова, по выражению его лица решила, что неприязнь взаимна. Урицкий был рад, что вопрос о моём возвращении наконец решился. С осуждением взглянув на незнакомого мужчину, он сказал, что вызов в Москву был ошибкой. Будто давал понять, откуда исходил приказ.

Затем генерал расспросил в подробностях о моей жизни в Японии, о моих связях, о политической обстановке в стране. Я подчеркнула, как опасны террористические организации для парламентского строя Японии. Урицкий согласился, он считал, что это может отрицательно сказаться на отношениях между Японией и Советским Союзом. На этот раз я опять не получила никакого определённого задания: Урицкий посоветовал продолжить занятия японским, завязать новые знакомства. Зорге, которым Урицкий был недоволен, я должна избегать. Когда я сказала, что помощник Зорге просит двадцать тысяч долларов, чтобы открыть магазин, генерал сердито воскликнул:

— Эти жулики только и знают, что пьют и транжирят деньги! Не получат ни копейки!

Под конец беседы Урицкий предложил мне написать о Японии книгу, обрисовать в ней в выгодном свете страну и народ — это мне поможет занять определённое положение. Не следует ни в коем случае критиковать японскую политику, наоборот — надо осудить Советский Союз. Подумаешь, одной антисоветской книгой больше — не страшно! В расходах я могу не стесняться.

За эти месяцы у меня набралось немало материалов и снимков, поэтому я охотно приняла предложение издать книгу. Замечательная мысль! Мы условились, что работать над книгой я буду в Стокгольме и уеду туда как можно скорее. Это была моя вторая и последняя встреча с генералом Урицким.

Ни я, ни Урицкий не затрагивали опасную тему о моём назначении послом. Так я и не узнала, что всё это значило. Возможно, это были лишь фантазии Куусинена, а Сталин если что и знал, то решений никаких не принимал. Иначе он не отступился бы так быстро. Кроме того, вопрос касался ещё и наркомата иностранных дел, да и шведское правительство не должно было согласиться — оно расценило бы моё назначение как вызов Финляндии. Чем же объяснить предложение Отто? Скорее всего, он во что бы то ни стало хотел помешать мне вернуться в Японию, опасаясь, что там меня могут задержать как шпиона, а это угроза и деятельности Коминтерна, и ему самому. Тогда я так ни до чего и не додумалась, но в 1938 году, в Лефортовской тюрьме, узнала от одной сокамерницы, что эта идея была не просто выдумкой

Куусинена. Об этом расскажу подробнее в следующей главе.

Отъезд день ото дня откладывался, и я решила снять квартиру. Сироткин нашёл для меня жильё в доме четвёртого управления. У меня часто бывал Юрьё Сирола, рассказывал о разногласиях финских коммунистов, о борьбе Маннера против Куусинена. Приходили однажды и Маннер с женой. Вскоре оба они были арестованы. Позже, в лагере, я случайно узнала о дальнейшей судьбе Маннера, но об этом — в другой главе.

Я беспокоилась о своём брате Вяйнё, так как ничего не знала о нём с тех пор, как он был назначен директором сельскохозяйственного института в Петрозаводске. Я тайно поехала в Петрозаводск, и там подтвердились худшие опасения. Я нашла лишь его жену, она была в большом горе: Вяйнё был недавно арестован и перевезён в Ленинград. Гюллинг, Нуортева[153], Ровио[154] и многие другие финские коммунисты были уволены. Через какое-то время они все были расстреляны. Я рискнула пойти к начальнику НКВД в Петрозаводске хлопотать о Вяйнё. Начальник вежливо сказал: «Против вашего брата у нас нет ничего, это умный и всеми любимый молодой человек. Сейчас он находится в Ленинграде для выяснения некоторых обстоятельств. Но скоро вернётся сюда». Вяйнё не вернулся никогда.

В середине января 1936 года Сироткин передал мне приказ об отправлении и деньги на дорогу. В Стокгольме я должна была снова связаться с Крамовым, затем, закончив книгу о Японии, ехать в Париж и, наконец, на «Конте Верде» — в Шанхай. Там со мной установят связь и сообщат, когда и на каком пароходе ехать в Японию.

Уезжая из Москвы, я попросила свою бывшую экономку Александру взять на хранение одежду и другие вещи, привезённые мною из Японии. Как пригодились мне через много лет эти вещи!

С паспортом Элизабет Ханссон я в феврале через Варшаву, Вену и Париж приехала в Стокгольм. Там сняла номер в «Гранд-отеле» и сразу принялась за книгу о Японии. Писала по-шведски. Назвала её «Det leende Nippon» — «Улыбающаяся Япония». Название должно было передать основную мысль книги: Япония — восхитительная, солнечная земля, японцы — удивительный народ. Я хотела целую главу посвятить буддизму, попытаться рассмотреть влияние восточной философии на мировоззрение японцев.

Работа двигалась удивительно быстро. Через две недели книга была готова. Хуго Силлен[155] нашёл для меня издателя, и тот обещал выпустить книгу уже в июне. Закончив дела, я

поспешила уехать из Стокгольма и пригласила Сигне Силлен в небольшое путешествие до Копенгагена.

Из Дании я поехала в Париж, чтобы забронировать там каюту первого класса на «Конте Верде», и снова вернулась в Стокгольм.

Книга уже вышла, оформлением я осталась довольна. С гордостью послала по экземпляру друзьям в Японию, а также Урицкому и Куусинену. От «резидента» Крамова я потом узнала, что генерал был рад и поздравлял меня с выходом книги, тем более что это было его предложение.

Я снова возвращалась в Японию! «Конте Верде» отплывал на этот раз из Генуи. Я с удовольствием поднялась на знакомый пароход, уверенная, что путешествие и на этот раз пройдёт так же весело и беззаботно. В конце августа прибыли в Шанхай, и я остановилась в недавно открытом отеле «Парк». Через несколько дней в номере появилась говорившая по-русски молодая женщина. В тот же день около семи часов вечера я должна была подойти к цветочному магазину на площади Н., где меня будет ждать человек, которого я знаю. Ровно в семь часов я купила букет гвоздик и в дверях магазина столкнулась с человеком, в котором было что-то мне неприятное. Это оказался тот самый гражданский, которого я видела в кабинете генерала. Мы сели в его машину. «Можете продолжать путь в Японию, вот деньги». Больше он не произнёс ни слова. Я, холодно попрощавшись, вышла из машины. Я так никогда и не узнала, как его зовут, и больше его не видела. Скорее всего, это был «резидент» в Шанхае, занявший место доктора Босха. Сумма, которую он мне передал, говорила о щедрости четвёртого управления.

Я сразу забронировала каюту на пароходе «Президент Вильсон» и в начале сентября приплыла в Иокогаму.

Как рада я была вернуться в «страну улыбок», к старым друзьям! Скоро вышел, видимо по заказу министерства иностранных дел Японии, перевод моей книги на английский, и отовсюду раздавались любезные слова благодарности.

Я снова остановилась в отеле «Империал», а через две недели переехала на квартиру в доме Нономия. Снова с усердием приступила к занятиям японским в школе Ваккари. Многое не забылось, хотя я не говорила по-японски девять месяцев.

Я всегда интересовалась философией, поэтому с радостью приняла приглашение ректора древнего Тайшунского университета присутствовать на лекциях. В результате я всерьёз занялась буддизмом и восточной философией. В университете я была единственной иностранкой, из-за слабого знания языка мне трудно было слушать лекции, но зато я обнаружила в богатейшей

международной библиотеке, куда иностранцы обычно не допускались, множество нужных мне книг. Престиж мой в глазах японцев явно возрос, особенно после того, как «Джапан Таймс» опубликовала мою статью с разбором лекции одного профессора-итальянца о буддизме.

Через барона Накано «Элизабет Ханссон» часто получала приглашения на приёмы в высших кругах. Однажды удостоилась даже чести быть приглашённой на приём, устроенный в саду императором Хирохито, а в другой раз она отдала поклон императору на торжестве в честь японских лётчиков, облетевших вокруг земного шара. Императорский дворец стоял в огромном саду, окружённом бесчисленными каналами. Попасть во дворец можно было только по навесным мостам. Я часто видела, как японцы делают три глубоких поклона, проходя мимо императорского сада. В газетах потом писали, что, когда Япония потерпела поражение во второй мировой войне, в дальних углах сада находили тела офицеров, сделавших харакири.

Я не раз встречала брата императора, принца Чичибу. Это был очень своеобразный человек, любивший общаться с иностранцами. Он хорошо говорил по-английски и держался всегда безукоризненно. Принц был известен своими демократическими воззрениями и пользовался популярностью у интеллигенции. Студенты однажды устроили перед садом императора манифестацию в честь принца Чичибу, и в Токио говорили, что это вызвало ссору между братьями.

Второго члена царской семьи, двоюродного брата императора Кангфуса Умевака, уважаемого буддийского священника, я тоже встречала не раз, однажды он был даже у меня дома. Познакомилась я с ним на традиционном японском празднике, устроенном придворными императора в дворянском клубе для иностранных дипломатов. Умевака был верховным священнослужителем. Благодаря Умевака я видела представление драмы Но. Эти пьесы веками исполняются на древне-японском в храмах во время богослужения.

Из множества древних обычаев Японии два меня глубоко тронули: праздник цветения вишни и день памяти усопших. Каждому месяцу соответствует свой цветок и своё дерево. Дни цветения вишни в апреле празднуются особенно пышно. Кульминация этих празднеств — «Мийко Одори» — танец цветения вишни в Киото. Сюда, на древнейшее празднество, съезжаются гости со всей страны. Я видела праздник в 1935 году, тогда сцены танцев четырёх времён года были взяты из классической драмы Но. Сцена была современная, крутящаяся, красивые декорации. Лето и осень сменяла белоснежная,

сверкающая зима, а затем ярко вспыхивали весенние цветы на берегу хрустального озера. Нежные оттенки красок, игра света, музыка на трёхструнных инструментах, серебряные голоса женского хора — всё это создавало атмосферу сказочности, зрители сидели как зачарованные. Оркестр и хор помещались на двух возвышениях по обе стороны сцены. Хористы справа были в чёрных кимоно, а у хористок слева кимоно сверкали всевозможными красками. В волосах их сияли цветы вишни и драгоценные камни, бледные лица создавали впечатление чего-то нереального.

Вряд ли где-нибудь ещё к усопшим относятся с таким уважением, как в Японии, а между живыми и мёртвыми существует таинственная близость. Три летних дня — 13, 14, 15 июля — посвящаются душам усопших. В эти дни, по преданию, умершие возвращаются в свои жилища. На могилах зажигают белые фонарики, они указывают душе путь домой, там за столом готово для неё место. С умершими разговаривают, рассказывают о происшедших в семье событиях.

Вскоре после возвращения в Японию мне пришлось вспомнить предсказание генерала Урицкого. Антикоминтерновский пакт между Германией и Японией[156] свидетельствовал об ухудшении отношений обеих этих стран с СССР, а договор о ненападении между Китаем и Советским Союзом[157] мог быть направлен только против Японии.

В течение почти всего 1937 года я действовала самостоятельно, но в конце ноября позвонила женщина, два года назад передавшая мне приказ вернуться в Москву. Она попросила прийти в тот же вечер в ресторан «Мицубиси». Ничего хорошего это не предвещало. В ресторане женщина сказала, что по приказу Зорге я должна снова встретиться с его помощником, как и два года назад, в цветочном магазине на площади Роппонги. Пока мы ужинали, к нам подсел полный господин, женщина представила его как своего мужа. Потом от Зорге я узнала, что господин — химик, у него какие-то связи с посольством СССР, кажется, по-немецки он говорил с австрийским выговором.

Я встретилась с помощником Зорге в цветочном магазине, он отвёл меня к Зорге. Грустно было видеть человека, выполняющего столь ответственное задание, мертвецки пьяным. На столе стояла пустая бутылка из-под виски, стаканом он, видно, не пользовался. Зорге объявил мне, что нам всем, ему тоже, приказано вернуться в Москву. Я должна ехать через Владивосток, там меня встретят. Чем вызван приказ, он не знал, но сказал, что бояться мне нечего, хоть в Москве и царит «нездоровая обстановка». Он сам, конечно,

тоже подчинится приказу, но, если я встречусь с руководством военной разведки в Москве, я должна передать, что тогда все с трудом отлаженные связи порвутся. Выехать он сможет не раньше апреля. В заключение Зорге сказал слова, которые должны были заставить меня задуматься, я их потом вспоминала не раз: «Вы очень умная женщина, я должен признать, что никогда раньше не встречал столь здравомыслящей женщины. Но мой ум превосходит ваш!»

Только позже — слишком поздно! — я поняла, что он имел в виду: он умнее меня, потому что лучше меня чувствует опасность, которая грозит в Москве нам обоим. Прямо он меня не предостерегал, говорил обиняком — рад был избавиться от обязанности быть моим связным, хотя работы я ему доставляла немного. Да и не доверял никому, считал, что прямое предостережение я смогу использовать против него.

Если бы Зорге тогда послушался приказа и вернулся, его бы, несомненно, уничтожили. СССР потерял бы источник информации, который через два года, после начала второй мировой войны, оказался бесценным. Шпионская сеть, созданная Зорге, проникала и в высшие правительственные круги Японии. На основании переправленных Зорге данных о нейтралитете Японии Советский Союз мог в 1941 году сосредоточить все силы на германском фронте. Два наиболее важных сообщения Зорге: он заранее информировал Кремль о дате нападения Гитлера на Россию и сообщил день нападения Японии на Америку. Но люди неблагодарны! Многим сведениям Зорге в Москве не доверяли, и в конце концов его оставили погибать на японской виселице! Он надеялся, что Сталин его спасёт, обменяв на задержанных в СССР японских шпионов, но был брошен на произвол судьбы.

Лишь в 1964 году советское правительство признало заслуги Зорге: ему посмертно было присвоено звание Героя Советского Союза, на экранах шёл фильм о герое, одна из московских улиц стала носить его имя, в память о нём была выпущена даже почтовая марка. Но всё же я спрашиваю: кто же из нас двоих оказался умнее?

Я была в трудном положении. Прямых контактов с друзьями в СССР я не имела, но из газет знала о массовых репрессиях в стране. Не стану ли и я их жертвой, если подчинюсь приказу? Но что будет, если я откажусь вернуться? Удастся ли мне избежать мести советского правительства? Где мне жить? Или, может, раскрыть японским властям тайну Элизабет Ханссон? Опасаться мне в этом случае нечего, ничего противозаконного я не совершила, наоборот, всячески выражала дружелюбие к японскому народу. Но мысль эту пришлось отбросить, из-за меня

подверглись бы опасности Зорге и другие агенты, знавшие мою тайну. Или бежать в Америку? Паспорт в порядке, деньги есть. Но как объяснить, что приехала на этот раз под другим именем, с чужим паспортом? Пришлось бы доказывать, что теперь я против коммунистов, и я подвергла бы опасности людей, которые раньше меня так хорошо принимали.

Выхода не было. В моём случае хорошо подходила финская поговорка: «Там болото — здесь топь». И не у кого спросить совета! Я должна была решать одна и в конце концов подчинилась приказу. Я понадеялась на то, что обвинить меня не в чем, совесть моя чиста.

Как тяжело было расставаться с японскими друзьями! На этот раз я не обещала, что вернусь. Снова у поезда, отходящего на Шимоносеки, собралась толпа провожающих. В последний раз я поблагодарила за тёплое ко мне отношение, особенно горячо распрощалась с бароном Накано, который с первого дня моего пребывания в Японии был мне верным помощником и советчиком и так тактично справился с задачей «наблюдателя». Поезд тронулся. Элизабет Ханссон умерла и унесла с собой частицу сердца Айно Куусинен.

Во Владивостоке на пароход поднялся представитель четвёртого управления. Он забронировал мне номер в гостинице и купил билет на транссибирский экспресс. Он же сообщил, что в Москве для меня готов номер в гостинице «Метрополь».

В середине декабря я была уже там; ко мне сразу пришёл Сироткин. То, что он рассказал, было удручающе и предвещало страшное будущее. Урицкий арестован и, видимо, расстрелян. Исчезло много офицеров четвёртого управления. Сироткин удивлялся, что сам он всё ещё на свободе. Но скоро опасения его стали реальностью, я ещё несколько раз встречала этого доброго человека, когда мы с ним шли дорогой тюрем и лагерей.

Я получила последнее задание. Незадолго до Рождества ко мне пришла женщина из четвёртого управления. На следующее утро она должна была встречать мужа и жену, прибывающих транссибирским экспрессом, и просила меня пойти вместе с нею, так как я с ними знакома. Кто это, она не сказала. Когда поезд остановился, я услышала радостно-удивлённый женский голос: «Госпожа Ханссон, как мы рады вас видеть!» Это была блондинка, которая однажды приходила ко мне с поручением от Зорге. Они с мужем тоже подчинились приказу! Их провели в машину, и оба они исчезли навсегда. Скоро наступила и моя очередь исчезнуть на девять лет…

ГЛАВА ПЯТАЯ. В московских тюрьмах

Оставалось только ждать. Спрятаться негде. После нескольких звонков и визитов к старым друзьям я узнала, что многие бесследно исчезли, другие же оцепенело ждут. Значит, японские газеты писали правду, а я наивно приняла их сообщения за буржуазную пропаганду. Но ведь совесть моя чиста — я с надеждой ухватилась за эту хрупкую соломинку.

Однажды я была в гостях у моей приятельницы Александры, финки, которая была замужем за болгарином Станко Сапуновым[158]. Они жили неподалеку от гостиницы «Метрополь», на Кузнецком мосту. Станко я знала со времён Коминтерна, он работал старшим референтом по делам болгарской компартии, вместе с Коларовым. В частности, помогал устраиваться болгарским коммунистам, переехавшим в СССР.

Сапуновы пригласили меня на Новый год. Я обрадовалась — в Москве мне было грустно и одиноко, особенно когда я вспоминала весёлые времена, проведённые с друзьями в Японии. В то время было трудно с продовольствием, и я вызвалась принести что-нибудь к праздничному столу. Александра прекрасно готовила. Она уверяла, что у них есть всё необходимое, но я всё же считала своим долгом тоже внести вклад. Вспомнила, что когда-то на Арбатском рынке продавали из-под полы мясо. Поехала туда. Я сразу заметила деревенскую женщину с прикрытой платком корзиной. Спросила, где можно купить мясо. Женщина осторожно огляделась, потом забормотала какую-то чушь, видимо проверяла меня. Наконец осмелилась приподнять край платка — в корзине был прекрасный мороженый гусь. Будет у нас жаркое на праздник! Немного поторговавшись, я купила гуся и сразу отнесла его Александре. «Вы слишком долго были за границей!» — сказала она, отругав меня за такую дорогую покупку.

31 декабря я надела своё любимое платье. Настроение было ужасное, но 1938 год я хотела встретить как подобает. Александра и Станко были мне рады, стол был прекрасный. Мне представили ещё одну гостью, молодую балерину, их приятельницу. Она очень стеснялась, была грустна и лишь немного оживилась, когда выяснилось, что у нас есть общий знакомый. Вилли Миленц из Германии.

Несмотря на торжественную обстановку, настроение было совсем не праздничное. Сначала мы старались ободрить друг

друга, разговаривая о всяких безобидных вещах, но из этого ничего не вышло: последние события были ужасны, они камнем лежали на душе. В последний вечер этого кошмарного года мы то и дело вспоминали арестованных или бесследно исчезнувших родственников и друзей. Говорили тихо, вполголоса, разговор невольно крутился вокруг страшных драм, мы были подавлены. Такой тоски я ещё не испытывала никогда.

К жареному гусю почти не притронулись. По щекам Станко медленно текли слёзы. Маленькая балерина вдруг горько, безутешно заплакала, а Александра и Станко молча склонились над своими тарелками. Когда балерина успокоилась, я узнала, что Миленц, близкий ей человек, тоже недавно арестован.

Станко включил радиоприёмник, встал, натянуто улыбнулся, сказал:

— Дорогие друзья, давайте закончим этот год ужасов с надеждой и верой в то, что следующий год будет счастливей, а страшные события 1937 года канут в небытие.

Мы молча смотрели, как он откупоривал бутылку и наливал шампанское в бокалы. Под удары кремлёвских курантов мы чокнулись и пожелали друг другу счастья и успехов в 1938 году. Я чувствовала себя усталой, поэтому скоро попрощалась, и Станко проводил меня в «Метрополь». Я ещё немного посидела у себя, пытаясь прогнать тоску, вспоминая, как встречала Новый год в Японии и Америке. Потом разделась и легла. Но страшные рассказы об арестах не давали мне уснуть.

Так я и не сомкнула глаз. А в пять утра первого дня 1938 года в дверь постучались.

— Кто там?

— Горничная. Откройте. Срочная телеграмма.

Я чуть приоткрыла дверь, её кто-то резко распахнул снаружи. В комнату вошли двое в форме. Заперли дверь. Один рявкнул:

— Где оружие?

— У меня в жизни не было оружия, — ответила я.

Один схватил мою сумочку, второй велел быстро одеваться. Я сказала, что не могу одеваться при них, но выйти они отказались. Молча смотрели, как я одеваюсь. Вот, значит, какие они, чекисты, и вот как происходит арест! Через две минуты мы спустились по лестнице и сели в грязный старый «форд». Всё произошло так быстро, я и опомниться не успела. Лишь когда машина тронулась, я с ужасом поняла, что настал и мой черёд — я в руках сталинской полиции.

«Форд» остановился, меня грубо втолкнули в какую-то дверь. Я оказалась в маленькой тёмной комнате. Когда глаза привыкли к темноте, я увидела, что вокруг меня на полу сидит, спина к

спине, много женщин. Мне пришлось встать у стены, сесть места не было. Все молчали, боялись, казалось, даже дышать. Я не раз пыталась себе представить, как выглядит тюремная камера, но реальность превосходила всякие фантазии — даже сесть негде, не то что лечь!

Забрезжил серый день, и я от сокамерниц узнала, что нахожусь в Бутырской тюрьме, нагонявшей страх на людей ещё при царе.

Я всегда старалась сохранить какую-то надежду, поэтому и сейчас попыталась себя успокоить: чекисты, конечно, ошиблись — меня скоро выпустят, ничего плохого я не сделала, закон не нарушала. «Наверняка, — думала я, — меня скоро освободят». Я пыталась заговорить с моими товарками по несчастью, но в ответ слышала только всхлипывания. У многих, конечно, остались маленькие дети, одни, всеми брошенные, никто о них не позаботится, отцы тоже в тюрьмах. Я старалась думать о чём-нибудь постороннем, вспоминала вчерашний роскошный новогодний стол, к сожалению, разговоры об ужасах помешали нам им насладиться. Меня мучила жажда, хотелось есть. Целый день нам ничего не приносили.

Так прошли первые сутки нового, 1938 года!

Наступила ночь. Мы так и сидели на полу, а если ложились, то чуть ли не друг на друга. Почти все женщины беспрерывно всхлипывали, я же была настолько подавлена, что как-то странно оцепенела.

В камере оказалась семнадцатилетняя дочь моего бывшего начальника генерала Урицкого. Она рассказала, что отец её арестован ещё в ноябре тридцать седьмого, больше она о нём ничего не знала. Мать находилась в соседней камере. Обеих приговорили к долгому сроку заключения, расстрела они избежали.

Поздним вечером второго января меня вывели из камеры и посадили в милицейскую машину. Мы долго ехали по московским улицам, наконец остановились у большого здания. В душе шевельнулась надежда: сейчас извинятся, скажут — ошибка и выпустят. Но надежда скоро угасла: конвойный молча провёл меня по длинным коридорам, в которых стояла мёртвая тишина, наконец открыл дверь и ввёл в просторную комнату. В ней было светло и чисто и стояли восемь аккуратно застеленных коек. Одна была свободна. «Это, наверное, больница», — решила я. Но я ведь не больна, только смертельно устала. Я спросила у одной из лежащих женщин:

— Что это за здание?

— Лубянская тюрьма, конечно, — ответила она.

Все семь женщин уставились на меня. Вдруг кто-то радостно произнёс моё имя. Я с удивлением воскликнула:

— Ирма, ты?..

Да, это была она, Ирма, родившаяся в Берлине, молодая, очаровательная, всегда готовая помочь, — машинистка, с которой я познакомилась много лет назад в Коминтерне. Не знаю, что с ней стало потом, скорее всего — погибла, как и многие работники Коминтерна.

Суровая надзирательница отперла дверь, велела мне следовать за ней и отвела в ванную комнату, где я с удовольствием помылась, а затем переоделась в тюремное. Кстати, в Лефортово мне довелось носить мужскую одежду, которая была мне явно велика. Лефортово — мужская тюрьма, но я там была дважды. Кажется, в то время там содержалось всего восемь женщин.

Мне показали мои нары, дали поесть. Так начались мои скитания по печально известным тюрьмам Москвы.

Постепенно мы с сокамерницами разговорились. Хотя с большинством из них раньше я не встречалась, но слышать доводилось о каждой. Соседкой моей была жена Яковлева, бывшего наркома[159]. Сама она работала на заводе старшим инженером, арестована как враг народа по обвинению в намеренно халатном выполнении приказов по заводу. Муж её был расстрелян, она тоже приговорена к смерти.

Смертной казни ожидала и Майя Куйбышева: её муж[160], бывший начальник командного управления Красной Армии, был расстрелян. Майя, в прошлом известная лыжница, была женщиной энергичной, умной, хорошо знала английский и несколько других языков.

С нами сидела и жена знаменитого конструктора самолётов Туполева. Сам он тоже находился на Лубянке, ему было предъявлено обвинение в продаже чертежей истребителей немцам, которые использовали их в конструкции «Мессершмитта-109». Жена работала у Туполева чертёжницей, преступление её состояло в «недонесении» органам об «изменнической деятельности» мужа. Вскоре Туполева исчезла. Туполев остался жив, в заключении проектировал самолёты, был освобождён и даже получил звание генерал-лейтенанта. Перед отъездом в 1965 году в Финляндию я его встречала в Москве, он гордо ходил по улицам в красивой военной форме, грудь его была увешана орденами.

Самым безутешным существом в нашей камере была госпожа Чайковская. Её муж, как и Туполев, тоже конструировал самолёты. Он долго сидел на Лубянке, там продолжал работу.

Госпожа Чайковская была очень подавлена, всё время плакала. После ареста мужа она осталась одна с двумя детьми, потом взяли и её. Последний раз она видела своих детей беспомощно сидящими на лестнице перед дверью их квартиры, опечатанной НКВД. Горе Чайковской всех нас глубоко трогало, мы старались её ободрить, утешить, говорили, что дети, конечно же, в детском доме.

Нас часто водили на допросы, всегда ночью. Однажды ночью Чайковская вернулась с допроса спокойная, в камере не плакала. Ей, оказывается, обещали на следующий день пятнадцатиминутное свидание с мужем. Как мы все были за неё рады! На следующее утро её увели. Мы, волнуясь, ждали. В камеру её привели только под вечер. Дверь открылась, шатаясь, вошла Чайковская и с рыданиями бросилась на койку. Нас поразил её вид: волосы завиты, губы и ногти накрашены! А она лежала и горько плакала. Мы не решались сказать хоть слово.

Наконец она смогла говорить. Выяснилось, что сначала её отвели в комнату для допросов, велели написать, какой костюм, шляпу и туфли привезти ей из дома. Потом отвели к парикмахеру, сделали маникюр. Мужу о своём аресте говорить ей запретили. Она должна была сказать, что дома всё хорошо, дети здоровы. Ей пригрозили ужасными последствиями для неё и мужа, если ослушается приказа. Чайковского привели в комнату свиданий, её поразил его болезненный, жалкий вид. Им велели сесть друг против друга, рядом находился следователь, он слышал и видел всё, что между ними происходит. Муж спросил:

— Как дела дома?

— Всё в порядке. А ты как?

— Дети здоровы?

— Дети здоровы и веселы.

— А на что же вы живёте?

— Денег нам хватает. Нам дают, — врала она.

Муж сказал, что на Лубянке у него чистая, светлая комната, он работает над проектами самолётов. Ему доставили всё необходимое, техническую литературу.

— Теперь, когда я увидел тебя, когда я знаю, что дома всё в порядке и ты даже получаешь деньги, я спокоен и лучше смогу работать. Теперь я вынесу всё.

Через несколько дней за Чайковской пришли. Её расстреляли. Позже я узнала, что та же участь постигла и её мужа. Видимо, он не смог быть для СССР так же полезен, как Туполев.

Во время ареста мне не предъявили никакого обвинения, дали лишь понять, что расстреляют. Первого моего следователя звали Зайцев, он хорошо говорил по-фински. В начале допроса он

мне объяснил, в чём суть советского судопроизводства.

— Вы знаете, чем отличается буржуазное судопроизводство от нашего? — спросил он.

Я не ответила, и он, подняв палец, пояснил:

— Буржуазный суд должен доказать, что обвиняемый виновен, а наш суд требует, чтобы обвиняемый сам доказал свою невиновность.

В этой связи я вспомнила анекдот, хорошо отразивший этот советский принцип. Кролик перебежал из СССР в Польшу. Когда его спросили, почему он убежал из Советского Союза, он ответил: «Потому что в России расстреливают всех верблюдов». — «Но ты же не верблюд!» — «Нет, конечно. Но как я это докажу?»

Зайцев на первых допросах был скользок как угорь, пытался подольститься ко мне. Когда это не помогло, он начал подстраивать мне разные ловушки. В конце концов подвинул мне через стол пачку исписанных листков. Это было ошеломляюще: тщательно подготовленное обвинительное заключение, но не против меня, а против моего мужа Отто Куусинена, друга Сталина! Зайцев потребовал, чтобы я подписала это заключение, потому что мне лучше других известна преступная деятельность Отто против Советского Союза. Не колеблясь ни минуты, я сказала, что в обвинении нет ни малейшего намёка на правду и подписывать его я не буду. Следователь сперва попытался довольно мягкими способами меня к этому склонить, но когда понял, что напрасно теряет время, переменил тон и стал мне угрожать, намекая даже на пытки. Он орал, что доподлинно известно: Куусинен — английский шпион.

— Раз вы в этом так уверены, зачем же вам тогда моя подпись? — прямо спросила я.

На этом и на последующих допросах не раз упоминалось имя Хеллы Вуолийоки, у меня требовали сведений о дружбе Хеллы и Отто. Я сказала, что Хелла писала статьи в газету «Тюэмиес», когда Отто работал в редакции, и у них завязалась дружба. Я ещё раз спросила, при чём же здесь я? Руководство партии, ответили мне, хочет, чтобы обвинение подтвердила именно я. Я категорически отказалась.

Зайцев стал угрожать, что отправит меня в Лефортово, рассказывал ужасы про эту трёхсотлетнюю крепость. Обычно женщин не содержали в Лефортово, лишь особо опасных политических преступниц. Он пытался меня уговорить: «Подпишите. И пойдёте домой. Иначе отправим в Лефортово, а оттуда живой вам не выйти».

Я не сдавалась, и летней ночью 1938 года меня втолкнули в машину для перевозки заключённых. В ней было темно, тесно, я

едва поместилась на узкой скамейке. Головой я стукалась о крышу, а стены, казалось, меня душат. Я сидела в кромешной темноте. И в душе было так же черно. Наконец машина остановилась. Я была в Лефортово. Двое конвойных провели меня по широкой лестнице на шестой этаж. Там меня заперли в одиночной камере, приказав раздеться и лечь в постель.

До сих пор, хотя прошло уже около тридцати лет, мне трудно описывать первую ночь в Лефортово. Камера была расположена так, что все внешние звуки были в ней отчётливо слышны. Позднее я выяснила, что внизу, прямо под стенами моей камеры, стояло низкое строение, безобидно называвшееся «отделением для допросов». На самом деле это была камера пыток. Оттуда раздавались страшные, нечеловеческие крики, беспрерывные удары плётки. Может ли даже истязаемое животное кричать так страшно, как эти люди, которых избивали часами, с угрозами и руганью?!

Вот что имел в виду Зайцев, говоря об ужасах Лефортово! Неужели и мне предстоят такие же пытки? Сначала я не сомневалась, что сойду с ума, но потом приказала себе: «Собери всё своё мужество. Сделать уже ничего нельзя. Будь спокойна. Жди своей очереди». Я подавила чувство жалости к несчастным жертвам, заставила себя думать о другом. Эту свою первую ночь в Лефортово я всегда вспоминаю с ужасом и никогда не смогу её забыть.

Ночь за ночью мне приходилось слышать эти ужасные крики. Всего в нескольких метрах от меня с девяти вечера до шести утра при открытых окнах истязали людей. Днём было тихо, палачи спали.

Однажды ночью меня взяли на допрос. Когда я вошла в комнату, там сидел Зайцев, на губах его играла недобрая улыбка. Для начала он объявил мне, где я нахожусь.

— Неужели вы думаете, что я сама не догадалась, — прервала я его.

Зайцев сказал:

— Вы, должно быть, не верили, что мы осмелимся привезти вас сюда.

Я ответила:

— Почему не верила? В мире нет, наверное, ничего такого, чего бы вы не осмелились сделать.

Передо мной снова положили обвинительное заключение. Зайцев требовал, чтобы я его подписала:

— Вы знаете, где находитесь, и знаете, что отсюда не выйдете, пока не подпишете обвинения, выдвинутые против вашего мужа. Так что подписывайте немедленно!

— Ни за что! — крикнула я.

Допросы продолжались много месяцев. Однажды ночью в соседней комнате стали избивать мужчину. Комнаты разделяла тонкая стена, и я хорошо слышала ужасный шум и ругань. Между стонами мужчина кричал, что невиновен. Истязания продолжались часа два. Вдруг я услышала, что заключённый выкрикивает моё имя: «Айно! Айно!» Зайцев насмешливо спросил у меня:

— Догадались, кто там?

— Не знаю кто и знать не хочу.

Мой истязатель продолжал:

— Это же он, ваш муж, Отто Куусинен. Он хочет, чтобы вы подписали обвинение, потому что он действительно был английским шпионом.

И снова я услышала из соседней комнаты крик:

— Айно, Айно, подпиши! Подпиши!

Я молчала. Я не была уверена, что это голос Отто. Экзекуция длилась до утра, потом вдруг наступила тишина. Зайцев встал, сказав:

— Пойду посмотрю, что там.

Скоро он вернулся и объявил:

— Куусинен успокоился и сейчас подписывает признание.

Когда я в то утро возвращалась в камеру, дверь одной из камер распахнулась и я увидела лежащий на полу труп, весь в крови. Меня заставили простоять целую минуту над трупом, потом конвойный сказал:

— Вот так бывает с теми, кто не признаётся.

Я ничего не ответила. На лестнице мне ещё раз приказали остановиться, чтобы посмотреть на забитого насмерть.

Такие методы применялись, когда хотели запугать заключённых, заставить их признаться. Нередко жертвы таких методов теряли разум и попадали в сумасшедший дом. Я себе беспрерывно внушала, что со мной этого не будет, я должна сохранить душевное равновесие. Я дала себе клятву, что поведаю человечеству, каким пыткам в Советском Союзе подвергаются невиновные, беспомощные люди — если, конечно, сама смогу вырваться из этой страны.

Меня долго держали в одиночке Лефортовской тюрьмы. Ночь за ночью передо мной клали обвинительное заключение против Куусинена, якобы занимавшегося шпионской деятельностью. Применялись разные методы допросов, я не раз думала, что сломаюсь, не выдержу, но знала, что единственная моя надежда — без колебаний отказываться от признания.

В конце сентября, в субботу вечером, меня снова отвели в

помещение для допросов. Там кроме Зайцева был ещё один человек, Зайцев представил его мне как своего начальника. Лицо начальника было таким свирепым, что от одного его взгляда менее опытный заключённый мог бы упасть замертво. Он приказал мне сесть и начал говорить комплименты. Я по опыту знала, что это не предвещает ничего хорошего. Он сказал, что ему известно — я умная женщина и, конечно, понимаю, что в моих интересах без сопротивления подписать обвинение. Он вложил мне в руки карандаш.

Спокойно, но твёрдо я сказала:

— Как я уже говорила, я ни за что это не подпишу.

Начальник разъярился, велел мне встать и стоять посреди комнаты, не двигаясь. Он так громко орал, что голос его эхом раскатывался по комнате. Описывать подробности этого допроса я не буду, достаточно сказать, что он отпустил меня в камеру только около полудня в среду и всё это время сыпал угрозы и оскорбления. Ясно, что за это время я не получила ни еды, ни глотка воды. Но и эта попытка провалилась, хотя под конец я едва держалась на ногах. Начальник окончил допрос криком:

— Никогда в жизни мне ещё не попадалась такая бесстыдная и упрямая баба. Я обработал тысячи заключённых, и каждый из них всё подписывал.

Я ехидно произнесла:

— Значит, я первая.

Он наставил на меня пистолет и заорал вне себя от злобы:

— Живой отсюда не выйдешь!

Как и он, я заорала ему в лицо:

— Живая или мёртвая — не подпишу!

Эти слова я прокричала изо всех оставшихся сил. Начальник оторопел и сказал Зайцеву:

— Это не женщина, это — дьявол!

Потом позвал конвой и велел отвести меня в камеру. Я слышала его последние слова:

— Глаза бы мои её больше не видели!

Когда конвойные втолкнули меня в камеру, я спросила, какой день и час, они ответили — среда, двенадцать часов дня. Я провела на допросе восемьдесят девять часов!

Я всё ещё оставалась в Лефортово, но из одиночки меня перевели в общую камеру. Там находились две женщины, Мария Яковлевна Фрумкина и Тамара Постышева. Мария — образованная, энергичная женщина, мы с ней были давно знакомы. Она работала ректором Коммунистического университета трудящихся Востока. Её отец был старшим раввином в Минске. Он никак не мог смириться с тем, что его

старший ребёнок — не мальчик. Потому Марию воспитывали так, как в еврейских семьях принято воспитывать старшего сына. Одевали под мальчика, и утром отец брал её с собой в синагогу, учил древнееврейским молитвам, которым девочку не научили бы никогда. Мария выросла крепкой, с мальчишескими повадками. Окончив в Минске школу, она хотела поступить учиться в Петербургский университет, но еврейкам отказывали в праве жить в столице. Однако Мария нашла хитроумный выход. Она узнала, что еврейки-проститутки могут свободно жить в столице. Она поехала в Петербург, зарегистрировалась в полиции как женщина лёгкого поведения и получила так называемый жёлтый билет. Раз в неделю она должна была отмечаться в полицейском участке.

Мария поступила в университет, сняла комнату, отец высылал ей деньги. Окончив учёбу, она вернулась в Минск и стала учительницей. Писала романы под псевдонимом Эстер, советские евреи до сих пор читают и любят её книги. В Минске Мария входила в правление сионистской организации и активно участвовала в её политической деятельности. Во время нашей тюремной дружбы она разъяснила мне, какая разница между сионистами и другими еврейскими объединениями. Я с интересом слушала её рассказы о религии евреев.

Мария Яковлевна обвинялась в том, что якобы организовывала тайные антисоветские еврейские общества. В Лефортово с ней обращались страшно жестоко, часто пытали. Двое её еврейских друзей, Хафез, многие годы редактировавший журнал Коминтерна «Коммунистический Интернационал», и Карл Радек, выступали свидетелями против неё, и Мария была уверена, что показания этих двоих ей очень навредили. На допросах ей без конца повторяли, что живой она из тюрьмы не выйдет. Её казнили, когда я ещё была в Лефортово. Невестка Марии, Роза Фрумкина, тоже была арестована, я о ней слышала в Воркутлаге, но потом она исчезла бесследно.

У Марии Яковлевны был диабет, она страдала в заключении больше других. От усталости она едва могла открывать глаза. Днём ей лежать не разрешалось, спать нельзя было даже сидя: таковы были законы Лефортово! Мария часто жаловалась на свою судьбу, знала, что её ждет казнь. «Зато вас, — сказала она мне однажды, — вас не расстреляют. Вы ещё станете послом в Стокгольме вместо Коллонтай». Я спросила, откуда у неё эта сумасшедшая мысль, она ответила, что слышала об этом от Радека, а Радек — от самого Сталина. Я не стала продолжать расспросы, но вспомнила свой разговор с мужем, когда тот говорил о намерении Сталина послать меня в Стокгольм. Может,

я тогда напрасно сомневалась во всей этой истории. Но теперь уж места этого мне не видать.

От сокамерниц я услышала, что недавно раскрыта тайная организация комсомольцев, детей репрессированных. В организацию входила в основном еврейская молодёжь, центры находились в Москве и Орле. В организации общества обвинялись дочь Карла Радека — Тамара Радек, его жена Ольга (сестра Троцкого) и дочь Розы Фрумкиной — Тамара.

Вторая моя сокамерница, Тамара Постышева, явно выделялась среди всех когда-либо встреченных мною женщин. Это была одухотворённая, утончённая украинка. Я никогда не встречала более волевого человека. До ареста она была адвокатом в НКВД в Киеве, устроилась туда, чтобы помогать украинцам, жертвам сталинского террора. Она обвинялась в украинском национализме. Эта женщина действительно любила свою родину, её народ, литературу и музыку, много рассказывала мне об истории Украины, о репрессиях, которым подвергались её соотечественники.

С Тамарой Постышевой обращались в Лефортово коварно и жестоко. Её допрашивали почти каждую ночь и жестоко избивали. После первой моей ночи в камере конвоиры приволокли её рано утром и бросили на койку. Когда они ушли, я подошла, спросила у Тамары, могу ли чем-нибудь помочь. С невероятными усилиями ей удалось сказать:

— Не могли бы вы посмотреть мою спину?

Я её немного повернула — спина Тамары была сплошь покрыта кровавыми рубцами. Я смочила полотенце холодной водой, положила ей на спину. Это немного облегчило её страдания. Я не спала всю следующую ночь, меняла мокрые полотенца на кровоточащих, болезненных ранах. Такая ночь была далеко не единственной.

Днём она рассказывала об ужасных допросах, очень боялась за мужа, он тоже был в Лефортово. Постышева[161] сняли с высокого партийного поста в Хабаровске. Когда-то он был соратником Ленина, его особо доверенным лицом. Позже занимал многие высокие должности в правительстве. Народ относился к нему с уважением, особенно после того, как в газете была опубликована его статья, где он ратовал за празднование Нового года. «У мужа нет сил сопротивляться, если его будут пытать, он признает всё, что от него потребуют», — говорила Тамара.

Однажды произошло необычное: за Тамарой пришли днём. Вернулась она через несколько часов. Шла сама, без посторонней помощи. Молча села на постель. Холодно сказала:

— Случилось то, чего я боялась. Мне показали признание,

подписанное мужем. Он не выдержал пыток.

Я заметила:

— Но подпись ведь можно подделать?

Однако Тамару ничто не могло поколебать, она была убеждена, что муж её сам подписал признание. Постышев, видимо, признался в том, что был против политики Сталина по трём вопросам: коллективизации, существующей школьной системы и, в-третьих, стабилизации рубля золотым стандартом. Вскоре Постышев и его мужественная жена были расстреляны.

Я могу рассказать ещё множество подробностей об убийствах невинных людей, о жестоких допросах. Однажды во время допроса на Лубянке следователь, указав мне на блестящие панели стен, спросил:

— Вы знаете, что это?

— Стена, — ответила я.

— Не простая стена.

И он с гордостью показал мне, что на самом деле это картотека: вся стена до потолка состояла из шкафов с ящиками, набитыми следственными делами. Следователь выдвинул один ящик, поставил передо мною. На каждой карточке была фотография офицера и его анкетные данные.

— Вы знаете кого-нибудь из этих офицеров?

— Не знаю и знать не хочу.

Тогда он мне сказал, что все эти офицеры — а их тысячи — расстреляны. Говоря это, он внимательно смотрел на меня — заплачу я или, может быть, упаду в обморок, как случалось со многими женщинами в таких ситуациях.

Но по дороге на допрос я всегда собирала всю свою волю в кулак — не хотела своей слабостью доставлять удовольствие следователю, какими бы ужасами он меня ни пугал.

Он думал, что их страшная картотека меня ошеломит. Но я заставила себя спросить твёрдым голосом:

— Как это, убивая столько людей, вы так незаметно хороните трупы?

— Кто вам сказал, что их хоронят? — с насмешкой спросил следователь. — В подвале — крематорий, пламя в нём — до двух тысяч градусов. Приговорённых расстреливают перед крематорием, трупы сбрасывают в огонь. Огонь этот горит для всех вас.

Внутри у меня куда-то всё провалилось, но я только холодно сказала:

— Ах, вот что, теперь я понимаю. Но ваш метод недостаточно рационален. Почему вы не варите из трупов мыло? Утилизируя трупы на мыловаренных заводах, вы решили бы в Москве

проблему с мылом.

Это подействовало! Больше он меня не пугал.

Одним из немногих прав заключённых было право на ежедневную прогулку на воздухе, хотя сидевшим в одиночках часто запрещали и это, меня такое наказание постигало не раз. На Лубянке, в центре Москвы, отбой был в одиннадцать вечера. Но именно в это время вызывали на допросы и сразу после отбоя выводили на прогулку. Многие отказывались от прогулки — она была не обязательна, но я никогда не упускала такой возможности, знала, как важно бывать на свежем воздухе, чтобы сохранить здоровье. Лифт поднимал заключённых на крышу, обнесённую по краю высоким забором из колючей проволоки, чтобы никто не мог, поддавшись искушению, броситься вниз — и вырваться отсюда наконец. Там, под тёмным небом, мы ходили по кругу гуськом двадцать минут. Посреди крыши стояла высоченная железная труба. Из неё постоянно поднималась тонкая струйка дыма, крышу покрывал слой копоти. Теперь я знала, откуда этот дым, но старалась об этом не думать. Многие женщины во время прогулок плакали. Одна из моих сокамерниц ни разу не выходила на крышу. Я ей постоянно внушала, как это важно для здоровья, хотя и трудно, только уснув, вставать с постели. Но напрасно — она упорно стояла на своём. Я продолжала её уговаривать, и тогда она меня спросила, знаю ли я, что это за высокая труба, из-за которой на крыше копоть. «Дым поднимается из крематория в подвале, где жгут трупы казнённых. Мой муж был офицером, он исчез в этой тюрьме. Вот почему я не могу ходить по крыше. Не могу топтать пепел моего убитого мужа». Потрясённая, я оставила уговоры.

В Лефортово заключённые гуляли в одном из внутренних двориков. Прогулка однажды чуть не стоила мне жизни. Каждый день выходила на свежий воздух и моя сокамерница, милая, приятная женщина, она тоже понимала: это очень нужно. В тот вечер выпал снег. Мы, как всегда, брели друг за другом на приличном расстоянии, надзиратель следил, чтобы не было разговоров. Вдруг я почувствовала страшный удар по голове и потеряла сознание. Очнулась в камере. Врач прикладывал к моей голове пузырь со льдом. Когда я пришла в себя, он, ни слова не говоря, вышел.

— Что случилось? — спросила я у соседки.

— Не знаю. Вы потеряли сознание, и надзиратели принесли вас сюда.

Голова трещала, на макушке вздулась огромная опухоль. Врач часто заходил взглянуть на мою опухоль, прикладывая лёд.

Через неделю дверь камеры вдруг открылась, и в

сопровождении двух офицеров вошёл толстый полковник. Позже я узнала, что это был комендант Лефортово. Сокамерница моя испуганно вскочила, а мне он мягко разрешил лежать. Между нами произошёл следующий диалог:

— Что с вами случилось на прогулке?

— Не знаю.

— У вас есть какие-нибудь предположения?

— Нет. Знаю только, что очнулась здесь со страшной головной болью и что ко мне приходит врач.

— Вас кто-нибудь ударил?

— Не знаю. Я почувствовала удар по голове и сразу потеряла сознание.

— Кто был с вами?

— За мной шла вот эта моя соседка, а неподалеку стоял охранник.

— Вы думаете, это соседка вас ударила?

— Ни в коем случае. Мы здесь подружились.

— Может, тогда охранник?

— Не думаю. Он в это время стоял довольно далеко от меня.

— Что же это было?

— Понятия не имею.

Полковник показал две половинки кирпича, которые он всё это время держал за спиной, и сказал:

— Дело тщательно расследуется, мы пришли к выводу, что гнездящиеся под стрехой этого здания голуби расклевали раствор между кирпичами над сливом, кирпичи расшатались, и один из них упал вам на голову с такой силой, что раскололся пополам. Верите ли вы, что это так и было?

— Придётся поверить, — ответила я.

Он дал мне подписать бумагу о том, что я принимаю объяснение насчёт голубей.

Поистине курьёзный случай! Он словно монумент бессмысленности! Каждую ночь истязали и убивали людей, но несчастный случай с голубями и кирпичом был досконально расследован, чтобы никого нельзя было обвинить в том, что мне причинили зло…

Дальше — пример тех безумных оснований, по которым человека могли арестовать. Когда я в 1938 году была на Лубянке, в камеру привели молодую женщину, назовём её Ольга Петровна. Как всегда при появлении новичка, мы ждали, что она нам расскажет. Ольга Петровна служила у Сталина. Сталин, по её рассказам, обычно пил чай в течение всего дня. Она заваривала и подавала его — это была единственная её работа. Взяли её на эту должность потому, что она была членом партии, надёжным

человеком.

Порядок приготовления чая был разработан до мельчайших подробностей. Запечатанные сургучом пачки чая хранились в специальном шкафу под замком, ключ был только у Ольги. Открывать шкаф она имела право лишь в присутствии часового. Он должен был осмотреть пачку и убедиться, что сургучная печать цела. Потом пачку вскрывали, брали из неё сколько нужно. Часовой должен был выбросить весь оставшийся чай. Из одной пачки ни в коем случае нельзя было брать чай дважды.

Однажды Ольга как всегда открыла шкаф в присутствии часового и к ужасу своему увидела, что на одной пачке печать немного отошла. Чай сразу исследовали в кремлёвской лаборатории — яда не оказалось, но Ольга угодила на Лубянку. Ещё она рассказывала нам об электромонтёре, который чинил электроприборы в квартире Сталина. Его арестовали из-за короткого замыкания. Благодаря Ольге пожара не случилось, но она обвинялась и в попытке отравить Сталина, и в пожаре. Не знаю, что с Ольгой было дальше. Удивительно, эта женщина и в тюрьме не переставала восхищаться тираном.

Пора, видимо, рассказать о мнимой шпионской деятельности Куусинена. Я часто думала, в чём причина недоверия к нему, и решила, что дело в дружбе моего мужа и Хеллы Вуолийоки. Хелла часто приезжала по делам в Москву и всегда бывала у своего старого друга Куусинена. Хелла, знавшая много языков, в 20-е годы устраивала в Хельсинки приёмы, там бывало много иностранцев, дипломаты из разных стран. Правда, салон Хеллы особой популярностью не пользовался, в основном из-за того, что там бывали советские дипломаты. В городе его называли «шпионским салоном».

Я ещё в Хельсинки слышала, что Хелла Вуолийоки была связана с тайными спецслужбами Англии. В Москве, помню, она рассказывала, что Трилиссер[162], начальник советской разведслужбы по странам Скандинавии, часто у неё бывал, что была у них условленная встреча и в Берлине. Ещё помню, как Хелла пришла к Отто с британским офицером и звонила от нас Трилиссеру, чтобы договориться о встрече. Понемногу мне стало ясно, что обвинение было выдвинуто против Отто отчасти из-за его дружбы с Хеллой и Трилиссером. Но на допросах я не позволяла себе об этом думать, чтобы нечаянно не проговориться. Я никогда не упоминала и о дружбе Отто с сестрой Хеллы — Салме Пеккала. Я уже говорила, что в 1920 году в Хельсинки познакомилась с сёстрами и что Салме собиралась тогда в Лондон с секретным заданием. Три года спустя Отто сказал, что виделся с Салме, ей удалось завязать в Лондоне важные контакты:

«Она там справляется хорошо». Позже Салме развелась с Пеккала и вышла замуж за британского коммуниста Р. Палма Датта[163], которого я встречала в Коминтерне.

В конце 20-х годов, точнее не помню, когда я однажды вернулась с работы, Отто принимал у себя в кабинете незнакомую женщину. Она говорила по-английски, переводил библиотекарь Коминтерна Аллан Валлениус (Отто английского не знал). Когда гости ушли, Отто сказал, что англичанку зовут Мэри Петерс (Родес Муурхаус), это подруга Салме. Салме хотела поженить Мэри и Эйно Пеккала, и позднее они действительно поженились. Об англичанке Отто говорил уклончиво, зачем она приходила, я так и не узнала.

Эти встречи с Хеллой Вуолийоки, Салме Пеккала и Мэри Петерс в горячечном воображении людей из НКВД превратились в шпионскую деятельность Отто в пользу Англии. Я, конечно, ни секунды не сомневалась, что Отто действовал только на благо Коминтерна и советского правительства.

Когда я снова была под следствием в 1950 году, однажды утром на Лубянке меня привели к генералу. Он на меня покосился, сказал: «В 1938 году вам удалось спасти вашего мужа. Но на этот раз никто не в силах ему помочь, теперь я имею все основания считать его британским шпионом, мы даже знаем, кто его завербовал — госпожа София Штерн! Вы с ней знакомы?» — «Нет, — ответила я, — даже никогда не слышала этого имени».

Но потом я вспомнила эту женщину. Как-то раз в 1920 году я шла по улице Булеварди в Хельсинки и встретила Хеллу Вуолийоки с изысканно одетой брюнеткой, видимо иностранкой. Позже, в Москве, я заговорила с Отто об этой встрече, и он рассказал, что примерно в то же время познакомился с этой иностранкой, он тогда несколько дней скрывался в Хельсинки у Вуолийоки. Звали ту женщину София Штерн, её послал с секретным заданием в Хельсинки генерал Деникин[164]. Откуда стало ГПУ известно о встрече Отто и Штерн — тайна, в которую мне так и не удалось проникнуть. И эта незначительная подробность была извлечена из архивов ГПУ в 1950 году, спустя тридцать лет!

Очень редко и лишь случайно заключённые могли узнать друг о друге. Однажды в 1938 году я услышала, что в Лефортово сидят два американца, Джо и Степан (видимо, переделанное на украинский лад имя Stephen). Эти молодые американцы утром забирались к маленькому оконцу под самым потолком камеры, спрашивали, жива ли я. И мы с ними по-английски обменивались новостями. Этих двоих я не видела ни разу, но подружилась с ними. Когда они исчезли, я долго тосковала.

Заключение в Лефортово было уже само по себе невыносимо, но хуже всего тесная одиночная камера, в которой через крошечное отверстие под потолком слышны были отчаянные крики, а иногда и обычные голоса. Многие обитатели одиночек пытались покончить с собой. Но это было нелегко — в камере совершенно голые и гладкие стены и надзиратели днём и ночью следили за заключёнными в дверной глазок. Многие в одиночках сходили с ума. Следователь раз сказал мне на допросе: «Просто удивительно, что вы до сих пор не сошли с ума, как многие другие».

Я твёрдо решила избежать такой судьбы и составила себе программу, чтобы в одиночном заключении сохранить и сберечь себе нервы и не утратить способности говорить. Прежде всего я научилась определять время и мысленно фиксировала каждый день и час; потом разделила каждый день на промежутки — для определённых занятий. Я во всех подробностях вспоминала виденные когда-то фильмы, прочитанные романы и путевые очерки. Придумывала разговоры с друзьями. Читала стихи, отрывки из финской литературы, которые знала в школе наизусть. Беззвучно пела песни. В разные дни я говорила сама с собой на том или ином языке — чтобы не забыть. И надо было постоянно опасаться, чтобы ходившие по коридору надзиратели не услышали нечаянный шёпот.

Вспоминая всё, что когда-либо случалось с моими знакомыми, я оттачивала память. Даже теперь, через многие годы, в каком-то отделении мозга хранятся имена и события, и их не вырвать оттуда никакими силами. Через много лет я познакомилась с одним психологом и рассказала ему об этой своей духовной гимнастике. Он уверил меня, что именно благодаря такому тренажу я избежала сумасшествия.

Допросы тянулись бесконечно. Главной их темой была мнимая шпионская деятельность Куусинена, но постепенно меня начали спрашивать и о живущих в СССР финнах. Они все арестованы, сказали мне. Меня уверяли, что Мауно Хеймо — французский шпион. (Он и правда бывал в Париже, где очень ловко разрешал проблемы, связанные с деятельностью Коминтерна.) Говорили, что Ниило Виртанен якобы состоит на службе у секретных ведомств трёх стран: Финляндии, Германии и Норвегии.

Однажды мне даже сказали, что Виртанен подписал бумагу, где признавал, что я иностранная шпионка. Врёте, сказала я, Ниило человек порядочный, такого не скажет даже под пыткой, Ниило — коммунист в идеальном смысле слова. Следователь сердито заорал: «Все вы, шпионы, одинаковы — друг друга

покрываете!» Но это уже неважно, добавил он, больше я Виртанена никогда не увижу, прошлой ночью он расстрелян. Так осуществилось предсказание Ниило, сделанное им в 1935 году. Он тогда мечтал попасть в Китай и предостерегал меня, чтобы я не оставалась в СССР!

Не раз меня спрашивали о моих поездках за границу, о пребывании в США и Японии. Я отвечала, что в Америку меня посылал Коминтерн — разбирать разногласия между организациями, а в Японии я должна была лишь вживаться, изучать страну и японский язык.

Однажды на допросе у меня спросили о моих прежних начальниках, генералах Берзине и Урицком. Я ответила, что обоих видела всего два раза, ничего не знаю об их деятельности.

Расспрашивали о Рихарде Зорге, сказали, что он не оправдал ожиданий высших инстанций, работой его были недовольны, он тратил слишком много денег. От меня требовали, чтобы я написала Зорге в Японию, попросила его вернуться в Москву. Предложение было странным: почему именно я должна это сделать? Выяснилось, что Зорге уже получил не один приказ вернуться, что даже Сталин требовал этого. На допросах было не до смеха, но тут я не удержалась, сказала смеясь: «Неужели вы думаете, что Зорге, ослушавшись Сталина, подчинится мне!»

Следователь уверял, что Зорге обязательно последует моему совету, ведь мы — «близкие друзья». Нет, сказала я, хотя мы с Зорге знакомы со времён Коминтерна, но намёки на близкое знакомство — враньё.

Судя по всему, я была довольно важным «врагом народа»: за пятнадцать месяцев предварительного заключения меня допрашивали двадцать четыре следователя. Однажды Зайцев спросил, знаю ли я, почему все следователи до единого хотят от меня избавиться? Жалким голосом он сам пояснил: «Ваше дело мы даём самым настойчивым и опытным следователям, но и они не выдерживают. Вы так ловко отвечаете, что не поймёшь, как продолжать допрос».

Хотя меня, как ни странно, ни разу не били, но применяли чрезвычайно изощрённый способ допроса: в лёгкой одежде в ледяной комнате. Следователь сидел в шубе. У меня, наверное, действительно было железное здоровье, раз и это меня не сломило. Иногда, правда, так высоко поднималось давление, что однажды в изоляторе Лефортово меня лечили пиявками. После этого ненадолго перевели в Бутырки.

Когда я вошла в камеру, мне сказали, что только что одну молодую женщину перевели отсюда в другую камеру. Это была финка — видимо, хотели избежать нашей встречи. Звали её

Хилма Ахонен, родилась она в Сибири в финской семье и служила нянькой в семье финского дипломата. Думаю, её арестовали как «финскую шпионку» или, может, она не выполнила каких-нибудь приказов НКВД.

Под конец хочу написать о латвийской колонии в Москве. Все её члены — около трёх тысяч — были расстреляны. Расскажу о страшной судьбе одной молодой латышки, моей сокамерницы в Бутырках. Она обвинялась в шпионаже. С того момента, как её привезли в Бутырки, с ней обращались чрезвычайно жестоко. Она едва успела в тюрьме помыться, ещё не высохли её длинные волосы, как за ней пришли. Она не возвращалась целую неделю. Потом её втолкнули в камеру. Мы все были уже людьми опытными, всякого навидались, но на неё мы смотрели с содроганием. Облик этой женщины переменился совершенно. Лицо уродовали большие чёрные мешки под глазами, тело и лицо опухли. Она пришла в себя и рассказала, как с ней эти изверги обращались. В штрафном изоляторе она сидела, поджав ноги, на маленьком круглом столе, а на голову день и ночь капала вода. Утром ей давали кусочек чёрного хлеба и стакан холодной воды. К концу второго дня у неё поднялась высокая температура, она потеряла сознание. Когда пришла в себя, её привязали голую к скамейке и стали бить резиновыми шлангами, пока она снова не потеряла сознание. Её поливали горячим крахмалом, голую истязали день и ночь. Когда меня снова отправили в Лефортово, она была ещё в Бутырках. Но я не сомневалась, что её расстреляли…

ГЛАВА ШЕСТАЯ. Путь в Воркуту и восемь лет лагерей

С января 1938 года я находилась под следствием. Прошло пятнадцать месяцев. Однажды апрельским вечером 1939 года вдруг открылась дверь камеры и нас, десять женщин, отвели в крохотную каморку. Мы стояли, тесно прижавшись друг к другу. Перед нами за небольшим столом сидел солдат, в руках у него был карандаш. Он выкрикивал наши фамилии и говорил: «Распишитесь». Когда настала моя очередь, дал мне небольшой листок бумаги, на котором я сначала ничего не увидела. Потом на обратной стороне прочитала нацарапанные карандашом слова: «Мне объявлено, что я буду сослана на восемь лет в исправительный лагерь». Внизу стояли большие буквы: КРД. Только позже я узнала, что буквы означали — «контрреволюционная деятельность». У некоторых женщин стояли буквы КРТД — «контрреволюционная троцкистская деятельность». Я с гневом заявила солдату, что расписываться не буду. Он невозмутимо ответил: «Это не имеет никакого значения. Вас отправят в любом случае».

Мне, значит, вынесли приговор без всякого суда, без официального судебного разбирательства. Я и в последующие годы ни разу не видела прокурора и не была на суде. И не я одна: за исключением пропагандистских процессов над такими известными руководителями, как Зиновьев или Бухарин, дела обычных заключённых в суде не рассматривались. В газетах и решениях советского правительства постоянно упоминается министерство юстиции. Такое министерство, конечно, существует, в нём бесчисленное множество чиновников, но почти никто из политических заключённых не сталкивался с ними по делу. Немного раньше, до приговора, я написала Генеральному прокурору СССР Андрею Вышинскому[165] заявление с просьбой о встрече с ним на несколько минут. Ответа всё не было, а на мой вопрос следователь, пожав плечами, ответил, что Вышинский моего письма не получил.

Многие писали из лагерей письма работникам юстиции, жаловались на плохие условия, просили освободить. Ответов чаще всего не получали, а если ответ приходил, в нём сообщалось об увеличении срока заключения, вместо десяти — двадцать пять лет. Те, кто постоянно писал жалобы, вдруг незаметно исчезали. Но бывало, что отправившего жалобу действительно освобождали.

Вместе с другими заключёнными 11 апреля 1939 года меня посадили в тесный фургон и повезли по московским улицам. Дверцы открыли за городом у какой-то железнодорожной ветки. Нас заперли в сарае без крыши, он насквозь продувался ветром. Стало совсем невыносимо, когда пошёл проливной дождь. В сарае уже до нас было двадцать молодых заключённых. Вечером нас затолкали в «столыпинский» вагон. Эти специальные вагоны были построены лет за тридцать до этого, когда Столыпин был премьер-министром царского правительства. К нашему несчастью, в вагонах не было ни света, ни окон. Вагон прицепили к поезду, и в кромешной темноте началось наше путешествие в неизвестность.

Больше всего в дороге нам досаждали молодые уголовники. Они захватили верхние нары. Занимались там всяким непотребством, плевались, ругались матом и даже мочились на лежавших внизу. Так прошли ночь и следующий день. Вечером наш вагон отцепили, конвойные объявили, что мы в Котласе. Я тогда не знала, где он находится, но позже увидела на карте, что Котлас стоит на Северной Двине, в пятистах километрах от устья.

В Котласе помню только бесконечные зоны, где заключённые ждали отправки на север. Лагеря назывались «зонами», в них содержались тысячи заключённых, в основном мужчин. Несколько зон предназначалось для женщин, там я познакомилась со многими жёнами советских высших руководителей. Преступление этих женщин состояло в том, что они не заявили в органы о «злодеяниях» своих мужей. Из множества очень интересных людей хочу упомянуть двоих врачей. Русскую женщину-врача звали Элизабет фон Файт, она была родом из казаков. Потом стала гражданкой Австрии, училась в Вене медицине и там в 20-е годы вышла замуж за австрийского врача. У них было двое сыновей. Когда она поехала в СССР, чтобы встретиться с матерью, её арестовали — конечно, по подозрению в шпионаже. Вторым «шпионом» был немец, Эрих Штернберг, невропатолог и психиатр. Он приехал в Москву читать лекции, по обмену. Но не успел прочитать ни одной лекции…

Я удивилась, встретив в зоне нескольких финок. Их привезли в Котлас из Петрозаводска. Помню их имена: Хилья Хуттунен, Ида Кукконен, Алфа Пеккала, Сайми Хейккинен, Элви Коскинен, Эстер Никкари, Майре Салонен, Мээри-Велламо Салонен, Эстер Пихлаямяки, Мария Виитала и Лююли Яйкяс. Большинство этих женщин приехали в СССР с мужьями, поверив в рассказы о высоких заработках. Но власти решили, что они приехали шпионить, все мужчины были расстреляны. Вряд ли кто из их жён, с которыми я довольно долго пробыла вместе, остался в

живых.

О многих хотелось бы рассказать подробнее. Например — об Анни Кукконен, тёте Анни. Эта женщина переехала из Финляндии в СССР много лет назад. Когда Гюллинг основал Карельскую республику, Анни стала заместителем министра просвещения, но скоро была арестована и заключена со многими другими финнами и финками в петрозаводскую тюрьму. Это была очень живая женщина, часто с иронией рассказывала о своём заключении в Петрозаводске. Тюрьма была старая, деревянная, перегородки такие тонкие, что арестанты могли переговариваться и обмениваться новостями, даже договариваться о совместных акциях. Через стены сообщили друг другу, что одного из арестованных за то, что отказался подписать признание, жестоко избили и бросили на растерзание овчаркам.

Тётю Анни тоже подводили к вольеру с собаками, намекали, что и её бросят им на растерзание. Заключённые совместно решили, что лучше десять лет лагерей, чем истязания и мучительная смерть. Каждый перед допросом придумывал себе какое-нибудь преступление.

Тётя Анни рассказывала о допросе одного молодого финна. Следователь прочитал нотацию, что разумнее сразу признаться, чем получить страшное наказание, затем спросил: «Вы признаёте, что тайная полиция Финляндии послала вас сюда как шпиона?»

Осуждённый: Признаю.

Следователь: Я рад, что вы это признаёте. Если расскажете мне всё, наказание будет лёгкое. Кто вас завербовал в шпионы?

Осуждённый: Рунеберг.

Следователь: Как его зовут?

Осуждённый: Ехан Лудвиг.

Следователь: Где вы познакомились с Рунебергом?

Осуждённый: В Хельсинки.

Следователь: Но вы ведь не из Хельсинки. Вы туда поехали специально, чтобы с ним познакомиться?

Осуждённый: Да.

Следователь: Вы были у него дома?

Осуждённый: Не был.

Следователь: Где вы с ним встречались?

Осуждённый: На Эспланаде.

Следователь: Как вы его нашли? На Эспланаде ведь много народу?

Осуждённый: Он стоял неподалеку от места, где летом вечерами играет оркестр.

Следователь: Кто сообщил вам, что он будет вас ждать?

Осуждённый: Мой школьный учитель, господин Леппянен,

сказал мне: «Когда приедешь в Хельсинки, увидишь его около площадки для оркестра».

Следователь: Как вы узнали Рунеберга?

Осуждённый: Учитель Леппянен мне сказал, что он будет там стоять с книгой в руке.

Следователь: И Рунеберг оказался там, да?

Осуждённый: Да.

Молодой человек получил десять лет лагерей. Финнам и скандинавам объяснять не надо, кто такой Рунеберг. Другим, кому его имя и памятник в Хельсинки не знакомы, поясню, что Ехан Лудвиг Рунеберг — финский поэт, живший в прошлом веке. В финских школах дети до сих пор учат наизусть его стихи. В парке Эспланада, в центре Хельсинки, стоит его бронзовый памятник.

Ещё одна заключённая, Ида Шёберг, рассказывала следующее. Она приехала с мужем и братом в Карелию строить социализм. Была она уже не молодая, многое в жизни повидала, муж её был квалифицированным рабочим. Он всю жизнь работал на заводе в Кюми, зарабатывал неплохо, выстроил даже небольшой дом.

Ида показывала мне на снимке чистенький домик, перед ним были разбиты красивые клумбы.

Шёберг скоро должен был выйти на пенсию, мечтал о спокойной старости. Но внезапно в Финляндии вспыхнула «карельская лихорадка».

Ида рассказывала: «Раз вечером мы слушали радиопередачу из Советского Союза, муж сидел, не вставая, слушал до полуночи. Я уговаривала его лечь спать, всё равно он по-русски ничего не понимает. Но он дослушал до конца — ведь передача была из СССР».

Таково было могучее воздействие на людей карельской лихорадки, излечиться от неё можно было только переехав в Восточную Карелию. Втроём, взяв ещё и брата Иды, они перешли границу и поселились в восточнокарельской деревне. Работали мужчины далеко от дома, и домой приезжали только по субботам. Ида к их приезду всегда топила баню. Всё бы ничего, если бы не голод. Когда мужчины в субботу, страшно голодные, возвращались домой, Иде поставить на стол было нечего. Она подробно описывала мне ужасы голодного времени. Финны, выполняющие тяжёлую работу, привыкли хорошо питаться. А что они получали на работе? Щи из квашеной капусты, даже без хлеба! Ида уже было впала в отчаяние, судорожно искала выход. Однажды она увидела около дома больших толстых крыс. У этих с виду таких здоровых животных должно быть вкусное мясо,

решила она и поставила несколько ловушек.

Ида продолжала: «Я обдирала крыс, как кроликов, мясо у них было белое, хорошее, на вкус напоминало куриное. У одной карелки я выменяла на свой хороший чёрный костюм несколько картофелин, кусочек свинины и две луковицы. Утром в субботу я растопила печь, мелко нарезала крысиное мясо и натушила его в котле с картошкой. Мужчины вечером вернулись домой, и брат воскликнул прямо с порога: „Жареным мясом пахнет!“» Они пошли в баню, а Ида накрыла на стол. Когда они стали расспрашивать, откуда она взяла мясо, она ответила: «Главное, что оно есть. Незачем мужчинам вникать в женские дела».

Я спросила: «Ида, а ты сама ела крысиное мясо?» — «Сначала не ела, — ответила она, — но потом попробовала, и оно оказалось таким вкусным, что я тоже стала его есть». Она добавила: «В Карелии многие умирали от истощения. А я своим крысиным супом спасла мужа и брата от голодной смерти».

Я ни капли не сомневаюсь в том, что всё это — правда.

Наступил май. Светило солнце, в Котласе стало теплее. Нас, женщин из Москвы, поселили в огромном хлеву. Пол был покрыт толстым слоем сена. Хотя нам, по правде говоря, было уже безразлично, где жить, здесь всё же было лучше: двери и окна можно было держать открытыми днём и ночью. В этом хлеву на сене мы и ждали этапа. Рядом со мной спала сербка Надя Кубурич[166], муж её представлял в Коминтерне компартию Югославии, делал переводы с русского на сербский[167]. Он тоже был арестован, жив ли он — она не знала. Её саму взяли позднее, обвинили в шпионаже.

Надя Кубурич была уравновешенная, умная женщина. Между нами завязалась дружба.

Мы дышали свежим воздухом, даже загорали на солнце, смотрели из окна во двор. Внутри зоны мы имели право перемещаться свободно, а за оградой ходили охранники с собаками. Однажды охранники стали что-то строить перед самым нашим окном. Через два дня строение было готово — это оказалась небольшая башня. Выстроена она была прочно, из хорошей древесины. Окон не было, лишь очень плотная дверь. Наверху, у крыши, находилось отверстие сантиметров в пятнадцать, забранное крепкой железной решёткой. Мы каждый день следили из окна, гадая, для чего эта башня.

Когда всё было готово, конвоиры ввели в нашу зону группу молодых парней, лет двадцати или моложе. На них были только рваные трусы. Их заставили войти в башню, дверь заперли. Солдаты поставили прямо перед нашим окном водяной насос, пропустили длинный шланг через решётчатое окно и стали

качать в башню воду из ближайшего пруда. Они трудились изо всех сил. Мы слышали, как парни кричали: «Откройте!» Насос работал безостановочно, крики становились громче: «Перестаньте качать! Вода уже выше колена. Уже по пояс… перестаньте!.. остановитесь!.. выпустите воду! — мы по горло в воде, захлёбываемся…» Но солдаты, не обращая внимания на крики, продолжали качать, пока не стало тихо. Мы с ужасом переглядывались. Прошло много времени, и дверь открыли. Из башни хлынула потоком вода, она вынесла во двор трупы. Солдаты их унесли, а вода ушла в землю. Лагерная жизнь продолжалась.

В Котласе заключённые не работали, но многие женщины сами просили дать им работу. Раз они чистили картошку за ограждением, а когда возвращались, через щель в заборе соседней зоны какой-то мужчина спросил обо мне. Женщины сказали, что знают меня, он их просил помочь увидеться. В нашей зоне женщины образовали пирамиду, я влезла на самый верх и громко спросила, кто хотел меня видеть. Как же я удивилась, увидев Станко Сапунова, с которым встречала Новый год, 1938-й. С тех пор прошёл год и четыре месяца. Станко попытался меня ободрить, сказал — не надо волноваться, такое положение долго продлиться не может, скоро мы все вернёмся домой.

Со своей пирамиды я увидела ещё двоих знакомых. Один был военврач доктор Душманн, которого я позднее встретила ещё раз. Он получил двадцать пять лет «за убийство Максима Горького». Я думаю, он никогда и не видел Горького. Второй был высокий чин НКВД, латыш Мутчулан, с ним я познакомилась через его жену, она тоже была из Латвии, работала секретарём в отделе международных связей Коминтерна. Когда я через восемь лет вернулась в Москву, узнала, что Мутчулана расстреляли в Котласе, а жена его казнена в Москве.

В середине мая нас повезли этапом по воде. На старинном колёсном пароходе мы плыли по Северной Двине на север. Никто из нас раньше такого парохода не видел. Один из охранников сказал, что плывём в Воркуту, место нам совершенно незнакомое.

В Котласе я много разговаривала с доктором Элизабет фон Файт. В дороге она должна была оказывать заключённым медицинскую помощь. Узнав, что я по профессии медсестра, она предложила мне стать её помощницей. Немного поколебавшись, я согласилась. Я совершенно уверена, что дело, которое предложила мне Элизабет фон Файт, спасало меня все восемь лет мучений: работа с больными облегчила жизнь, принося мне моральное удовлетворение. Поэтому я всегда с благодарностью вспоминаю госпожу фон Файт, очень жалко, что наша совместная

работа прекратилась, когда в 1941 году началась война, — доброго доктора перевели в другой лагерь, и она для меня навсегда исчезла.

Вернёмся к нашему путешествию. Пароход медленно плыл по реке, стояла хорошая солнечная погода. Ночи были светлые и тёплые. Сапунов ехал с нами, мы с ним много разговаривали. Он просидел пятнадцать месяцев на Лубянке по обвинению в сотрудничестве с балканскими шпионами. Его приговорили к смерти, но приговор был заменён на двадцать пять лет лагерей.

Проплыв по реке пятьсот километров, мы прибыли в Архангельск. Стояла удивительно светлая летняя ночь. Город спал. Нас пешком провели по улицам в другую гавань, где ждал огромный корабль. На ногах у меня были лапти, я их сама сплела в Котласе — не ходить же по зоне на высоких каблуках.

В ожидании приказа о погрузке долго стояли на причале. Мы, двадцать девять женщин, находились в конце длинной колонны, впереди стояли сотни заключённых-мужчин. Вдруг кто-то окликнул меня по имени. Я даже вздрогнула, узнав Гуго Эберлейна, своего старого друга со времён Коминтерна. Он подошёл. Передвигался он с огромным трудом: был очень болен. Я спросила, откуда он — из Берлина? Он сказал — из Парижа. По приказу Коминтерна ЦК германской компартии был в 1934 году переведён в Париж. Эберлейна вызвали в Москву телеграммой, он был арестован на вокзале, сразу по прибытии.

Он успел мне сказать:

— Ни в коем случае не нервничайте и прежде всего — никогда не плачьте. Когда мы отсюда вырвемся, скажем им всё.

Потом охранник отвёл его в строение неподалеку. От двери Эберлейн ещё раз успел махнуть мне рукой, из его друзей я была последней, кто его видел. Больных, чтобы не возиться с ними в дороге, за тем зданием расстреливали.

Когда мы поднялись на судно, я спросила у начальника перевозки, что сделали с немцем. Он цинично ответил:

— Я не могу брать на свою ответственность перевозку такого больного человека. Его тело так распухло, что он наверняка бы умер в дороге. Так ему лучше: хоть не надо в дороге мучиться.

В начале деятельности Коминтерна Гуго Эберлейн представлял в нём германскую компартию. Он был другом и доверенным человеком Ленина, женат был на воспитаннице Ленина. Эберлейн был искренний, открытый человек, большой идеалист. Не знаю, что стало с его женой.

Скоро пароход вышел в Белое море и поплыл на северо-восток, к Северному Ледовитому океану. Слева неясно вырисовывались контуры Кольского полуострова. Куда мы едем,

никто не знал, хотя всё чаще звучало слово «Воркута», говорили, что там много угольных шахт.

На пароходе я встретила двоих финнов, Хьялмара Викстрёма и Вилхо Харью. Викстрём в Москве познакомился с каким-то человеком, который вызвался учить его русскому языку. Раз вечером, летом 1937 года, он пригласил Викстрёма в ресторан «Прага» и потом проводил до дома. У квартиры Викстрёма их ждала машина НКВД, его силой в неё усадили. Скоро он был на Лубянке, его обвиняли в шпионаже. Слишком поздно Викстрём понял, что «друг» его был агентом службы безопасности.

Вилхо Харью был высокий, светловолосый, красивый молодой человек. Я ни разу не видела его в Воркуте и через других узнала, что он погиб в аварии на шахте. Не помню, зачем он приехал в Советский Союз и в чём обвинялся.

Жестокая буря трепала наш пароход целую неделю. Потом повернули на юг и скоро были у устья широкой реки Печоры. Пароход причалил в Нарьян-Маре. Мы сошли на берег. Часть мужчин повезли в лагеря, остальных же загнали на баржу, в трюме которой уже было много заключённых.

Мы, женщины, остались на палубе, соорудили под руководством доктора фон Файт из одеял что-то вроде навеса. Там поместили полевую аптечку, которую получили в Архангельске, из узлов с одеждой устроили постели. Еду получали на камбузе, так что у нас, «верхних» пассажиров, были сравнительно неплохие условия. Скоро баржа двинулась против течения, её тянул на буксире колёсный пароход.

Начальник перевозки, младший офицер, сказал, что в трюме — тысяча девятьсот человек. Среди них один-единственный политический заключённый, все остальные — уголовники, воры, убийцы и т. д. Во все время пути они не имели права подниматься на палубу, и ни я, ни даже доктор фон Файт не должны были спускаться в трюм, чтобы оказать помощь больным. «Если вы туда спуститесь, вас обязательно убьют». Тогда доктор фон Файт попросила, чтобы тот единственный политзаключённый поднялся наверх и рассказал, что творится внизу. Скоро на палубу выбрался обычный русский рабочий.

Он рассказал, что в трюме нары в четыре этажа, битком набитые заключёнными, и там стоит кромешная темнота. Много больных. Они нуждаются в медицинской помощи. После наших уговоров начальник перевозки разрешил доктору фон Файт и мне спуститься в трюм. Впереди шёл политический, держа в руках фонарь, а мы, охраняемые несколькими конвойными, искали больных. К сожалению, в потёмках мы мало кому смогли помочь. Вонь там стояла ужасная. Мы были рады, что в конце концов

выбрались на свежий воздух. В последующие дни и недели заключённых группами высаживали на берег для отправки в лагеря вдоль Печоры. В трюме стало просторнее. Многих выносили на берег едва живыми.

На барже одна молодая русская женщина спросила меня, правда ли, что я финка.

— Я знала ещё одну финку, — сказала она.— Та была немного не в себе, всё время врала. Её фамилия была Малм, я познакомилась с ней в лагере на Соловках. Говорила она по-русски плохо, но мы всё-таки поняли, что она нам всё врёт. Она уверяла нас, что она — член политбюро финской компартии, что муж её учился в университете, что он член Исполкома Коминтерна, и всякую такую чепуху.

Я ответила:

— Она вам не врала. Я её знаю, и всё, что она рассказывала, — правда. А где она сейчас?

— Она утопилась в речке, которая течёт через Соловецкий монастырь. Труп её нашли только через трое суток после её исчезновения, в тине на дне реки. До этого думали, что она бежала, и нас наказали, так как там считалось, что мы в ответе друг за друга.

Вот как, значит, закончилась жизнь печально знаменитой Ханны Малм, жены Куллерво Маннера!

Ханна Малм мне однажды рассказала историю своей жизни. Она была незаконнорожденной, никогда не училась в школе, дома у неё в детстве фактически не было. Мать едва сводила концы с концами, стирая чужое бельё, и Ханне ещё в детстве пришлось жить самостоятельно. Она рано пошла работать в переплётную мастерскую, убирала помещение и бегала для рабочих за водкой. Несколько лет зарабатывала продажей газет на улицах Хельсинки. В ней пробудилось классовое сознание, когда она познакомилась с рабочими в цехе, и с тех пор она полностью отдалась делу классовой борьбы. Когда в Финляндии начался в 1918 году мятеж, она без устали призывала молодёжь на борьбу. Летом 1921 года она руководила подпольной деятельностью компартии. Не знаю, каким образом и когда она познакомилась с Куллерво Маннером; брак этот между образованным депутатом парламента и обычной рабочей казался странным и труднообъяснимым. Ханна была своенравной и эгоцентричной, легко ссорилась по пустякам. Но кончина её показывает, что характер у неё был твёрдый.

О последних днях Маннера я услышала в воркутинском лагере от одного финна, бывшего шюцкоровца[168]. Его, если я верно помню, взяли, когда он с берега ловил рыбу, на Карельском

перешейке. Он рассказал, что был с Маннером в лагере Чибино на берегу Печоры. Маннер работал уборщиком в избе-парикмахерской, носил туда воду. Они, двое финнов, сидели раз у печки, поджаривали чёрный хлеб и ели. Шюцкоровец сказал: «Вот где мы, значит, встретились: ты — руководитель компартии и я — шюцкоровец». На что Маннер серьёзно заметил: «Не горюй, брат, мы ещё однажды встретимся в Финляндии и будем вместе вспоминать всё это». Но надежда его не осуществилась, скоро Маннера расстреляли.

Против течения плыли медленно. Часто стояли возле лагерей. Начальник одного из них уговаривал нас, женщин, остаться, уверял, что может это устроить. «В Воркуте, — сказал он, — нет даже низкорослых деревьев. Здесь вам будет лучше». Только тогда мы поняли, что такое Воркута. Но остаться в его лагере побоялись.

Плавание длилось бесконечно. Уже наступил август, когда мы свернули в маленькую речку, она называлась Уса. Мы теперь плыли на северо-восток, становилось всё холоднее. Начальник перевозки сказал, что скоро Полярный круг. Женщины сойдут на берег в местечке Кочмес. Мы приплыли туда только через неделю. Мужчины должны были плыть дальше, по Усе до Воркуты-Вома, а оттуда идти пешком до Воркуты. Названия и расположение я узнала позднее. Воркута-Вом — последний причал на Усе, в шестидесяти километрах от Воркуты. Именно в то время в Воркуте был создан крупнейший исправительный лагерь в Советском Союзе. Здесь, на севере, нашли богатое месторождение каменного угля. Тысячи, десятки тысяч заключённых жили там в нечеловеческих условиях, добывали и грузили уголь.

Путешествие наше продолжалось четыре месяца. В Кочмес приплыли в середине августа 1939 года. Железная дорога от Котласа до Воркуты тогда ещё строилась, и до 1941 года, пока она не была готова, туда добирались этим сложным водным путём.

Небольшая группа женщин-заключённых получила приказ продолжить путь на барже, с ними уплыла и доктор фон Файт. Но судьбе было угодно, чтобы мы снова встретились. Мы, финки, сошли в Кочмесе, это была пристань, общая для ближайших лагерей, помню из них только два — Абезь и Инта. Нас поместили в большом погребе, в котором обычно хранят овощи, вдоль стен там тянулись нары в два этажа. Вокруг лежали огромные болота, вдали, на востоке, сквозь дымку виднелась низкая цепочка Уральских гор.

Здесь, в Кочмесе, я в последний раз видела Станко Сапунова, он приходил по каким-то делам из ближнего лагеря. Станко

сказал мне, что его должны скоро освободить, поэтому его отправили в лагерь Абезь. Я пожелала другу счастливого пути, подумав про себя, что это, видимо, будет его последний путь.

Опасения мои подтвердились. В декабре 1946 года, освободившись, я в Москве зашла к Сапуновым. Станко не было. Госпожа Сапунова показала мне телеграмму, посланную её мужем из Абезя в декабре 1941 года, — он сообщал, что едет домой. После этого она о муже ничего не слышала, хотя постоянно ходила в НКВД о нём узнавать. И только теперь, в 1946 году, пришло официальное сообщение, что Сапунов умер в Саратове и посмертно реабилитирован. Но я всё же не могу отделаться от подозрения, что Сапунов не добрался до Саратова, а погиб ещё в декабре 1941 года. Тогда на станции Кошва только что открытой железнодорожной ветки Котлас—Воркута был сильный затор, и среди пассажиров вспыхнула эпидемия дизентерии. В поездах ехали из разных лагерей заключённые, годные к фронтовой службе, и отбывшие наказание с литерами КРТД — троцкисты. В маленькой Кошве всех поместили в карантин. Но в Кошве не было ни больницы, ни достаточно продуктов. Распространение эпидемии остановили потрясающим способом: по приказу из Москвы все больные были расстреляны. Я думаю, среди них мог оказаться и Сапунов.

Всю зиму 1939/40 года я провела в Кочмесе. Зима там ощущалась ещё в начале сентября. Я выполняла серьёзную работу: белила известью стены только что выстроенного дома, собирала малину, растущую даже на этих северных широтах, и, наконец, сторожила продуктовый склад. Мы были совершенно отрезаны от внешнего мира, знали по слухам, что началась вторая мировая война и что Финляндия напала на Советский Союз[169]. Сталин, значит, начал осуществлять свои планы, о которых Отто говорил мне ещё в 1935 году.

Я и многие другие женщины-заключённые получили во второй половине марта приказ пройти медосмотр. Доктор фон Файт передавала из Воркуты-Вома, что нуждается в моей помощи. Туда как раз должны были перевести на работу часть женщин из Кочмеса. «Раз доктор меня зовёт, значит, там не хуже, чем здесь, а для меня лучше помогать больным, чем возиться с казёнными продуктами», — решила я. Тридцать женщин признали здоровыми. Для чего нужен был медосмотр? Скоро мы это узнали: нам предстояло пройти пешком по льду реки Усы сто пятьдесят километров.

В этот тяжёлый поход отправились почти все финки, с которыми я приехала из Котласа. Все были политические. Охранник с винтовкой вёз в санях наши вещи, относился он к нам

неплохо. Мне доверили ящик с медикаментами.

В начале апреля мы вышли из Кочмеса и, растянувшись в длинную цепочку, двинулись на север. Целыми днями шли по тающему снегу. Ночевали в сторожках, выстроенных для возчиков. Ими обычно были уголовники, в течение зимы они перевозили на лошадях в воркутинские лагеря доставленный в Кочмес летом по воде товар. Пока мы шли, нам попадались порожние обозы, шедшие на юг за грузом. Около избушек всегда было много лошадей с гружёными санями, в избах нары были заняты возчиками. Сопровождавший нас солдат, наш «защитник», каждый раз заставлял их потесниться для нас, так что ночи мы проводили на одних нарах с мужчинами-заключёнными. Уютная спальня и изысканное общество! Обозы трогались в путь ранним утром, мы завтракали и тоже выходили.

Удивительно, что за весь переход заболела всего одна женщина: Мээри-Велламо Салонен, молодая финка из Кякисалми. У неё поднялась температура, когда мы выходили из Кочмеса. Мы уговаривали её остаться, но с поистине финским упрямством она хотела непременно идти с нами. По-русски она не понимала и хотела быть вместе с остальными финнами. Сил у Мээри-Велламо хватило на целую неделю перехода по снегу и льду. Но однажды вечером она упала и больше не смогла подняться. У неё был сильный жар. Я не могла её бросить — осталась с ней, а остальные двинулись с солдатом дальше, чтобы засветло дойти до ночлежной избы. Я сняла пальто, уложила на него Мээри-Велламо.

Наступила темнота. Вокруг ни души. Меня охватил ужас, когда я вдруг вспомнила рассказы о стаях голодных волков. Что делать? Я старалась быть спокойной, утешала больную. Вдруг показалась едущая с севера собачья упряжка. Подъехав, сидевший в ней самоед придержал собак. Я умоляла его вернуться к избе и позвать солдата нам на помощь. Но самоед или не понимал по-русски, или сделал вид, что не понимает. Он погнал собак дальше, и снова я осталась одна с больной. Потом я увидела, что от берега к нам движется что-то тёмное — это была наша тощая лошадёнка, запряжённая в сани. Какое счастье! Это одна из наших, Хилья, вернулась за нами. Мы положили больную в сани и повезли к месту ночлега. На рассвете, когда мы выступили, солдат потеснился в санях, дав место Мээри-Велламо.

Через несколько дней, миновав Абезь, мы остановились перед узкой, но бурной рекой. Её чистые воды текли, видимо, с Урала — и текли прямо по льду Усы. Солдат попытался поискать, нельзя ли найти чистый лёд, но в конце концов решил, что единственный выход — идти вброд. В пальто и валенках мы по

грудь вошли в ледяную воду. На другом берегу мы сняли валенки, вылили из них воду. Самые предусмотрительные переходили босиком, неся валенки в руках, и теперь влезли в сухие. Не промокла лишь больная, она лежала в повозке на узлах. Лошади вода доходила до живота. В тот день мы прошли ещё пять километров, пока не дошли до места ночлега.

Много долгих дней мы брели вдоль берегов замёрзшей Усы и первого мая пришли в Воркуту-Вом. Мы просто валились с ног. Нас отправили в баню, потом разделили на группы и разместили в парусиновых палатках — отдохнуть несколько дней. Я была счастлива снова встретить доктора фон Файт, она работала в больнице. Для Мээри это было последнее путешествие: в Воркуте-Воме она скоро умерла в больнице от воспаления лёгких. Больницей назывались несколько палаток, лечение было весьма сомнительным. Там, правда, работала даже женщина-хирург, но и она не смогла спасти Майре Сало, когда та, вскоре после нашего прибытия, умерла от аппендицита. Майре с мужем приехала из Рованиеми строить социализм, муж её был давно расстрелян.

В Воркуте-Воме лагерь был совсем небольшой. В том месте неширокая река Воркута впадает в Усу. Во время короткого лета сюда доставляли по реке продукты и прочий груз для лагерей этого района. Хранился груз на складах, а зимой его везли дальше на лошадях. В Воркуте-Воме было только три группы палаток из парусины и три небольших деревянных дома: в одном — канцелярия коменданта лагеря, в двух других — поликлиника и баня. Позже Воркута-Вом расширилась, там выстроили восемь больничных бараков. В новой больнице, которую называли сангородок, было большое психиатрическое отделение для мужчин и поменьше — для женщин.

До нас доходило мало сведений о жизни на свободе, но кое-что мы иногда слышали. Летом 1940 года я познакомилась с молодым литовцем, арестованным совсем недавно. Он рассказывал жуткие подробности о финской войне. Несмотря на моё мрачное настроение, сердце моё исполнилось благодарностью и гордостью. «Во всех странах, на всех языках превозносят смелость и патриотизм финнов. О Финляндии теперь знают даже в тех местах, где раньше о ней никогда и не слышали», — говорил он.

Летом 1940 года в Воркуту-Вом назначили нового коменданта. Однажды я получила приказ к нему явиться. Это был высокий человек в кителе без знаков отличия. Он дружелюбно со мной поздоровался, справился о здоровье, о том, по какой статье я осуждена; наконец спросил, что я думаю о войне между Финляндией и Советским Союзом. Я ответила, что слышала по

радио о начале войны, но больше ничего не знаю.

— Война кончилась? — спросила я.

— Да. Но как! Русские не смогли ничего с финнами поделать, — сказал он. И продолжал: — Я командовал участком фронта, знаю всё досконально. На меня взвалили вину за поражение.

Он был офицером высокого ранга, и он открыто рассказывал о своих впечатлениях, ответил на мои расспросы.

— На моем фронте мы увязли в сугробах. Финны — прирождённые лыжники, они стремительно проносились мимо нас и исчезали как привидения. А наши бойцы, в своих тяжёлых шинелях, неуклюжих валенках, еле ковыляли. По глубокому снегу в такой обуви ходить невозможно. В валенки набивался снег, таял, и солдаты часто обмораживали ноги. Целые санитарные эшелоны, полные раненых и обмороженных солдат, шли в Ленинград, скоро там были переполнены все госпитали. Поэтому раненых, в конце концов, пришлось размещать в семьях ленинградцев. Почти все мои бойцы сильно обморозились. Что я мог сделать? Но меня судили и отправила сюда, в Воркуту.

Позднее ещё один офицер в высоком чине говорил мне о финских солдатах, сравнивая с русскими: «Русские бойцы воевали без всякого воодушевления и самоотверженности. Они были обязаны воевать, обязаны выполнять приказ». Я у него спросила: «Как вы думаете, что привело к войне? Судя по советской печати, войну начали финны». — «Враньё! Ни один даже самый тупой боец не сомневался, что войну начали мы. Все понимали, что наше правительство хотело сделать Финляндию советской. Но я, — продолжал он, — больше ни за что не стал бы участвовать в такой войне. Лучше уж сразу застрелиться».

Поздней осенью 1940 года мы слушали специальную радиопередачу, которая транслировалась по всем радиостанциям Советского Союза. Передавали речь Куусинена, в которой он поздравил народ Эстонии с «мудрым решением» присоединиться к Советскому Союзу. Я стояла перед своим бараком под репродуктором по колено в снегу, слушала речь своего мужа и пыталась вообразить, какие чувства испытывали эстонцы — мои товарищи по несчастью, слушая это «приветствие».

Работы у меня в поликлинике было много, отдыха я не знала. Правда, однажды получила по болезни четырёхмесячный «отпуск». В конце марта 1941 года мне было объявлено, что комендант всех воркутинских лагерей генерал Тарханов приказал мне прибыть в Воркуту, чтобы стать его личной медсестрой. Я испугалась, но отказываться и думать было нечего. Пришлось ехать на лошади на север, километров за шестьдесят. Мороз стоял сильный, но всё же на этот раз я ехала, а не шла пешком по

замёрзшей Усе. Вёз меня убийца и грабитель, по дороге он мне рассказывал о таинственной жизни уголовников, я многое узнала о преступном мире.

В Воркуте я явилась к главному врачу санитарной части, он отправил меня к генералу. Но по дороге я поскользнулась и сломала правую руку в запястье. Генерал велел положить меня в больницу для вольных. Там выяснилось, что у меня перелом двух костей. Мне наложили гипс на четыре месяца и в июле 1941 года отправили назад в Воркуту-Вом. На этот раз я летела самолётом, которым обычно возили почту. Так я генерала ни разу и не увидела. Как я была рада, что снова оказалась среди старых друзей!

Должна рассказать немного о «вольных». Так назывался персонал, администрация, штатские и военные чиновники и бывшие заключённые, которые, отбыв наказание, оставались в Воркуте. Обычно бывшие заключённые занимались какой-нибудь специальной работой. Оставались потому, что заработки здесь были в три раза больше, чем на юге. Вольными считались и те, кому было запрещено выезжать из Воркуты, хотя срок их заключения уже кончился.

По радио в воркутинской больнице я услышала, что 22 июня 1941 года Гитлер напал на Россию. В официальных донесениях пытались скрыть факт отступления Советской Армии. Мы считали, что причина поражений — низкий моральный уровень армии. Заключённые непроизвольно старались избегать разговоров о войне, каждый надеялся теперь на освобождение. Но для находившихся в нашем лагере немцев и многих финнов война сыграла роковую роль, их перевели в спецлагерь в Инту. С ними исчезла и доктор фон Файт. Я осталась в Воркуте-Воме и, кроме недолгого пребывания в Воркуте в 1941 году, пробыла здесь с мая 1940 года до начала апреля 1943. Мне запомнилось несколько встреч с заключёнными-финнами.

В сентябре 1940 года в нашей зоне начали строить узкий, огороженный забором коридор от главного входа до недавно раскинутого нового палаточного лагеря. Мы не знали, зачем эти заборы, шутили, что арестовали, видно, стадо овец и погонят по тому коридору. Но когда проход был готов, оказалось, что палатки не для овец, а для сотни финских военнопленных. Мне велели выяснить, есть ли среди них больные, но конвойный, который был со мной, не дал мне с ними толком поговорить, я успела дать им только несколько таблеток от головной боли. На следующий день финнов отправили в бескрайнюю тундру, они исчезли навсегда.

Летом я работала в маленькой поликлинике для портовых

рабочих Воркуты-Вома. Там десятник, тоже из заключённых, привёл ко мне мужчину и сказал:

— Осмотрите. Он, наверное, болен. Это очень хороший работник, но трое суток он просидел неподвижно на берегу. Не понимает по-русски ни слова.

У мужчины был сильный жар, нужно было отправить его в больницу. Но я не могла написать направление — он не отвечал ни на один мой вопрос. Я пыталась говорить с ним по-русски и по-немецки, но больной только молча смотрел на меня своими большими глазами. Его потрёпанная серая шинель показалась мне чем-то знакомой, и я спросила по-фински, как его зовут.

— Леуко, — ответил он обрадованно. — Вы говорите по-фински?

Так разрешилась загадка — это был лейтенант финской армии. Мне некогда было долго с ним разговаривать, но, кажется, он служил на границе. В больнице выяснилось, что у него воспаление лёгких. Скоро он поправился. Я его видела мельком и позже, но о дальнейшей его судьбе ничего не знаю.

Смертность среди заключённых, работавших в угольных шахтах, постоянно росла. Поэтому осенью 1941 года из Москвы пришёл приказ построить и оборудовать в Воркуте-Воме восемь больничных бараков на восемьдесят коек каждый. Меня назначили старшей медсестрой одного из бараков. На этой работе я столкнулась с двумя молодыми финнами, одного из них звали Вилхо Рёпелинен, фамилию другого не помню, звали его Рейно. Вилхо был краснощёкий синеглазый деревенский парень, а Рейно — щуплый горожанин, оба служили в погранотряде, попали в плен при внезапной атаке русских. О Вилхо больше ничего не знаю. Рейно умер от туберкулёза. Я изо всех сил пыталась ему помочь, до сих пор часто вспоминаю его благодарные, встревоженные, глаза.

Однажды офицер велел идти с ним на берег реки, там двое заключённых возились с лодкой.

— Может, вы сможете разрешить эту загадку, — сказал он. — Оба — финны, но друг друга не понимают.

Одного из них я знала, фамилия его была Келтакаллио, второго я раньше не видела. Когда я спросила его имя, он ответил по-шведски:

— Я по-фински не понимаю.

Я заговорила с ним по-шведски, и он рассказал, что он рыбак, швед, живёт около Ханко на берегу Финского залива, фамилия его Линдстрём. Летом 1940 года он вышел с братом в море ставить сети, их остановил большой советский катер и увёз, захватив сети и лодку, в Ленинград. Там их посадили в Кресты.

Брата отправили куда-то в другое место, а сам он оказался в Воркуте! Скоро после этого Келтакаллио и Линдстрём исчезли.

В июне 1940 года в Воркуту-Вом приплыла на речном пароходе группа женщин-заключённых, среди них была родившаяся в Америке молодая Сента Роджерс. Родители её были латыши, эмигрировали из Риги в США. Скоро мы с Сентой подружились, она мне рассказала о своей жизни. Отец Сенты поменял фамилию Рудзутак на английскую — Роджерс. Его брат, оставшийся в Латвии, Ян Рудзутак[170], стал наркомом. Он был другом Ленина, но в 1938 году расстрелян как контрреволюционер. Отец Сенты, поддавшись на уговоры брата, переехал с семьёй в Москву, стал техническим экспертом, но скоро и он, и его жена были ликвидированы.

Сента приехала в Москву, когда ей было тринадцать, а в девятнадцать её арестовали по обвинению в шпионаже в пользу США и приговорили к смерти. Сенту перевели в камеру смертников на Лубянке, но президент Калинин, на основании её прошения о помиловании, заменил смертную казнь десятью годами лагерей. Из Воркуты-Вома Сенту перевели в Воркуту, в лагерь для особо опасных преступников, из которого мало кто выходил живым.

В Воркуте я познакомилась с госпожой Отт, бывшей служащей французского посольства в Москве. Одновременно она была главой московской католической церкви. Религиозная деятельность и была «тяжким преступлением», за которое она была арестована. Всё произошло из-за визита генерала де Голля[171] в Москву в 1944 году. Генерал изъявил желание присутствовать на мессе. Кремль оказался в затруднительном положении. Срочно было решено привести в порядок годами бездействовавшую католическую церковь, найти пастора. Осуществить это оказалось не так трудно. Но госпожа Отт допустила роковую для себя ошибку. Она не только велела убрать церковь цветами и свечами, но привезла из посольства большое кресло, покрыла его дорогим покрывалом и поставила перед алтарём для де Голля. Именно из-за этого кресла она и была арестована, и не только она сама, но и её девятнадцатилетняя дочь. Госпожа Отт показывала мне фотографию этой очаровательной девушки. Девушка на Лубянке лишилась рассудка и попала в психиатрию.

Лучшей подругой госпожи Отт была старая петербургская дама баронесса Клодт, они часто играли в шахматы. Баронесса была настоящей аристократкой. Ни разу она ни на что не пожаловалась, была со всеми дружелюбна и внимательна. Она была арестована в Берлине в 1945 году. Единственное её

преступление состояло в том, что она покинула родину в 1917 году, во время большевистской революции. Её отец барон Клодт — известный петербургский скульптор, автор конных фигур Аничкова моста. Вскоре после нашего знакомства тяжёлый сердечный приступ вызволил баронессу из заточения.

Когда однажды под вечер осенью 1942 года я делала с санитаром в бараках обычный обход, я наблюдала, как совершенно мокрые заключённые возвращаются с работ под проливным дождём. Они сняли насквозь промокшую одежду и разложили на полу в сушильной комнате, многие оставили там и мокрые сапоги. Когда я открыла дверь сушилки, мне стало нехорошо от отвратительного запаха мокрой рабочей одежды.

Вдруг я уловила какое-то движение среди сушившихся фуфаек: санитар подошёл и подтащил к выходу человека в мокром пальто. Тот попытался встать, но не смог даже приподняться. Это был японец, я видела, как тяжело он болен. Вместе с санитаром я отвела его в поликлинику, чтобы оттуда переправить в больницу. Он слабым голосом отвечал на мои вопросы и, как в Японии принято, вежливо улыбался. Японская компартия послала его своим представителем в Коминтерн в Москву, он был членом Исполкома. На следующий день я узнала, что он умер в больнице. Его не расстреляли в Москве, как многих других коминтерновцев, в отличие от них, он достиг той же конечной цели, изнемогая от голода и холода в тюрьмах и лагерях.

В апреле 1943 года меня из Воркуты-Вома переправили на поезде в Воркуту. Ветка из Кошвы в Воркуту в конце 1942 года была почти готова, но выравнивание и наладка рельсового пути длилась ещё несколько лет. Меня сперва назначили старшей медсестрой лагерной больницы. Здесь лечили заболевших от недоедания и нехватки витаминов заключённых, не из человеколюбия, а чтобы они снова как можно скорее могли приступить к работе. Чаще всего встречалась болезнь пеллагра — от недостатка витаминов происходили тяжёлые нарушения пищеварения и расстройство нервной системы. Ежедневный рацион был явно недостаточен для людей на тяжёлых работах в шахтах. Мужчины получали утром только овсяную баланду, а вечером — жидкий суп и восемьсот граммов чёрного хлеба. Не было ни картошки, ни овощей. Лишь в более поздние годы каждый стал получать около полкило сахара в месяц. Но всё это получали только те, кто выполнял в шахте норму. Те, кто с нормой не справлялся, были в ещё более ужасном положении. Они получали так называемый «штрафной котёл» — двести граммов хлеба. Нагрузка у людей была столь непосильной, что

при таком питании жили они недолго.

Заключённых поднимали в пять утра. Они шли пешком два километра до шахты и работали с восьми часов утра до восьми вечера. Не удивительно, что почти все были больны. Надо, правда, признать, что доктор Семашко[172] в министерстве здравоохранения прилагал все силы, чтобы поправить положение. Именно его стараниями мы получали некоторые лекарства и, что ещё важнее, свежую кровь, молоко и мясо для больных пеллагрой.

После лечения в течение четырёх или даже восьми недель многие мои пациенты выздоравливали. Но всё равно смертность среди работавших в шахте была очень высокой — у нас не хватало мест для всех нуждающихся в лечении. НКВД это не печалило: человеческая жизнь ценилась чрезвычайно низко. Более чем странным казалось требование составлять в пяти экземплярах заключение о смерти и посылать его в министерство здравоохранения. В документе надо было дать подробную картину болезни, указать причину смерти. Работавшие в шахтах гибли от голода, но об этом упоминать запрещалось.

Каждое утро в маленькой комнатке складывали друг на друга голые, худые, как скелеты, трупы. Когда их как следует прихватывал мороз, трупы вывозили на санях. Я однажды спросила возчика, где же трупы хоронят. «Бросают в тундре», — ответил он. Вот и все похороны! На радость волкам. Правда, в этих северных широтах земля не оттаивала даже летом, огромного труда стоило бы вырыть могилу хотя бы в метр глубиной. Когда таяли снега, олени обгладывали разлагающиеся на солнце трупы и заболевали. Олени принадлежали зырянам, кочевому народу, и власти республики Коми писали в Москву жалобы, но советское правительство не считало нужным вмешиваться.

С постройкой железной дороги воркутинский лагерь заметно расширился. Стройматериалы подвозили на поездах, заключённые построили административные здания, электростанции, жилые дома, бараки, театр и многое другое. При лагере было даже хирургическое отделение, там лежали получившие травмы в авариях на шахте. Я проработала там свыше трёх лет старшей медсестрой. Каждый раз, когда открывали новую шахту, число наших пациентов резко возрастало. Поэтому неподалеку от шахт в 1946 году построили новую поликлинику. Там мы оказывали раненым первую помощь, а затем их переправляли в хирургию.

Строительство железной дороги от Кошвы до Воркуты стоило жизни тысячам заключённых. Строительством ведало НКВД, руководил работами инженер Френкель[173]. Он был осуждён ещё

в 20-х годах по шахтинскому делу[174]. В 1928 году служба безопасности обвинила советских инженеров и специалистов в сотрудничестве с контрреволюционными элементами за границей, в создании контрреволюционной шпионской и подрывной организации. Центр организации был якобы в Париже, называлась она промпартией[175]. Целью организации было свержение советской власти и восстановление в СССР капитализма. В принадлежности к промпартии обвинялись инженер Рамзин[176] и несколько других известных инженеров. Никакой партии и никакого заговора, естественно, не существовало. Всё это — выдумки госбезопасности, которая нашла козлов отпущения, когда первая пятилетка оказалась на грани провала. Процесс над промпартией начался 18 мая и закончился 5 июля 1928 года. Назывался он шахтинским, потому что промпартия свою подрывную работу сосредоточила якобы в городке Шахты, в Донбассе. Одиннадцать обвиняемых были приговорены к смерти, тридцать с лишним — к долгим срокам заключения. К последним принадлежал и Френкель. Но в тюрьме он пробыл недолго, получил задание от госбезопасности руководить строительством Беломорканала. Канал соединил Финский залив (через Неву, Ладогу, Свирь) с Белым морем.

Френкель дал обязательство построить канал в немыслимо короткий срок, если ему будет предоставлено достаточно рабочей силы. ГПУ выполнило его требования. Десятки тысяч заключённых, в основном политических, доставляли в глушь Восточной Карелии, где их заставляли трудиться в нечеловеческих условиях. Кормили плохо, больных не лечили, люди умирали от голода и болезней. Видимо, никогда уже не выяснить точное число жертв, ясно одно: их многие тысячи. Канал имени Сталина был готов в срок, в 1933 году, и в награду Френкель был освобождён.

Его ждала новая грандиозная работа — строительство железной дороги до Воркуты. Что было проку в огромном количестве угля, добытого в воркутинских шахтах, если его можно было вывозить только по реке во время короткого лета? Нужна была железная дорога.

Итак, приступили к строительству четырёхсоткилометровой ветки через безлюдные болота и топи. Руководил строительством Френкель. Снова бессчётное количество рабочих и снова та же трагедия — гибель многих тысяч заключённых, как и на сталинском канале. Условия в воркутинской глуши были ещё хуже, к тому же там суровый арктический климат. Но человеческие резервы воркутинского лагеря были неисчерпаемы и тратили их нещадно.

В течение нескольких лет каждый заключённый на вечерней поверке с ужасом ждал, что бригадир зачитает его фамилию в списке тех, кто утром пойдёт на строительство железной дороги. «Списочных» на ночь запирали, хотя у них и не было никакой возможности избежать этой работы. Мало кто из них возвращался в лагерь. Оставшиеся в живых рассказывали страшные вещи. Кормили плохо, больными никто не занимался. Упадёшь, ослабев, и не сможешь подняться — тут же пристрелят. Трупы укладывали вместо шпал — древесины не хватало, в тех широтах лесов нет. Зимой, когда земля промерзала, рельсы, положенные на трупы, выдерживали немалое движение. Но летом, когда земля в Воркуте превращается в глинистое месиво, движение прекращалось. Один заключённый, работавший машинистом, рассказывал мне, что иногда людские кости не выдерживали тяжести паровоза и рельсы проседали то с одной, то с другой стороны. Он рассказывал, что испытывал ужас, чувствуя, что паровоз вот-вот провалится и его поглотит топь. «А зимой, — рассказывал он, — можно не бояться, под колёсами только похрустывает окаменевшая тундра».

Когда осенью ударяли морозы, движение возобновлялось, и на большую землю текли целые реки каменного угля. Жаль, те, кто пользовался этим углём, не знали, ценой каких нечеловеческих страданий они получают тепло и свет! Они ничего не знали о тысячах заключённых, разложившимся трупам которых они обязаны теплом в своих домах. Ну а Френкель? Он всё ещё был в почёте, Сталин признал его заслуги, пожаловав в генерал-лейтенанты. Но для воркутинских заключённых это был самый ненавистный и презираемый человек во всей стране.

Воркута постепенно разрослась, стала городом, правда, основное «население» содержалось в зонах за колючей проволокой. В каждой зоне было пятнадцать-двадцать бараков, в каждом содержалось по сто, иногда по двести человек. Зоны занимали огромную площадь, общее число заключённых — многие, многие тысячи. В зоне жили и мужчины и женщины, уголовников не отделяли от политических. Уголовники, урки — убийцы, грабители и воры — обычно были бригадирами. Они были наглые и жестокие, и если они отказывались работать, никто с ними ничего не мог поделать. Главари назывались паханами. Они командовали остальными, и если те не подчинялись, их избивали, иногда до смерти. Но самое удивительное, что главари относились к политическим заключённым с уважением, никогда их не мучили. К женщинам они вообще не подходили.

Большая часть политических в Воркуте была из

интеллигенции, многие в прошлом были членами партии — служащие, офицеры, врачи, профессора вузов и т. д. Очень много было солдат, бывших военнопленных, тех, кто не застрелился, когда его брали в плен, а бежал из немецкого плена и вернулся в строй.

Многие женщины были осуждены как члены семей контрреволюционеров, за «недонесение». Называли их просто «жёны». Работали они либо на кухне, либо уборщицами в принадлежащих зонам пекарнях, прачечных, больничных бараках. Работали и вне зоны, чаще всего домработницами у начальства. Работа эта была гораздо легче, чем работа мужчин в рудниках, и умирали они реже. Возможно, справедливо и то, что женщины обычно выносливее мужчин, легче переносят суровые условия.

Война принесла освобождение многим заключённым. Офицеров на фронте катастрофически не хватало, в Воркуте же их было множество, приговорённых к большим срокам. Их иногда отправляли в действующую армию.

Помню генерала, позже маршала Константина Рокоссовского[177], арестованного в 1937 году, когда Сталин ликвидировал в армии «ненадёжные элементы». В лагере у Рокоссовского была унизительная работа: он был денщиком у совершенно необразованного, очень грубого конвоира Бучко. Он приносил Бучко еду, топил печь, убирал его небольшую квартиру. Позже до нас дошли слухи о блистательной карьере генерала. Генерал прислал бывшему своему хозяину, дураку Бучко, письмо. Я читала его собственными глазами, комендант лагеря дал почитать письмо своей жене, работавшей зубным врачом, а та показала его мне.

Письмо было лаконичным: «Гражданин начальник! Меня сделали генералом армии. Пайка здесь приличная. Ваш бывший денщик Рокоссовский».

В Воркуте были представлены все многочисленные национальности, живущие в СССР, было много украинцев, осуждённых в основном за «буржуазный национализм». Они держались вместе, дружно, все обладали завидной душевной силой. Я не могла не любоваться их волей, внутренней энергией, их ненавистью к правительству, державшему их в заключении. Любовь украинцев к родине, своему языку и культуре была безгранична.

Из иностранцев я встречала в лагере представителей почти всех национальностей Европы и Азии. Много было эстонцев, латышей, литовцев, чаще всего эта были простые крестьяне, реже — интеллигенция. В конце войны в Воркуту привезли военнопленных, немцев и венгров, но их поместили в таких

дальних зонах, что у меня не было возможности с ними познакомиться, исключая батальон СС из Латвии — у них я делала прививки от дизентерии.

Воркута находится севернее Полярного круга, зима там длится десять месяцев. Темнота полярной ночи, которой, казалось, нет конца, ещё больше омрачала и без того чёрное настроение. Метели и лютые морозы для плохо одетых заключённых означали новые страдания и смерть. Морозы часто доходили до пятидесяти градусов! И всё же страшный холод был не так ужасен, как пурга, хоронившая бараки под снегом по самые трубы. В такую пургу на улицу выходить было опасно, посланные расчищать снег заключённые часто гибли. Чтобы выйти из барака, сначала надо было прорыть от двери туннель. Если кого-нибудь интересует, как вообще можно лютой зимой жить в бараках, могу ответить: угля было вдоволь, огонь в печи горел постоянно, и я не помню, чтобы мне приходилось в бараке мёрзнуть.

Однажды распространился слух, что исчез офицер НКВД. Поднялся шум, казалось невероятным, чтобы человек — да что человек — офицер! — мог ни с того ни с сего исчезнуть. Заключённый — другое дело, они часто, если выходили в пургу, теряли силы и погибали. Но офицеру такая опасность, казалось, не угрожала. Пурга продолжалась двое суток. Когда она кончилась, офицер появился, живой и невредимый, и рассказал о таком происшествии.

Он поехал верхом в пятую зону, которая была в тундре, в нескольких километрах от нашей. Конь брёл по глубоким, до живота, сугробам, потом вдруг остановился — и ни с места, ни вперёд, ни назад. Офицер спешился, и лошадь упала в снег. Уже начинало смеркаться, и человек понял, что единственный выход, чтобы не замёрзнуть, — прижаться вплотную к лошади. Так они вместе и провели двое суток в сугробе. Когда пурга утихла, офицер на лошади вернулся в зону.

Мы спросили, не холодно ли было в сугробе, он ответил: «Под снегом было даже довольно тепло. Правда, обоим очень хотелось есть».

Когда замерзаешь, страданий не испытываешь, я об этом слышала много раз, когда приводили в чувство, казалось, насмерть замёрзших. Все они рассказывали одинаково: их охватывал какой-то благодатный покой и они засыпали.

Лишь в июне солнце поднималось высоко, стояло в небе странным бледным диском. В августе оно снова исчезало и появлялось только через десять месяцев. Зато в течение двух месяцев оно светило день и ночь. Грело, правда, мало. Раз даже 14 июня выпал снег, заморозки начинались уже с 6 августа. Тучи

гнуса лишали возможности радоваться убогому лету.

В районе Воркуты жили два местных племени — коми, или зыряне, и ненцы. У народа коми была автономная республика, у ненцев — национальный округ. Но существовали они только на бумаге, все решения принимались русскими чиновниками. Коми и ненцы — кочевые народы, занимались разведением оленей и промыслом рыбы в Северном Ледовитом океане. Хлеба и овощей они не знали. Оленину и рыбу ели сырыми, пили оленье молоко и оленью кровь. Жили в юртах — более первобытное существование трудно себе представить.

Если не ошибаюсь, в 1943 году в зону прибыли сорок три женщины, все финки. Лет за десять до этого они переехали в Восточную Карелию строить социализм. Приехали в СССР вместе с мужьями, многие на своих моторных лодках переплыли Финский залив и дошли до Ленинграда. И что же? Скоро всех их посадили в Кресты, ленинградскую тюрьму, мужчин отдельно от детей и женщин.

Всего с ними было восемнадцать детей, два мальчика-школьника, остальные младше. Изо дня в день в тюрьме их кормили кислыми щами и чёрным хлебом, и многие дети умерли от поноса. О мужьях женщины ничего не знали, но однажды увидели их в коридоре тюрьмы, отощавших как скелеты. Их потом отвезли под Челябинск и там, в сибирских лесах, заставили строить кирпичный завод и бараки. Когда работа была окончена, мужчин расстреляли, а женщины кочевали из тюрьмы в тюрьму и в конце концов оказались в Воркуте.

Когда эти финки узнали, что я говорю по-русски, то попросили быть их переводчиком. Они хотели узнать у начальника зоны, за что осуждены. Мы пошли к коменданту, я перевела ему вопрос женщин. Он достал из шкафа кипу бумаг.

— Скажите им, что они обвиняются по 58-й статье, части 6-й. Шпионаж. И каждая собственноручно подписала признание.

Продолжать с ним разговор было бесполезно, и мы вернулись в барак. Там женщины сказали, что они действительно подписывали какие-то бумаги на русском языке, но что там было написано — они не знали. Некоторые из них сомневались, надо ли подписывать бумагу, но говоривший по-фински мужчина им разъяснил, что в бумаге написано, что их доставят к мужьям. Тогда все женщины расписались, не подозревая, что признаются таким образом в шпионаже по заданию финской государственной полиции. Они не знали даже, что такое шпионаж, мне пришлось разъяснить, они, несмотря на подавленное состояние, расхохотались. Одна из них сказала:

— Неужели русские действительно думают, что мы знаем,

как этим заниматься?

Восточную Карелию они так и не увидели, хотя вербовали их именно туда, и теперь они работали из последних сил на жгучем воркутинском морозе. Мало кто из них выжил. У всех оставались в Финляндии родные, женщины тосковали по дому.

В этих бесчеловечных условиях чужбины тоска по родине мучила почти всех. Трогательно об этом сказал финн Хейккинен, простой рабочий, с которым я часто встречалась в Воркуте. Когда я спросила, как он оказался в Воркуте, он ответил:

— За это я должен благодарить только самого себя, — он грубо выругался. — Я без конца говорил всем, что надо ехать на работу в Карелию. Туда подалось множество финнов, вот я, одинокий холостяк, и подумал: а ну-ка, съезжу туда, посмотрю, что и как, не понравится — так вернусь. Я поехал не прямо, обычным путём, а через Печенгу, там с компасом перешёл границу. Но прежде я долго сидел у подножия красивой сосны, раздумывал, переходить границу или нет. Вот видите, перешёл, и теперь десять лет день и ночь жалею об этом.

Я сказала, что, может, мы ещё вырвемся отсюда и вернёмся в Финляндию. Хейккинен подумал немного и сказал:

— Меня в Финляндии никто не ждёт. Но я знаю, что первым делом сделаю, если туда вернусь. Поеду в Печенгу, пойду к границе и ещё раз взгляну на ту сосну, у подножия которой я думал, идти в СССР или нет.

Когда я спросила, что он с этой сосной сделает, он ответил:

— Я обниму её, прижму к груди, поцелую. Больше ни о чём на свете я не мечтаю.

Помню, как у него блестели глаза, когда он говорил об этой сосне на земле его родины. Но когда я ему заметила, что в Печенгу будет не так-то просто попасть — она принадлежит теперь Советскому Союзу, Хейккинен тяжело вздохнул:

— Вон как, они отняли у меня даже сосну!

Когда в 1945 году закончилась война, заключённые ждали большой амнистии. Но напрасно. Освобождена была только часть уголовников, ни один политический заключённый под амнистию не подпал. Через какое-то время в лагерь прибыло несколько тысяч власовцев, воевавших на стороне немцев. Многие из них были в кандалах. Этих несчастных поместили в дальних зонах, заставили работать в угольных шахтах. Я случайно видела одного из них, полковника, его привезли ко мне в больницу. Когда он узнал, что я из политических, то сказал, что скоро его расстреляют, уверял, что ненависть его к правительству останется жить и после него.

Из иностранцев в Воркуте хорошо помню детского врача

Александра Томсена, он появился в лагере в 1945 году. В конце войны он работал главным врачом отделения скорой помощи скандинавского Красного Креста в Берлине. Когда русские взяли город, он и весь персонал были арестованы. Обвинялся Томсен в шпионаже. Здесь, в Воркуте, он работал врачом. По-русски он не говорил, и я часто ему помогала. Однажды я была переводчиком, когда он просил у начальника лагпункта разрешения послать письмо брату, работавшему, кажется, в министерстве иностранных дел Дании. В письме он просил прислать витаминов и различных лекарств.

Начальник обещал отправить письмо, но не думаю, что он обещание своё выполнил. В декабре 1946 года, когда я перед отъездом из Воркуты прощалась с доктором Томсеном, он дал мне письмо для своего брата, просил опустить его в Москве. В 1965 году, выехав из Советского Союза, я узнала, что доктор Томсен провёл в Воркуте ещё десять лет и лишь тогда получил разрешение вернуться в Данию.

Часто видела я своего старого знакомого майора Сироткина, который был когда-то адъютантом генералов Берзина и Урицкого. Вопросов мы друг другу не задавали, но я не сомневалась, что он был арестован как иностранный шпион. Удивительно, что его не расстреляли. По профессии Сироткин был инженер-строитель, под его руководством в Воркуте выстроено много домов. Освободившись из лагеря в Потьме, я в 1955 году случайно узнала в Москве, что Сироткин всё ещё в Воркуте, но его должны были скоро освободить.

За границей широко распространено представление, что в царском и большевистском правосудии много общего — правовой защиты никакой, с народом обращаются зверски. У меня нет особых причин брать под защиту царизм, я помню, что говорили в школе и дома об угнетении царизмом моего народа. Но за долгие годы моей учёбы «в высшей академии коммунизма» я невольно сравнивала эти две системы.

При царизме людей осуждали и высылали на месяцы и годы в отдалённые районы «административным порядком», без суда. Но в большинстве случаев ссылка того времени переносилась довольно легко, а зачастую неблагонадёжных просто высылали из страны. Ссыльные могли устраивать жизнь по своему усмотрению, государство выплачивало им по девять рублей золотом в месяц, а в то время денег этих в провинции вполне хватало. Деньги ссыльные могли тратить как хотели, в месте ссылки они могли передвигаться свободно, даже вызывать к себе родственников на время или на постоянное жительство. Переписка была разрешена, ссыльные могли заказывать себе

книги, газеты и другие необходимые им вещи.

Показательна ссылка Ленина в Сибирь, в Шушенское, неподалеку от Минусинска, где он провёл около двух лет, 1898—1900. Он вызвал к себе невесту, и они в ссылке поженились. Многие из его товарищей ездили к нему за советом. Ленин охотился, свобода передвижения в окрестностях не ограничивалась. Посылал письма за границу и за время ссылки написал книгу «Развитие капитализма в России». Вернувшись из Сибири, он подал прошение и получил паспорт для заграничного путешествия.

Но главное различие состоит в том, что при царизме без оснований не осуждали. Обычно приговору предшествовало судебное разбирательство, где обвиняемый имел право защищаться. Исправительных лагерей тогда не было, смертные приговоры выносились редко, их осуждали в печати.

Никогда уже точно не установить, сколько народу погибло при Сталине, но ясно, что жертв — сотни тысяч. Смертные приговоры выносились без суда, не щадили ни рядовых коммунистов, ни членов ЦК. Из 139 членов ЦК в 1937—1938 годах казнено 98 человек: 70 процентов!.. Из 1966 делегатов восемнадцатого съезда было расстреляно 1008, больше половины, эти данные привёл Хрущёв в своём знаменитом докладе на двадцатом съезде партии[178].

Весной 1938 года я в Бутырской тюрьме познакомилась с женщиной, бывшей при царе в ссылке. Теперь её снова арестовали. Когда конвойный ввёл новенькую, она, улыбаясь, с нами поздоровалась и сразу стала расставлять на столе алюминиевые миски, сосчитав прежде, сколько нас в камере. Когда принесли котёл с супом, она ловко разлила суп по мискам. «Вы здесь точно у себя дома», — сказала одна из женщин, на что новенькая ответила: «Я в Бутырках не в первый раз, уже в третий». И она рассказала нам о себе. «В первый раз я оказалась здесь вместе с мужем: это было в годы студенчества, до революции. Нас арестовали за революционную деятельность, приговорили к году заключения. Освободившись, мы снова стали участвовать в антицаристских заговорах, и опять нас арестовали и посадили в Бутырки. При медицинском осмотре обнаружили, что я беременна. Поэтому меня не приговорили к тюремному заключению, как того требовал прокурор, а нас обоих сослали в Карелию. Там мы жили в деревне, получали от государства денежную помощь. Но там почти всё время лежал снег, было очень холодно. Я к тому же беспокоилась о нашем будущем ребёнке — вдруг мне нужна будет врачебная помощь. У мужа были слабые лёгкие. Ему было запрещено выезжать из деревни, а

я могла передвигаться свободно, и он послал меня в сопровождении нашего хозяина-крестьянина в Петрозаводск просить губернатора о переводе в другое место. Губернатор был очень любезен, но дать нам разрешение на переезд он не имел права. По его предложению муж послал заключение врача о своём здоровье и письменное прошение. Через несколько дней посыльный привёз нам от жены губернатора посылку с продуктами и детской одеждой. Скоро мы получили на наше прошение положительный ответ — разрешение переехать в центральную Россию».

Мы, слушавшие эту историю, с трудом могли поверить, что при царском режиме с политическими заключёнными обращались как с людьми, судили в соответствии с законом. Больше я про эту женщину, бывшую в Бутырках в третий раз, ничего не слышала.

Я читала много воспоминаний людей, приговорённых при царе к ссылке или тюремному заключению. Ни один из них не утверждает, что его осудили без всякого повода. Наоборот, они всегда открыто признают, что со всей энергией активно участвовали в нелегальной работе, целью которой было свержение царизма. Большинство старых большевиков отсидели в царских тюрьмах многие годы, но остались живы. Погибли они лишь тогда, когда против них повернулось советское правительство. Многие из этих старых большевиков теперь посмертно реабилитированы, честь их восстановлена. Прав был тот, кто горько пошутил: «Христиане верят в воскрешение после смерти, а коммунисты — в посмертную реабилитацию».

ГЛАВА СЕДЬМАЯ. Что в Советском Союзе означает освобождение

Освобождение из заключения должно для заключённого означать радость, свободу, возвращение домой. Тот, кто никогда не жил в Советском Союзе, даже не может себе представить, как недосягаемы здесь для освободившегося счастье и свобода. В других странах для отбывших заключение существуют специальные организации, которые на первых порах оказывают им помощь. В Советском Союзе не так. Там после освобождения начинается суровая бесконечная борьба за существование.

Во-первых, освободившийся из заключения не имеет права жить во многих городах. В документах, которые мне выдали в Воркуте, было написано, что я вышла из заключения. Кроме того, там было несколько тайных пометок, знакомых каждому милиционеру. Мне было запрещено жить в тридцати девяти городах, в том числе в Москве, Ленинграде, Киеве. Самое же неприятное, что люди обычно стараются избегать бывших политических заключённых, боятся их как чумы, лишь бы самим не попасть под подозрение. Родственники и друзья часто не осмеливались помогать вернувшемуся из лагеря, не пускали даже переночевать. Правда, были и такие, кто к освободившимся относился особенно дружелюбно и оказывал им всяческую помощь.

Если бы я вернулась к мужу, мне бы, конечно, разрешили жить под его покровительством в Москве. Но я чувствовала себя оскорблённой и возвращаться к нему не собиралась. Оскорблённое самолюбие заставило меня начать новую жизнь вдалеке от него и без его помощи. Мне нужны были работа и жильё. Приехав в Москву, я сразу пошла к моей бывшей домработнице Александре Сельдяковой, которой написала о своём освобождении ещё из Воркуты. Они с мужем жили в уютной, чистой квартире. Приняли они меня сердечно, на первое время оставили у себя. Последний раз, уезжая в Японию, я оставила Александре на хранение кое-какие свои вещи. Она все сохранила.

Но покоем я наслаждалась всего несколько недель. Потом меня задержала милиция — у меня не было московской прописки. Арест, к счастью, продолжался всего одну ночь, но мне было приказано срочно выехать из города. Куда было деваться? Некоторые из моих влиятельных друзей пытались прописать меня в Москве, а верная Александра нашла для меня у своих друзей в

другом районе города комнату. Но я боялась там долго находиться и переехала в Ростов, километров за двести от Москвы, там меня приютили друзья той же Александры. Но и в Ростове нужна была прописка, а прописаться я могла, лишь найдя работу. Поиски были безрезультатны. Пришлось вернуться в Москву, к Александре. И снова меня арестовали и посадили в КПЗ. Кроме меня там находился какой-то грабитель. Я ему рассказала, что единственное моё преступление состоит в том, что я жила в Москве без прописки, он мне очень сочувствовал.

Я провела с ним в камере много суток, пока меня, наконец, среди ночи не вывели на допрос. Ведший допрос красавец был совершенно пьян. Я с трудом разбирала, что он говорит, ответы записывать он не мог. Потом он стал брать у меня отпечатки пальцев, это у него никак не получалось, и он в ярости рвал испорченные бланки. Час тянулся за часом, а я всё считала испорченные бланки. Когда я дошла до ста тридцати пяти, в комнату вошли двое штатских. Они спросили, как меня зовут, и увели с собой. Пьяный следователь остался сидеть, тупо глядя перед собой.

Мы поехали в милицейское управление. Меня отвели к начальнику всей московской милиции. Генерал поздоровался со мной довольно вежливо. Я осмелилась ему честно рассказать о своём сложном положении. Генерал обругал своих подчинённых и обещал помочь с пропиской. Дал свой телефон, просил позвонить через неделю, проводил до дверей и велел одному из своих подчинённых отвезти меня, куда я попрошу. Скоро я снова была у своей старой домработницы.

Александра с мужем, оказывается, подняли на ноги моих старых друзей, занимающих высокие посты, а те связались с генералом. Вот почему он был так вежлив. У Александры я переночевала только одну ночь, а потом перебралась к её родственникам. Через неделю я позвонила генералу, но мне сказали, что его нет. Даже начальник милиции боялся иметь со мной дело!

Вскоре с помощью одного из моих друзей я попала на приём к высшему милицейскому чину страны. Управление находилось на Лубянской площади. Начальник был очень любезен и тоже вызвался мне помочь. Правда, в тот же вечер он должен был ехать во Львов, но дал мне свой телефон и попросил позвонить в определённый день на следующей неделе. Потом он заговорил менее официальным тоном и спросил, была ли я знакома с некоторыми руководителями Советской Карелии — Гюллингом, Ровио, Маттсоном и другими. По этому вопросу и его хорошему знанию Карелии я поняла, что он когда-то был там.

Я позвонила в назначенный день, но никто не ответил. Позже я говорила по телефону с секретарём, который на вопрос, где его начальник, ответил уклончиво, советовал больше не приходить.

Позднее выяснилось, в чём дело. Генерал поехал во Львов подавлять «бандитский мятеж». Вернувшись, он доложил, что беспорядков прекратить не смог. Кроме того, он высказал мнение, что речь идёт не о бандитах и разбойниках, а скорее о движении украинских националистов. Привезший дурные вести генерал был расстрелян.

В конце апреля 1947 года я была в гостях у моего старого друга Александры Коллонтай. Её недавно отозвали с должности советского посла в Стокгольме. Александра Михайловна принимала меня в своей старомодной скромной квартире. Выглядела она больной, была в подавленном настроении, передвигалась по комнате в инвалидной коляске. Сказала, что пишет, с помощью секретаря, воспоминания. Был канун Первомая, вся Москва готовилась к празднику. Водки хватало с избытком, а хлеб был по карточкам. Почему-то в неограниченном выборе в магазинах лежали кремы и духи, но мыла было не достать. Александра Михайловна пожаловалась, что чиновники обошлись с ней несправедливо, когда она попыталась получить карточки, чтобы купить продукты к праздничному столу.

На почётном месте на письменном столе стояла фотография короля Швеции Густава V в красивой рамке и с дружеской дарственной надписью самого короля. Снимок напоминал о дипломатической карьере Александры Михайловны. В прошлом революционерка-идеалистка, она была сначала полпредом в Швеции и Норвегии, потом в Мексике, а последние годы — послом в Швеции. Теперь её блистательная жизнь близилась к концу. Ещё в ранней молодости эта чрезвычайно образованная женщина участвовала в тайных антицаристских заговорах, знала Ленина и многих революционеров. В начале двадцатых годов она была душой «рабочей оппозиции», а после захвата Сталиным власти лишилась всех важнейших постов. После традиционной «самокритики», отказавшись поневоле от своих прежних взглядов, она смогла начать карьеру дипломата.

Бывший посол тепло говорила о Финляндии и других северных странах. Она хорошо знала шведский, немного финский, который выучила в молодости, не раз проводя лето под Выборгом. Коллонтай обладала острой наблюдательностью, её воспоминания были бы, несомненно, интересны. Не знаю, успела ли она их закончить. Если и успела, они, скорее всего, были уничтожены после её смерти в 1952 году.

После казни милицейского начальника опять пропала

надежда получить московскую прописку. Проведя девять лет в заключении, я на себе испытала, что такое коммунистическая система, как она обходится с людьми. Я понемногу утвердилась в мысли, что если коммунизм распространится за пределы Советского Союза, он будет повсюду сеять горе и несчастье. Но, по-моему, руководители капиталистических стран далеко не в полной мере осознавали грозящую миру опасность. Я решила хоть как-то помешать распространению коммунизма. С надеждой, кроме того, разрешить мои собственные трудности.

В конце апреля 1947 года пошла в Москве в посольство США. Я хотела разъяснить американцам положение вещей. Там я спросила, могу ли я надеяться, что мне помогут выехать из СССР. Я была в отчаянии и наивно верила, что американцы смогут мне чем-нибудь помочь или хотя бы дать совет. Меня выслушали с обычными для американцев дружелюбием и вежливостью, но я видела, что они даже не поняли, чего я добиваюсь. Они были очень наивны или просто мне не доверяли. Как же дорого я впоследствии заплатила за этот визит! Единственная польза состояла в том, что американцы взялись отправить в Данию письмо, посланное Томсеном своему брату из Воркуты.

И снова надо было искать выход. Я знала, что дни мои в Москве сочтены. Я случайно вспомнила армянку, бывшую вместе со мной в Воркуте. Она освободилась раньше меня и приглашала в гости в Армению. Я ей написала и скоро получила ответ и приглашение. Денег на дорогу не хватало, я продала часть своих вещей и поехала в Кировокан, где моя знакомая работала учительницей. Она меня хорошо приняла, советовала поискать место учителя иностранных языков. Но я снова столкнулась с непреодолимым препятствием: я — бывший политический заключённый. Месяцы проходили в безрезультатных поисках.

Шёл 1948 год. Новая волна арестов захлестнула и Закавказье. Я боялась, что у моей приятельницы будут из-за меня неприятности. Арестовывали большей частью политзаключённых — взять могли нас обеих. Мне пришлось переехать к её родственникам в Тифлис.

Весной 1948 года я несколько недель провела в столице Грузии. Прежде я там бывала в 20-е годы. Но меня преследовали всё те же трудности — и здесь нужна была прописка. Аресты с каждым днём учащались, положение в Грузии становилось всё тревожнее. Осталась единственная возможность — вернуться в Москву и снова попытать счастья в посольстве США. Я тешила себя надеждой, что американцы всё-таки возьмут меня к себе на работу.

Итак, я снова пошла в посольство США, где меня на этот раз

принял генерал. Я долго с ним беседовала, позднее встретилась с ним ещё раз в присутствии его секретаря. Генерал был вежлив, рад был помочь, но дал ясно понять — я должна была знать это и сама, — что посольство и миссии в Москве принимают советских граждан на работу только по рекомендации министерства иностранных дел.

Страх погнал меня в Тифлис, а оттуда в Кировокан. Там у приятельницы я встретила Рождество. Никогда не забуду сердечность и гостеприимство армянских друзей! Без их поддержки мои скудные сбережения истаяли бы очень скоро, хотя верная Александра время от времени посылала мне немного денег, которые она выручала, продавая мои вещи.

Первое, что привычному к деревянным домам северному человеку бросалось в глаза в Армении, — это стены из серых, чёрных и даже красных, до блеска отполированных булыжников. Глядишь на такие дома и думаешь, что они построены навечно, просторные балконы и фруктовые сады создают ощущение богатства. Но это ощущение обманчиво, потому что вся земля, с финиковыми пальмами, орешниками, виноградниками и тропическими фруктовыми деревьями, закреплена за колхозами. Во время проливных осенних дождей весь урожай может погибнуть — люди не хотят работать в колхозах за мизерную плату, едут в город устраиваться на заводы.

Однажды я была в гостях у пожилой супружеской пары и там с удивлением обнаружила репродукцию с картины, которая в годы моей юности висела во многих финских домах. Аллегория художника Исто, Финляндия в ней изображена молодой женщиной, прижимающей к груди свод законов, чтобы защитить его от орла, нападающего с востока.

Хозяин дома рассказал, что в молодости учился в Петербургском университете, бывал в Финляндии и там ему понравилась эта картина. «Я её купил, потому что для армянина она означает то же, что и для финна».

В Армении я была поражена тем, что сюда возвращалось из-за границы множество армян. Многие привозили с собой родившихся за границей детей. Армяне ехали из Ирана, из других стран Ближнего Востока, из Европы и даже из Северной Америки. Как стало возможным, что они по своей воле возвращались в СССР?

Видно, любовь к родине и родной язык навсегда остаются в сердце. Переселенцы сохранили на чужбине свою религию, язык и любовь к родине, в этом духе растили и своих детей. Кроме того, советская пропаганда умело использовала ностальгию армян. В разные страны рассылались люди, чтобы агитировать за переезд.

Так же перед второй мировой войной и после неё уговорили вернуться огромное количество русских. Их постигла та же участь, что и финнов, поддавшихся «карельской лихорадке». Каким же образом удалось ввести в заблуждение армян? Я онемела от удивления, когда один из них, только приехав, сказал мне: «Здесь, в стране наших отцов, — свобода, каждый имеет хорошую квартиру и работу, и вино, говорят, течёт рекой».

Но пробуждения от этого сна наяву долго ждать не пришлось. Бедняги скоро убедились, что идеализированная родина находится в глубоком экономическом кризисе, жизнь даже коренных армян крайне убога.

Возвратившихся расселяли по всей Армении, многих из них я видела в Кировокане. Все до единого жалели, что вернулись, они были готовы немедленно ехать обратно. Но выехать из Советского Союза оказалось непросто: сразу по приезде советские чиновники отбирали паспорта и документы, свидетельствовавшие об их иностранном подданстве. В довершение ко всему их заставляли обменивать иностранную валюту на рубли.

Наибольшее внимание привлёк к себе приезд в 1948 году восьмисот армян из США. В их честь в Ереване проводился торжественный митинг. Один знакомый, присутствовавший на этом митинге, рассказывал мне, что на самой большой площади Еревана выстроили трибуну, и, стоя на ней, армяне со слезами на глазах, воздев руки к небу, благодарили за то, что им была дана возможность вернуться домой. Наиболее впечатляющую речь сказал пожилой врач, он рассказал о своём глупом, непослушном сыне, тоже враче, который не захотел уезжать из Америки. Коренные армяне в глубине души, наверное, посмеивались над теми, кто вернулся в СССР.

В трагикомическую ситуацию попал владелец обувной фабрики, приехавший из Америки. Он захотел свою фабрику преподнести в дар Советскому Союзу. Самое современное оборудование прибыло морем в Батуми. Владелец произнёс речь, расхвалил свой завод, его мощность, высокую производительность и преподнёс его в дар Армении. Единственное его условие состояло в том, что он должен сам наладить оборудование и работать на предприятии техническим директором. Представители государственной власти торжественно, с благодарностью приняли дар и обещали выполнить все требования владельца. Затем бывшего владельца повезли в Ереван, чтобы продолжить торжество, а оборудование осталось на несколько дней в батумском порту. И бесследно исчезло. Старожилы-армяне потешались над наивностью своего соотечественника. Они-то догадывались, что его оборудование

установят где-нибудь в другом конце Советского Союза. Ни владелец, ни армяне так завода и не увидели. Москва такой подарок из рук не выпустит.

Усилившаяся в 1947 году волна репрессий захлестнула всю огромную страну. Сталин явно решил «натянуть вожжи» и в Армении. Не секрет, что недовольство командной системой и давлением Москвы всё усиливалось, сопротивление армян возрастало. Прежде всего арестовывали бывших политзаключённых. Мой сосед, вернувшись из лагеря, провёл дома одну-единственную ночь и снова был арестован. Тогда я поняла: близится моя очередь. Снова впереди бесконечные скитания — оставаться у друзей нельзя, это для них опасно. (В этом я оказалась права. Вскоре после моего ареста арестовали и мою бывшую хозяйку, она провела в тюрьме восемь месяцев.)

Я попыталась скрыться в Казахстане. Там, я знала, осели многие, освободившиеся из лагерей Воркуты, те, кто, как и я, не могли выполнять тяжёлую работу. Жизнь в Казахстане походила на ссылку, но зато там можно было найти работу. К тому же я думала, что там возможность ареста гораздо меньше.

Я написала моему старому другу из Карелии, он жил в Демьяновке под Кустанаем, и он пригласил меня к себе. В начале марта я поехала через Тифлис и Москву в Кустанай. (Это всё равно, что ехать из Рима в Анкару через Стокгольм. Но что делать! Прямого сообщения не было.) Пятеро суток я моталась в грохоте вагонов и приехала, наконец, в Кустанай. Там стояла стужа. Выяснилось, что до Демьяновки ещё полторы сотни километров, а ехать не на чем. Через два дня я получила, наконец, разрешение лететь на почтовом самолёте. Полёт этот я не забуду никогда! Сидишь съёжившись в крохотном открытом самолётике между мешками с почтой — а ветер! Все тибетские ветры, казалось, на нас накинулись!

Скоро стало ясно, что весь мой долгий путь напрасен. Я получила официальное разрешение поселиться в Демьяновке, но дело с работой обстояло совсем не так хорошо. Здесь бывших политзаключённых тоже не брали на работу. Я поселилась у троих очень интеллигентных полячек, в деревянном домишке. Мы постоянно голодали, грязь и холод были нашими вечными спутниками. Вспоминая Демьяновку, я до сих пор не могу понять, как у этих людей хватало сил терпеть такие лишения. Жизнь в Казахстане была несравнима даже с убогой жизнью в воркутинских лагерях. Такой нищеты я ещё не испытывала. Деньги давно кончились, и я была уверена, что дни мои сочтены.

Но судьбы советских людей неисповедимы. Ко мне пришло совершенно неожиданное «спасение»: в конце мая 1949 года меня

арестовали. В Демьяновке я успела прожить «на свободе» три месяца. Среди ночи к нам пришли двое: полковник по фамилии Дмитриев и какой-то майор, велели мне идти с ними. Мы поехали через степь на машине в Кустанай. Там остановились у грязной избушки, меня втолкнули внутрь, и дверь захлопнулась.

У единственного окошка сидела молодая смуглая женщина. Мы поздоровались, она спросила, за что я арестована. Я ответила, что понятия не имею, тогда она сказала: «Значит, вы политическая». Хотя я её ни о чем не спрашивала, она рассказала, что обвиняется в убийстве, но меня успокоила: «Не беспокойтесь, я вам ничего не сделаю». Я сказала, что совсем её не боюсь, и мы скоро подружились. Каждая была рада, что не одна. Она была неграмотная, и я, чтобы скоротать время, читала ей отрывки из сентиментального русского романа. Вместе мы пробыли всего несколько дней, так как полковник Дмитриев получил приказ срочно привезти меня в Москву. Зачем — он не знал, спросил только: «Вы довольны тем, как с вами здесь обращаются?»

Я ответила утвердительно, и мы поехали к вокзалу на видавшей виды машине, казалось, она вот-вот распадётся на составные части. Моим конвойным была женщина, капитан Галина Петровна. Мы поднялись в вагон третьего класса, как ни странно — чистый. Незадолго до отправления в вагон сели пятнадцать офицеров. Эти «провожатые» во время пятидневного путешествия оказались очень весёлыми попутчиками. В Кустанае полковник выдал мне на дорогу сухой паёк: чёрный хлеб, селёдку и немного сахара. Забота его оказалась напрасной — на всех остановках офицеры выскакивали из вагона и покупали продукты, часть которых доставалась и мне. Они покупали для меня газеты и книги и по очереди подсаживались ко мне поговорить.

Долгая дорога тем не менее была крайне утомительна — в пыли и жаре, — и все мы были рады, когда третьего июня приехали в Москву. Рука об руку с Галиной Петровной шла я до дверей вокзала следом за офицерами, один из них нёс мой чемодан.

На привокзальной площади стояла длинная вереница машин. Меня подвели к машине, дверца которой была не сбоку, а сзади. Вежливо помогли взобраться, протянули чемодан — и захлопнули дверцу. Внутри было совершенно темно. Где меня высадили, я не поняла, но догадалась, что это снова Лубянка. Скоро я уже сидела в крохотной каморке с голубыми стенами. Конвойный принёс кусочек хлеба, но когда я попросила разрешения вымыть руки, буркнул:

— Некогда. Следователь ждёт.

Он провёл меня на шестой этаж. Посреди комнаты стоял

полковник, увидев меня, он закричал:

— О, сегодня нам попалась крупная рыбка!

— Я не рыба, я хочу знать, почему меня арестовали.

— Что вы у меня-то спрашиваете? Сами знаете лучше меня. С вашей стороны было бы разумно встать на колени, признаться в преступлении и попросить снисхождения.

— С чего это я буду просить снисхождения, если не знаю, в чём меня обвиняют?

Тут полковник заорал — непечатным текстом. На вопрос мой он так и не ответил.

На этом первый допрос окончился.

Под следствием я находилась четырнадцать месяцев, на месяц меньше, чем в 1938—1939 годах. Днём я сидела в Лефортово, а вечерами в тесном «чёрном вороне» меня возили на Лубянку. Всё шло по старой привычной колее. Десять лет прошло, а почти ничего не изменилось. Методы допроса были те же, казни так же часты, как и раньше, правда, теперь меньше об этом шумели. Зато на этот раз все четырнадцать месяцев меня допрашивали одни и те же следователи — полковник Полянский, отвратительный тупица, и полковник Никитин, человек довольно уравновешенный.

Вопросы касались моей шпионской деятельности в пользу США. Из недели в неделю, из месяца в месяц следователи требовали признания в том, что я ходила в посольство США и разговаривала с военным советником. Я упорно твердила, что в посольстве никогда не была. Я была уверена, что они ничего не знают о моих визитах в посольство. Мне показали фотографию какого-то американского генерала — я сказала, что никогда его не видела. «У нас есть неоспоримые доказательства», — уверяли они.

Козырь свой они выложили в конце февраля 1950 года. Допрашивал генерал, он надеялся обескуражить меня мягким тоном, долго уговаривал признаться.

— Потому что, — сказал он, — у нас есть одно неопровержимое свидетельство против вас.

Он показал мне фотокопию письма на английском языке. Две страницы рукописного текста, без начала и конца, без имени корреспондента и адресата. Оно начиналось так: «Сегодня был интересный день. У нас побывала госпожа Айно Куусинен, известная коммунистка. Это умная женщина… Мы условились о следующей встрече». Фотокопия была, несомненно, настоящая, и я вынуждена была переменить тактику. Я обещала генералу, что на следующий день расскажу всё как было.

В виде аванса я получила чрезвычайно хороший ужин,

который поделила с товарищами по камере. Я могла ложиться, когда мне вздумается, хотя обычно до одиннадцати вечера лежать запрещалось. Правда, ночью я не спала, надо было обдумать во всех подробностях «признание». Момент был решающий, один неверный ход мог означать смерть. Вспомнилось «Верное звено» Отто Куусинена — статья в «Правде», на которую я ссылалась в первой главе этой книги. Именно сейчас важно не упустить верное звено. Но какое? Какое звено пронесёт меня над зияющей впереди волчьей ямой?

На следующий день в девять утра меня отвезли в кабинет Полянского. Он обещал, что не будет меня прерывать, и я начала медленно рассказывать историю, которую продумала предыдущей ночью. Не говоря ни слова, Полянский слушал меня почти два часа. Я признала, что беседовала с чиновниками посольства о возможности получить работу. Я обрисовала человека, совершенно не похожего на военного атташе. Сказала, что мне даже обещали работу, но потом я узнала, что посольство может брать на работу только через Министерство иностранных дел СССР, решила, что моя кандидатура не пройдёт, и вернулась на Кавказ.

«Признание» я, конечно, сделала не такое, какого они от меня ждали, но в целом допрос прошёл гладко и мне показалось, что на этот раз я ухватилась за верное звено. Допросы продолжались ещё около пяти месяцев, хотя теперь со мной обращались мягче. Изредка, правда, пытались меня на чём-нибудь подловить. Генерал однажды снова заговорил о фотокопии письма:

— Не думайте, что мы сфотографировали этот документ в Москве. Мы могли это сделать, например, в Лондоне. Вы ведь знаете, что почта идёт различными путями, а методов у нас множество.

— Да, — ответила я, — не сомневаюсь, методы у вас очень разнообразные.

Он был явно доволен моим ответом.

Постоянное нервное напряжение и ночные допросы понемногу расшатали моё здоровье, подскочило кровяное давление. Тюремные врачи имели инструкцию обращаться с заключёнными сурово, но инструкцию, видно, выполняли не все. К счастью, таким исключением оказался и лечивший меня врач. Когда я была уже почти без сознания, меня перевезли из Лефортово в больницу Бутырской тюрьмы, там меня лечила дружелюбная, заботливая женщина-врач. Ко мне в одиночный изолятор она могла входить только с охранником, поэтому говорили мы только о моей болезни.

Мне было предписано лежать неподвижно на спине, кормили

меня с ложечки и в определённое время вливали в рот лекарство. Это было лечение сном, две недели я почти непрерывно спала. Во время обеда до меня смутно доходило, что я нахожусь в больнице, но из-за воздействия лекарств меня ни это и ни что другое не волновало. Я уверена, что эта женщина-врач спасла мне жизнь, и всегда буду ей благодарна. Я стала поправляться, и меня отвезли назад в Лефортово к товарищам по несчастью. О некоторых из них мне хотелось бы здесь рассказать.

Елизавета Орановская была родом из петербургской аристократической семьи. Отец её, полковник царской армии Орановский, умер рано, вдова распродала есо имущество и переехала с пятью детьми в Париж, где все пятеро получили хорошее образование. Когда Франция признала Советский Союз, Елизавета стала переводчиком в советском посольстве в Париже. Началась вторая мировая война, Франция пала. Немецкие оккупанты заставили французские власти выслать из страны русских, и Елизавета с матерью вернулись через Грецию и Турцию в Россию. Елизавете была обещана работа в министерстве иностранных дел, но потом ей, как и многим, долгое время пробывшим за границей, было отказано в праве жить в Москве. Женщины поехали в Среднюю Азию, в глушь. Поселили их в полуразвалившемся домишке. Вскоре от недоедания заболела мать, лежала она на голой лавке, даже без простыней. Елизавета работала далеко от дома учительницей французского языка в школе. Ходила пешком по сугробам. Когда она однажды вернулась с работы, в доме было тихо. Мать умерла. Елизавета с ужасом увидела, что крысы изгрызли лицо мёртвой до неузнаваемости. Молодая женщина едва стояла на ногах, но она кинулась за соседкой. Та стала палкой отгонять крыс, а её муж тем временем достал санки. Втроём они повезли мать хоронить. Кроме как в сугробе, хоронить было негде. Когда всё кончилось, Елизавета не могла не признать, что смерть была для матери освобождением. Она вспоминала, как тяжело было видеть мучения умирающей матери. С огромными трудностями Елизавете удалось уехать в Москву — добиваться места в министерстве иностранных дел. В Москве её арестовали как французскую шпионку.

Елизавета Орановская, тонкая, изысканная женщина, никогда никого не винила в своих страданиях. Судьба была к ней жестока, но она с ней смирилась. Через какое-то время после моего возвращения из больницы она заболела дизентерией и умерла. Во всё время её болезни я ухаживала за ней тщательно и с любовью.

Две другие мои сокамерницы поддались искушению, когда Советский Союз стал зазывать своих граждан обратно на родину.

Лидия, талантливая и известная певица, преуспевала в Шанхае. Советское правительство печатало в китайских газетах, как и в газетах других стран, призывы возвращаться на родину. Эмигрантам давались торжественные обещания, что всё им будет прощено. При советском консульстве в Шанхае работала специальная комиссия, делом которой было готовить документы репатриантов. Работа шла день и ночь, желающих были десятки тысяч.

Репатриантов бесплатно везли морем до Владивостока, им было обещано, что оттуда они смогут ехать куда захотят. Вначале, правда, в Шанхае было много русских, не веривших в обещания Москвы. На собраниях в русском театре происходили бурные споры. Но жажда вернуться на родину распространялась со скоростью эпидемии. Те, кто хотел вернуться, с нетерпением ждали отъезда.

Но было что-то такое в атмосфере возвращения… Произошло даже одно убийство. Когда пароход был готов к отправлению, православный священник стал благословлять отъезжающих. Тогда из толпы выбежал казак с криком: «Знаешь ведь прекрасно, что эти бедные обманутые души отправляются на свою погибель — как ты смеешь их благословлять!» И ударил священника кинжалом. Ужасное предсказание сбылось! Советские тюрьмы и лагеря поглотили тех, кого не прикончили сразу по приезде. Я встречала несчастных репатриантов в Воркуте и позже в Потьме.

Лидия была обманута дважды. Она познакомилась с неким генералом Рощиным, он служил в советском консульстве в Шанхае. Лидия собиралась выйти за него замуж. Он обещал устроить её на работу в Большой театр, настаивал, чтобы она выехала в Москву. И что же? Проделав длинный путь по железной дороге через Сибирь, она приехала в Москву, и её тотчас арестовали как шпионку. Выяснилось, что у её рыцаря жена и дети.

Вторая моя сокамерница была зубным врачом. Она поддалась искушению и выехала из Маньчжурии. Перед отъездом она как раз приобрела первоклассную американскую технику. В СССР она поселилась в маленьком провинциальном городке, работала зубным врачом. Но МГБ решило, что она американская шпионка, и её арестовали. Думаю, обеих женщин уже нет в живых.

Немного разнообразия в мою тюремную жизнь внесла необычная поездка на Лубянку среди бела дня. Вечером и ночью меня обычно возили на третий этаж, там находились женские камеры. На этот раз мы поднялись на шестой. Я в сопровождении охранника подошла к маленькой двери, она распахнулась, и мы долго спускались вниз. Там стояли двое охранников в военной

форме, они отдали нам честь. Как во время официального приёма! Мы снова поднялись на два этажа и оказались в коридоре, в нём было множество пронумерованных дверей. «Так, ясно, — подумала я, — переселяют в другую камеру». Однако меня ввели в обычную комнату. В ней стояли кровать, стол и стулья, и даже выходившее на Лубянский проезд окно не было забрано решёткой.

Дежурный был вежлив, принёс по моей просьбе несколько книг. Из соседней комнаты доносились голоса мужчины и женщины. «Надо же, супруги в одной комнате», — подумала я с удивлением. Жаль, не разобрать было ни слов, ни даже на каком языке они говорили. Дверь моя была приоткрыта, и я по запаху поняла, что им принесли хороший обед, даже, кажется, вино. Я же, к сожалению, получила обычную тюремную еду.

Когда меня через какое-то время взяли на допрос, я узнала, что нахожусь в «гостевом отделении», где могу «спокойно припомнить всё, что касается моего визита в посольство США». Но поскольку и эта хитроумная стратегия ни к чему не привела, меня снова отвезли в Лефортово. Этот случай показывает, что для некоторых иностранцев в советских тюрьмах были созданы сносные условия.

Однажды в Лефортово, когда меня вели на очередной допрос, я увидела в коридоре мальчика. Штаны были ему явно велики, он шёл в них с трудом. Сперва я решила, что это карлик, но, проходя мимо, поняла: мальчик лет десяти. Я высказала своё удивление полковнику Никитину, он рассмеялся и рассказал, что мальчика задержали, когда он выходил из американского посольства. Когда мальчика спросили, кто его завербовал в шпионы, он ответил, что ходил узнавать, как можно уехать в Америку, он слышал, что там все живут очень хорошо. Секретарь посольства ему сказал, чтобы приходил снова, когда подрастёт и получит иностранный паспорт…

Какой идиотизм и жестокость — считать ребёнка шпионом, бросить его в казематы Лефортово!

В Бутырской тюрьме я познакомилась со многими советскими женщинами, работавшими в иностранных посольствах. Вряд ли стоит упоминать, что все они без исключения обвинялись в шпионаже. Особенно хорошо мне запомнилась Маргарита Шидловская, проработавшая с 1924 года двадцать пять лет секретарём шведского посольства. Она обвинялась в том, что её начальник, посол Солман, якобы завербовал её в разведчики. С поразительным мужеством и терпением она переносила свою участь, часто пела весёлые песни, стараясь поднять настроение нам. Она знала, что живой из заключения ей не выйти. Кажется,

позднее её расстреляли. Всех служивших в иностранных посольствах советских граждан — в том числе уборщиков и дворников — ждала та же участь: все обвинялись в шпионаже.

Даже древняя старушка тётя Поля представляла, оказывается, для СССР опасность. Она работала кухаркой у американской женщины-дипломата в Москве. Сестра её однажды ездила с подругами в ближний колхоз и привезла немного колхозного хлеба. Дипломатша случайно увидела хлеб и попросила дать ей кусочек. Вскоре в одном американском журнале была опубликована статья о советском деревенском хлебе, и госбезопасности особо не пришлось трудиться, чтобы выяснить происхождение этой заметки. В результате были арестованы тётя Поля, её сестра и подруга сестры.

Ради справедливости надо заметить, что не все следователи были жестокими и бессердечными, некоторые из них относились к заключённым с пониманием. Таким был, например, полковник Никитин, с которым я иногда разговаривала и о самых обыденных вещах. Когда я ему однажды пожаловалась на грубость полковника Полянского, он посоветовал мне написать заявление на имя начальника отделения с просьбой полностью передать моё дело ему, Никитину. Заключённые имели право на такие требования. Я последовала его совету, и допросы стал вести один Никитин. Бесконечные часы, в течение которых он задавал мне вопросы, могли быть гораздо более неприятными. Мы оба как бы исполняли свою роль: он был строгий следователь, на все вопросы которого я должна была отвечать, а я упрямая заключённая, невинно обвиняемая. В глубине души мы друг друга хорошо понимали. Я однажды сказала ему, что считаю его сердечным и доброжелательным человеком, который оказался на неприятной работе, и моё замечание его явно тронуло. Он же считал наши беседы содержательными, однажды даже сказал: «Хорошо бы встретиться после вашего освобождения. Нам будет о чём поговорить».

В этот раз во время следствия со мною ни разу не обошлись жестоко, хотя допросы были долгие и утомительные. Были, правда, и угрозы, и оскорбления, угрожали даже расстрелом, добавляя со своеобразным юмором: «А может, не расстреляем. Пуля всё же стоит четырнадцать копеек».

ГЛАВА ВОСЬМАЯ. Пять с половиной лет заключения в Потьме

В 1950 году меня снова перевели, на этот раз в просторную камеру Бутырок, где я оказалась вместе с очень интеллигентными женщинами. Они встретили меня дружелюбно, от них я узнала, что в этой камере собирают женщин для отправки этапом в лагерь. В какой — они не знали.

Среди женщин была молодая финка по фамилии Мянтюля, она училась в Коммунистическом университете национальных меньшинств Запада. Арестовали её как финскую шпионку. Не знаю, в какой лагерь она попала. Была в камере украинка, врач Ольга Кочегуб. Её приговорили к двадцати пяти годам заключения как украинскую националистку. С ней я провела около шести лет в одном лагере.

В камере мы пробыли всего несколько дней, потом нас перевели в бывшую тюремную церковь. Переменам мы были рады, хотя в церкви пришлось спать на полу. Лето было тёплое, и нам разрешалось гулять по церковному саду. Но жизнь такая продолжалась недолго. В середине августа нас затолкали в закрытый фургон и повезли по Москве. Остановились у вокзала, нас посадили в столыпинский вагон. И снова начался путь в неизвестность.

Неужели опять окажусь в лагере у Полярного круга, там, где я уже провела восемь лет? Но мрачные мысли развеялись, когда на маленькой станции Потьма наш вагон отцепили от состава и нам объявили, что мы — в четырёхстах километрах от Москвы, у железнодорожной ветки на Казань. Был солнечный летний день. Станция находилась посреди густой дубовой рощи. Через рощу к лагерю шла узкоколейка. Нас повезли по ней в тесном, тёмном вагоне. Поезд остановился перед воротами тринадцатой зоны. Придерживая волкодавов за поводки, охранники открыли ворота. Мы прибыли в лагерь Потьма, где, по рассказам, были чрезвычайно строгие порядки.

Нас всех сперва поместили в одном бараке, вдоль стен которого тянулись недавно сколоченные двухэтажные нары. Скоро мы с ужасом обнаружили в щелях между досками пола тучи клопов. Мы вызвали коменданта зоны. Он сердито заявил, что прежние обитатели барака были людьми необразованными, всё пели песни и молились, клопы их нисколько не беспокоили. Комендант всё же разрешил нам оторвать доски пола и облить их крепким раствором щёлока и горячей воды. Скоро клопы исчезли.

Оглядевшись, я с радостью поняла, что люди вокруг меня неплохие. Не в пример Воркуте, где мужчины и женщины жили в одной зоне и уголовников не отделяли от политических, все обитатели нашей зоны были политическими заключёнными и все — женщины. Большинство — жёны врагов народа, арестованные за то, что не донесли властям на своих мужей. Мужья их сидели или были казнены, детей отобрали, где они, никто из женщин не знал. В зоне было много украинок, эстонок, латышек, литовок и женщин из многих стран Европы.

Лишь после прибытия в Потьму я получила официальное извещение о том, что осуждена за «контрреволюционную деятельность» к пятнадцати годам лагерей. Во второй раз меня приговорили без всякого суда, я даже не видела обвинительного заключения. Ни я, ни многие другие не знали, каким судом разбирали наши дела. «Суды», занимавшиеся делами такого рода, назывались в народе «тройками».

Надо признать, что Потьма имела некоторые преимущества перед Воркутой. Климат здесь намного легче, бараки и еда были лучше. Правда, порядки более строгие. Каждый вновь прибывший заключённый расписывался в том, что он заслуживает расстрела за каждое, даже небольшое нарушение режима лагеря. Распоряжение выполнялось неукоснительно, о расстрелах сообщало лагерное радио.

Я не работала — таков был спецприказ Москвы. Это принесло мне значительное облегчение — женщины работали в поле до изнурения.

В Потьме было тридцать шесть зон. Трудно определить общее число заключённых, их были тысячи. Я побывала в трёх разных зонах, поэтому имела представление о размерах лагеря. Он, кажется, был построен в 1904—1905 годах, в разгар русско-японской войны, позже его расширили, и во время первой мировой войны в нём содержали военнопленных.

В первые же дни в Потьме со мной случилось странное происшествие. Мне передали, что из-за забора кто-то спрашивал обо мне. Странно было, что известие о моём появлении в лагере так быстро распространилось, ведь через забор переговариваться было строжайше запрещено. Я подошла к щели в заборе, и тихий голос спросил:

— Вы Куусинен?

— Да, — ответила я.

— Вы Хертта Куусинен?

— Нет, Айно.

— А Хертта тоже здесь, в лагере?

— Нет, она, скорее всего в Финляндии.

— Когда я узнала, что в зону прибыла Куусинен, я пришла сюда, чтобы её убить. Чуть вас не убила.

— Меня-то за что? — ответила я, усмехнувшись. — Я не сделала ничего плохого.

— Нет, вас я убивать не буду. Но когда отсюда выйду, Хертту прикончу. Обязательно её найду и убью. Это она виновата, что я здесь.

Позже, когда мы оказались в одной зоне, моя новая знакомая — Катя — рассказала свою историю. Эта милая ленинградка хорошо говорила по-фински, правда с акцентом. Когда во время второй мировой войны финские войска вошли на советскую территорию, Катю взяли в плен. Её отвезли в лагерь, но скоро освободили и разрешили устроиться на работу.

В каком-то маленьком городке на берегу Ботнического залива она стала работать официанткой в финском офицерском клубе. Скоро вышла замуж за военного. Когда муж демобилизовался, они переехали в семейную усадьбу, к его матери. После перемирия советское правительство потребовало, чтобы все советские граждане были возвращены в Россию. Катя оказалась в тюрьме на Катаянокка в Хельсинки в ожидании перевозки на родину.

Возвращающимся на родину в одно воскресное утро объявили, что Хертта Куусинен приглашает их на кофе. Их отвели в просторную комнату, где был накрыт стол. Хертта произнесла речь, в которой обещала, что на родине их ждёт прекрасная жизнь, советское правительство окружит всех вернувшихся заботой. Когда кто-то крикнул, что это неправда, что всех арестуют, Хертта резко его оборвала, сказав, что всё это буржуазная пропаганда.

Но предсказание полностью сбылось. Как только поезд пересёк границу, возвращающимся объявили, что их ждёт пять лет исправительных лагерей! Я заметила Кате, что вины Хертты в этом нет, но Катя сказала, что ей лучше знать. И что она ещё отомстит Хертте Куусинен.

Особым гонениям в Потьме подвергались верующие. Я своими глазами видела, как в лагере соблюдали свободу вероисповедания, гарантированную Конституцией СССР. Несколько примеров.

Когда я жила в четырнадцатой зоне, там выстроили барак из толстых брёвен. Под самой крышей прорубили маленькое, забранное решёткой окошко. В барак загнали верующих русских женщин. Они отказывались работать в поле, громко молились и пели. В лагере их прозвали монашками. Монашкам запрещено

было появляться в общей столовой. Еду им носили в барак. Вооружённый охранник водил их два раза в день оправляться.

Иногда появлялся с плёткой комендант, и из барака доносились стоны и крики. Обычно монашек били по голому телу, но ничего не добивались — они продолжали молиться и соблюдать пост. Монашки отказывались не только работать, но и носить лагерную одежду, потому что на спине там были огромные цифры. Поскольку они не надевали лагерное, а своё носить не разрешалось, номера писали на их голых спинах. Женщины из «религиозных бараков» отказывались участвовать в утренней и вечерней поверке. В нашем бараке тоже было несколько монашек, их заставляли выходить на поверку, и они стояли голые на ветру и дожде. Сердце болело за них.

Однажды комендант приказал мне идти с ним в монашеский барак. У двери он гаркнул: «Кто болен?» Указали на одну женщину. У неё был сильный жар, я увидела, что она при смерти. Её отнесли в лагерную больницу.

Пока я возилась возле больной, охранник заметил, что одной женщины в бараке не хватает. Долго искали и, наконец, нашли под нарами. Вылезать она отказалась, и охранник вытащил её силой. Она лежала на полу посреди барака. Это была восемнадцатилетняя девушка, она только что окончила школу. Арестовали её как врага народа — за то, что ходила в церковь. Девушка всё лежала. Тогда в барак вошли несколько охранников, они схватили её и поставили на ноги как мраморную статую. Легко догадаться, какие непристойности говорили солдаты, поднимая голую девушку. Я отвела её к постели, укрыла и сказала несколько слов в утешение. Но охранник меня грубо одёрнул: «Нечего утешать ведьму!»

Из этого барака всегда слышалось пение. Но однажды всё стихло. Женщин перевели в другое место, и там они, скорее всего, приняли мученическую смерть.

Была в Потьме и тщедушная деревенская старушка, которая всех называла «моя радость». Её так и прозвали. Это была глубоко верующая простая деревенская бабушка. Она никогда нигде не училась, но речь её была живой и богатой. Приведу здесь трогательную историю её жизни.

Около 1895 года мать Моей Радости, очень бедная женщина, продала дочь за двести рублей в жёны человеку, который был намного старше её. Муж оказался извергом, избивал жену так, что скоро она стала калекой. Она несколько раз убегала к матери, но та исправно возвращала её мужу. Не смог помочь ей и священник. В конце концов она убежала навсегда. Хотела уйти в монастырь, но её не приняли, потому что была замужем. Она устроилась на

работу в одной усадьбе, жила в маленькой каморке рядом с кухней. Врач, осмотрев её, сказал, что она никогда окончательно не выздоровеет и тяжёлую работу выполнять не сможет. В усадьбе она работала кухаркой. Со временем немного окрепла, выучилась грамоте. Каждое воскресенье она ходила в церковь, помогала сельскому священнику. Шли годы. Моя Радость была довольна и счастлива. Но во время революции сгорела усадьба, помещика убили. Позже большевики арестовали сельского священника и её как шпионов. «Хотя я знать не знаю, что за работа такая у этих шпионов», — усмехаясь говорила Моя Радость. Но тогда было не до смеха. Скоро эта простая женщина — особо опасный государственный преступник — оказалась в лагере Потьма. Не знаю, к какому сроку её приговорили.

В тринадцатой зоне были в основном эстонки, латышки и литовки. Все были внимательны к старушке. Работать она не могла. Однажды на Пасху произошло чудо: Моей Радости сказали, что на её имя пришли письмо и посылка, они у коменданта. Я пошла вместе с ней. Письмо и посылка были от их сельского священника, он к тому времени уже освободился. В посылке были продукты, даже огромное гусиное яйцо с красиво нарисованной Богородицей. К сожалению, это расценили как религиозную пропаганду, и комендант яйцо разбил. Но всё же внял моим мольбам и отдал разбитое яйцо старушке. Она была счастлива, держа в руках кусочки скорлупы, ведь они были освящены. Само яйцо она разделила между своими друзьями, а скорлупу сохранила, она служила ей с тех пор иконой.

Многих политических из тринадцатой зоны позже отправили этапом в Сибирь. Там они собирали живицу, жили в первобытных условиях. Женщины из Прибалтики писали нам в Потьму из Сибири письма. Жизнь там, по их словам, была невыносимой. Мою Радость освободили, я видела её в последний раз, когда она уезжала в свою деревню. Она мечтала снова увидеть родную церковь. Сбылась ли её мечта — не знаю.

Был в Потьме и четырёхногий узник, трофейная лошадь. Это было большое, некрасивое, одноглазое животное, инвалид войны. На ней возили воду. Когда я её впервые увидела, вспомнила лошадь из «Семерых братьев» Алексиса Киви[179]. Она понимала лишь немецкую речь. Других языков она, видно, не знала, но когда слышала немецкое слово, издавала радостное ржание. Немки-заключённые любили этого своего товарища, давали ей хлеб из своих маленьких пайков, поверяли ей свои горести. Животное было довольно, что с ним хорошо обращаются.

Но однажды случилось несчастье. Отвезя в поле обед, возчик поставил лошадь перед кухней. Вдруг пустые железные бидоны с

грохотом скатились с телеги. Лошадь понесла, стукнулась головой о стену и околела. Немцы в лагере были в большом горе. Из конины сварили вкусный суп.

После четырнадцатой я попала в шестнадцатую зону, там в середине февраля 1952 года мне было приказано готовиться к этапу. На следующее утро меня с пожитками погрузили в грузовик, и он пошёл к станции. Я думала, что поеду дальше на поезде. Как же я была удивлена, когда грузовик остановился перед огороженной забором территорией, где было три новых двухэтажных дома. У ворот охранник, но без собаки. Меня отвели в чистую комнату, довольно уютную. Там уже были две женщины — финка Сайма Ахмала из Оулу и русская Вера Леонтьевна Некрасова, научный сотрудник ленинградской библиотеки. Я оказалась в хорошем обществе.

Мне заявили, что я нахожусь в изоляторе — «чистилище» для тех политзаключённых, которые будут скоро освобождены. Большинство из них были иностранцы, а также украинцы, эстонцы и латыши. Нас, финнов, было трое, третьей была Ольга Хиетала из Хельсинки. Здесь были молодые и старые, здоровые и больные; нас, видимо, поместили в изоляторе, чтобы мы перед освобождением забыли кошмары многих лет заключения. Условия здесь были гораздо лучше, чем в бараках. Еда неплохая, приносили её аккуратные девушки-мордовки. В этих местах в основном жили мордовцы, финно-угорское племя. В нашем распоряжении была даже библиотека! Большую радость приносили прогулки в красивой дубовой роще, летом мы могли наслаждаться цветами и ягодами.

Многие из моих друзей были уже на свободе, а я всё ждала. О моём деле не говорилось ни слова. И вдруг случилось происшествие, которое почти разбило все мои надежды на освобождение. В начале марта 1953 года меня вызвали к начальнику политотдела лагеря. Вызов не мог предвещать ничего хорошего. Я очень нервничала. В конторе меня принял любезный незнакомый офицер, даже усадил на стул. Он вынул из портфеля толстую пачку бумаг, легонько по ней похлопал и сказал:

— Это протоколы ваших допросов. Мой начальник послал их сюда из Москвы, чтобы я выяснял, как вы себя чувствуете. Есть ли у вас жалобы?

Я ответила, что никогда не жалуюсь, зная, что это бесполезно. Он начал хвалить мой ум, а я знала по опыту, что это — тревожный признак. Он сказал, что прочитал все протоколы допросов и знает обо мне очень многое. Даже то, что я владею несколькими языками. Потом вдруг спросил:

— Вы бы смогли написать письмо по-английски?

Я ответила утвердительно и спросила:

— Кому это письмо будет адресовано?

— Это неважно. Можете писать всё что угодно, но не упоминайте, что вы находитесь в лагере. Вы должны написать, что находитесь в Саранске. (Столица Мордовской АССР.)

Когда я спросила, по какому адресу писать, он сказал:

— Адрес напишем мы. — И добавил: — Вы скоро сможете вернуться в Москву и там жить нормальной жизнью. Получите всё, что вам нужно.

Под конец он сказал, что идёт сейчас в комендатуру и что увидимся мы с ним на следующий день.

Я не спала всю ночь, обдумывала положение. Ясно одно: если я откажусь написать письмо — меня убьют. Казни в то время в Потьме совершались ежедневно. Если же соглашусь, результат будет тот же, потому что, выполнив задание, я стану госбезопасности не нужна и даже опасна. В одном я не сомневаюсь: я никогда не унижусь сделать что-нибудь по приказу Сталина или Берия[180].

Когда на следующее утро я шла умываться, одна эстонка меня спросила, слышала ли я ночью по радио новость. Я ответила безразлично:

— Нет, да и плевать мне на радио. Там ведь никогда не говорят ни о чём, что касается нас.

— Касается нас? Видно, вы ещё не знаете, что умер Сталин, — воскликнула она. И добавила: — Теперь нас всех наверняка освободят!

Вот это новость! Нас обуяло непередаваемое чувство освобождения, среди политзаключённых росла уверенность, что с террором и беззаконием покончено. Замешательство и растерянность работников лагеря укрепляли нас в этой вере, до нас, казалось, никому теперь не было дела. Один за другим стали исчезать работники лагеря, в том числе и тот красавец-офицер, который хотел заставить меня написать письмо. Так что Сталин умер как раз вовремя. Правда, после его смерти я пробыла в Потьме ещё два с половиной года.

Четыре дня по радио играли траурную музыку. Заключённые радовались смерти диктатора, но первое время вслух свои чувства выражать не решались. Многие даже делали вид, что оплакивают его, надеясь таким образом улучшить своё положение.

Одна пожилая коммунистка сказала мне плаксиво:

— Как ужасно! Как это ужасно! Вы разве не плачете?

— Почему я должна плакать?

— Вы разве не слышали?

— Слышала.

— И всё равно не плачете?

— У меня больше нет слёз, — сказала я и прервала разговор: я знала, что она доносчица. Разум подсказывал, что надо быть осторожной: начальники сменились, но изменилась ли система?

Спустя четыре месяца сняли Берия, это, конечно, тоже была для нас радостная новость. Но надежды на освобождение всё не оправдывались. Да и в лагере эта весть вызвала меньшее замешательство, чем смерть Сталина. Исчезло лишь несколько чиновников. Но когда по радио объявили, что Берия казнён, произошло настоящее чудо: люди из охраны даже унизились разговаривать об этом происшествии с заключёнными. Раз утром я получила приказ прийти к чиновнику, ведавшему идеологической учёбой. Он был, в общем, человек добрый, но не умный. Он пригласил меня сесть и сказал:

— Подумайте, Берия с 1919 года был британским шпионом. Что вы на это скажете?

— А этому есть доказательства? — спросила я, будто бы удивившись.

— Да, это доказано, и мы знаем, что все государственные тайны теперь известны англичанам. — И он глубоко вздохнул.

Меня ошеломило, что народу можно скормить такую нелепую ложь. Приговор Берия вполне можно было обосновать его «отечественными» злодеяниями. Но состоялся ли над ним суд? Когда я приехала в Москву в октябре 1955 года, об этом ходили противоречивые слухи. Один высокий чиновник рассказал мне, что Берия и его ближайшие помощники были осуждены на судебном процессе. Когда Берия в ожидании исполнения приговора стоял на Лубянке перед крематорием, его последние слова, по рассказам, были следующие: «Всё в обвинительном заключении верно, но я не сделал ничего такого, чего бы не одобрил Сталин».

Здесь я хотела бы кое-что рассказать о моих товарищах по изолятору. Сайма Ахмала приехала в Петрозаводск в 1932 году во время «карельской лихорадки» и там вышла замуж за финна. У них родилась дочь Теллерво. Много лет они жили хорошо, пока НКВД не расстрелял её мужа как шпиона.

Сайма ещё какое-то время проработала кассиром в ресторане. Потом её выселили из квартиры, разрешив жить с Теллерво на чердаке. Единственным источником тепла там была дымоходная труба.

Через несколько месяцев Сайму тоже арестовали. За то, что не донесла на мужа. Её перевозили из тюрьмы в тюрьму, наконец, она оказалась в Потьме, заболела и попала в изолятор. Она была духовно сломлена, её мучило то, что она ничего не знает о

дочери. Все её попытки что-нибудь узнать были безрезультатны. Я помогла ей написать ещё один запрос в Петрозаводск, и она наконец узнала, что Теллерво живёт там. Незадолго до освобождения Сайма просила разрешения вернуться в Финляндию. Получив положительный ответ, она написала в Петрозаводск людям, у которых воспитывалась Теллерво, с просьбой отпустить Теллерво с ней в Финляндию. Одновременно она написала письмо и дочери. Теллерво ответила по-русски. Писала, что финского не знает, Сайму своей матерью не признаёт, её родина — СССР. Ясно, что письмо она писала под диктовку, но невозможно было что-нибудь изменить, и Сайме пришлось ехать в Финляндию одной.

Тяжёлые события выпали и на долю Ольги Хиетала. Она мне рассказывала, что в 1918 году вышла в Петрограде замуж за латыша, он погиб во время кронштадтского восстания[181]. Когда-то Ольга покинула Финляндию нелегально и боялась туда возвращаться, поэтому осталась в Петрограде. В 1932 году она познакомилась с американским финном Лееви Хиетала. Он был по профессии наборщик, его направил с двумя другими наборщиками в Ленинград финский рабочий союз Нью-Йорка, чтобы собрать типографский станок, подаренный американскими финнами ленинградской газете «Вапаус». (Я об этом рассказывала в третьей главе.) Когда типографский станок был собран, товарищи Лееви вернулись в Америку, а он остался обучать ленинградских наборщиков. Решил он остаться потому, что полюбил Ольгу. Ольга и Лееви поженились. Скоро обоих арестовали как американских шпионов. Многие годы Ольгу переводили из одного сибирского лагеря в другой. В конце концов она оказалась в Потьме, в изоляторе. Освободили её позже меня. Родственники стали добиваться для неё разрешения ехать в Хельсинки, но она уже была не в себе. В Ленинграде она стала разыскивать мужа. Получила из Прокуратуры СССР извещение, что её муж умер на Колыме. Заключённые там работали старателями, мало кто выходил оттуда живым.

Я помогала многим товарищам по заключению писать жалобы, в которых они просили изменить приговор. Некоторым срок уменьшали, нескольких даже освободили. Настал день, когда я решила заняться и своими делами. Я написала жалобу на имя Генерального прокурора СССР, но не просила меня освободить, а просто пересмотреть моё дело. Я подчеркнула, что пятнадцать лет провела в заключении, но ни разу меня не судили и никогда мне не сообщали, каким образом я нарушила закон. Если при пересмотре дела выяснится, что я в чём-то виновата, я согласна отбыть любое наказание, назначенное по законам СССР.

В середине октября 1955 года пришёл ответ:

Прокуратура СССР
Военная коллегия Верховного Суда СССР
12.10.1955 г. № 1д-23235-49
Москва, ул. Кирова, 41

Айно Андреевне Куусинен
Мордовская АССР Потьма
Изолятор Зубо-Полянский

В ответ на посланную Вами 15 июля 1955 года жалобу Генеральному прокурору СССР сообщаем, что по постановлению Прокуратуры, МВД и КГБ СССР от 29 августа 1955 года постановления Особого совещания при НКВД СССР от 1939 г. и 1950 г. в отношении Вас отменены и дела прекращены за отсутствием состава преступления.

Прокуратура СССР
Военная коллегия
Майор юстиции Дашкевич

ГЛАВА ДЕВЯТАЯ. Окончательное освобождение и отъезд в Финляндию

Свобода. Я выехала из Потьмы 17 октября 1955 года и 18 октября около пяти утра была в Москве, на Казанском вокзале. Город был погружён в темноту, шёл проливной дождь. Я зашла в привокзальный ресторан обдумать своё положение. Куда идти? С 1953 года, после смерти Сталина, Москва изменилась, теперь простой смертный, говорят, мог войти в дом на Кузнецком, чтобы поговорить с представителем тайной полиции. Я страшно устала, но всё же решила попытать счастья.

Долго брела по мокрым улицам, наконец, нашла нужное здание. Дверь с металлической табличкой одного из подъездов вела в маленькую приёмную. Там уже ждали очереди три женщины, я села с ними. Все молчали.

Скоро человек в форме скучным голосом сказал:

— Следующий.

Одна из женщин вошла в кабинет, но очень скоро вернулась заплаканная. Подошла моя очередь. В небольшом кабинете меня принял офицер, лицо у него было каменное. Не пригласив даже сесть, он спросил, что мне надо.

Я неуверенно стала объяснять, что освободилась из лагеря, не знаю, как начать новую жизнь. Он задал несколько вопросов о моём прошлом. Увидев в справке об освобождении мою фамилию, он спросил, знаю ли я члена Президиума Верховного Совета Куусинена. С нарочитым безразличием я ответила, что знаю.

— Он ваш родственник?

— Это мой муж.

Полковник вскочил, смущённо что-то забормотал, избегая на меня смотреть. Потом снова опустился на стул и, глубоко вздохнув, произнёс:

— Ну и кашу я заварил!

Он разнервничался, не знал, что сказать. Наконец, немного успокоившись, произнёс:

— Я думаю, вы вернётесь к мужу и будете жить с ним.

— Нет.

— Почему? Он, конечно, ждёт вас.

— Сделать это не позволяет мне гордость. Я самостоятельная женщина и хочу строить свою жизнь сама.

Полковник покачал головой.

— Я бы на вашем месте пошёл прямо к мужу, поздоровался и сказал: «Вот, я снова здесь!»

— На вашем месте я, может быть, именно так и поступила бы. Но на своём месте я к нему не пойду, — сказала я.

Наша милая беседа ещё продолжалась, но скоро я поняла, что она ни к чему не приведёт, и попрощалась.

На улице будто разверзлись небесные хляби. Я не знала, что предпринять. Когда-то у меня в этом городе было много друзей, но одних уже нет в живых, других не хотелось беспокоить. Я знала — они всё ещё во власти страха, и действительно, человек, только что вернувшийся из заключения, мог доставить неприятности.

Я снова побрела по мокрым улицам. Решила обратиться в приёмную ЦК партии. В главную дверь огромного здания ЦК может войти любой. Я помнила, что там множество стеклянных дверей, на каждой — табличка с именем высокого партийного чина. Правда, попасть к ним можно лишь с разрешения секретаря. Многие имена были мне знакомы. На одной двери я увидела фамилию мужа и прошла мимо.

Я села в приёмной и написала письмо на имя председателя комиссии партийного контроля, просила меня принять для беседы. Написала, что буду ждать ответа на улице перед зданием. Больше идти мне некуда. Кто-то из сотрудников проводил меня к столу с надписью «Почта». За столом сидела любезная молодая женщина, но она сказала, что личное письмо принять не может. Когда я объяснила, кто я, откуда, она согласилась передать моё письмо. Вряд ли от письма будет толк, думала я, ведь у меня не было обратного адреса.

Снова я на улице, под проливным дождём. Усталость валит с ног, одежда промокла до нитки. Надо что-то делать. Я решила всё же пойти к своим старым друзьям. Может, пустят к себе хоть ненадолго, пока не прояснится моё будущее. От площади Ногина до Гоголевского бульвара, где жили мои друзья, было неблизко. Но я всё же дошла до их дома, несмотря на усталость. Долго стояла перед дверью, боясь, что они не впустят к себе человека, только что вернувшегося из лагеря. Потом всё-таки позвонила. Дверь открыл сам хозяин дома. Он занимал высокий пост. Оба, и он, и его жена, были старыми большевиками. Они приняли меня тепло, как и раньше, сразу усадили за стол. Я рассказала, что сегодня утром вернулась из лагеря, спросила с сомнением, не смогу ли пока у них переночевать. Они согласились. Рассказали о многих наших общих знакомых, погибших в результате сталинского террора.

Они оба торопились на работу. Я осталась одна, наконец-то

можно отдохнуть и собраться с мыслями. Я не могла не вспоминать своё прошлое — как трепала меня жизнь с тех пор, как тридцать три года назад, в 1922 году, я приехала в эту страну.

Хозяин скоро вернулся. Я ему рассказала о своём визите в ЦК, о письме председателю комиссии партийного контроля. Он сразу куда-то позвонил и позвал меня к телефону. Мужской голос спросил моё имя, потом дал телефон некоего полковника Строганова. Строганов просил прийти к нему, это оказалось неподалеку от дома моих друзей. Ещё Строганов сказал, что моё письмо получено и что на улицу из ЦК посылали нескольких человек меня разыскивать.

Я была так слаба и так не уверена в себе, что побоялась идти одна. Друг меня проводил. Я очень удивилась, что по адресу, данному полковником, находилось большое военное учреждение. Чтобы пройти туда, нужен был пропуск. Пропуск я получила, но меня охватила страшная робость, я боялась ходить по зданию одна. Ведь в течение многих лет я не ступала ни шагу без провожатого! Свобода пришла, но привыкнуть к ней было не так-то просто! Комендант здания помог мне найти полковника Строганова. Он меня уже ждал, встретил, дружелюбно улыбаясь. Комиссия партийного контроля назначила его моим «опекуном», но он не знал даже, с чего начать, и попросил сказать, в чём я нуждаюсь. Ответ мой был прост:

— Я тоже не знаю, с чего начать. У меня нет ничего: ни квартиры, ни еды, ни денег — абсолютно ничего! Я смогу переночевать у моих старых друзей, но совесть не позволит мне принять от них что-нибудь ещё.

Полковник Строганов пригласил человека из финансового отдела, мне дали немного денег. Потом он послал меня в офицерскую гостиницу в посёлок Сокол, там меня провели в просторную чистую комнату, в ней уже жили две женщины, офицерские жёны, приехавшие ненадолго в Москву. Я прожила там около трёх месяцев. Полковника Строганова я видела едва ли не через день, от него я получала деньги на житьё и оплату гостиницы. Понимая моё безвыходное положение, он трогательно заботился обо мне, я вспоминаю его с благодарностью. Строганов помог мне оформить документы, необходимые для получения квартиры в Москве. В то время, однако, в распределении жилплощади царило жульничество, квартиры получали только те, кто мог заплатить немалую сумму. Мой опекун к таким людям не относился, поэтому документы мои были почти бесполезны.

В феврале 1956 года я съехала из гостиницы, мой опекун нашёл для меня временное жильё в Кучино, в двадцати минутах езды на электричке от Москвы. Во время войны там содержали

пленных немецких генералов. Сейчас в трёх домах были квартиры для офицеров и их семей. У меня была теперь комната с балконом, я могла в тишине и покое собираться с силами, гулять неподалеку в дубовой роще. Скоро я подружилась с жёнами и детьми офицеров. Жизнь, казалось, наконец-то вошла в спокойную колею. Бывая в городе, я часто заходила ко многим старым друзьям. Но, несмотря на все уговоры друзей, моё оскорблённое самолюбие не позволяло мне связаться с Отто. Строганов по-прежнему помогал мне деньгами, пытался устроить для меня постоянное жильё. Я ему в этом старалась помочь, стояла в очередях перед Моссоветом, но всегда безрезультатно.

Прошло восемь месяцев. Я всё курсировала между учреждениями, распределявшими квартиры, и кабинетом Строганова. Несмотря на обилие официальных документов и справок, которые я постепенно собрала, чиновники на всех этажах власти, сверху донизу, будто объединились против меня. Снова и снова я возвращалась к Строганову, чтобы рассказать о неудачах.

В очередной раз я пришла в подвальное помещение Моссовета. В конце длинного зала сидела секретарша, очередь к ней тянулась через весь зал. Мне ещё ни разу не удавалось дождаться своей очереди и дойти до стола этой строгой женщины. Рядом со столом была дверь и на ней надпись: «Начальник».

Потеряв терпение, я протиснулась в начало очереди и попросила у высокомерно глядевшей на меня женщины разрешения пройти на приём к начальнику. Она ответила: «Начальник занят».

Я отправилась прямо к Строганову, чтобы сказать, что стоять там в очереди явно бессмысленно. Я никогда не получу в Москве квартиру! Я рассказала ему, что своими глазами видела, как старая, бедно одетая женщина упала в обморок перед столом секретарши, услышав, что многие в течение пяти лет приходили туда каждый день. Но, по просьбе Строганова, я всё же согласилась пойти ещё раз.

Итак, я снова в подвале. К моему удивлению, зал был пуст. «Наверное, какой-нибудь праздник?» — подумала я. Но потом разглядела, что дверь начальника приоткрыта. В комнате была незнакомая женщина. Оказалось, начальник в отпуске, она его замещала. Я объяснила, что пришла по своему заявлению. Когда я его написала? Всего два с половиной месяца назад?

— Ну, тогда его ещё наверняка не рассматривали, — сказала она, улыбаясь. — У нас слишком много работы.

— Но у меня много рекомендаций и подписи советских

руководителей.

— Это ничего не значит.

— Я бы не хотела обращаться в другие инстанции. Мои влиятельные друзья не раз за меня хлопотали. Но это ни к чему не привело. Мне придётся прибегнуть к другим способам.

— Каким?

— Вы подчиняетесь президенту Ворошилову?

— Можете обращаться к кому угодно. Распределением жилья занимаемся мы, и никто не вправе вмешиваться в наши дела. Квартиру получите через нас. Если получите…

С меня довольно, решила я. Перед уходом выяснила, как фамилия этой женщины.

Я кипела от гнева. Дома сразу написала подробное письмо президенту Ворошилову. Я описала, с какими сложностями сталкиваются люди, желающие получить квартиру от Моссовета.

Произошло чудо! Письмо открыло путь к успеху!

Через несколько дней меня пригласили в Моссовет, уже не в подвал, сразу спросили, какую квартиру я хочу, в каком районе.

— Мы получили распоряжение Ворошилова — вы только скажите, какую хотите квартиру.

Мне, бывшей политзаключённой, было так непросто вернуться к нормальной жизни. Насколько же это было сложнее, а часто просто невозможно для простых людей, не имевших такой поддержки, как я.

Многие из моих старых друзей погибли или умерли. Но, к моей радости, жива была ещё Елена Стасова, я с ней подружилась много лет назад, когда мы с Куусиненом жили с ней в одном доме. Ей было сейчас больше восьмидесяти лет, она плохо видела, но душой была всё ещё молода. Я прожила у неё несколько недель. Она тоже подверглась гонениям, но теперь была восстановлена во всех правах и жила на небольшую пенсию. Каждое утро она диктовала свои воспоминания секретарю.

Елена Стасова происходила из богатой дворянской семьи, получила хорошее образование. С детства знала английский, немецкий и французский. Отец её, Дмитрий Стасов, знаменитый адвокат, защищал в царское время интересы политических заключённых. После школы Елена училась на преподавателя. Познакомившись с молодым энергичным студентом Ульяновым, примкнула к революционному движению.

Елена была настоящим большевиком, во многом активно помогала Ленину. По его инициативе её назначили секретарём ЦК партии, на этой высокой для женщины должности она пробыла с 1917 по 1920 год. После образования Коминтерна её послали в Европу, в частности в Берлин, в качестве политического

советника. Я уверена, что в Коминтерне она была наиболее способным организатором нелегальной работы. После провала коммунистического мятежа в Германии в 1923 году Елену перевели снова в Москву, в МОПР (Международная организация помощи борцам революции)[182]. В задачи организации входила помощь политзаключённым и революционерам в капиталистических странах. После роспуска МОПРа Стасова стала главным редактором журнала «Интернациональная литература», выходившего на немецком, английском и французском языках. Но Сталин её уволил, и восемь месяцев её продержали в тюрьме под названием Спецкорпус, куда помещали особо опасных политических заключённых.

Елена Стасова отличалась от большинства революционеров. Она была настоящей идеалисткой и оптимисткой, во всём видела лишь хорошие стороны, даже в самые мрачные времена. Что бы ни происходило с ней или её близкими, она оставалась верна своим идеалам.

Как бывший секретарь ЦК, Елена знала революционеров старшего поколения лучше, чем кто-либо другой, поэтому с нею часто консультировался генеральный прокурор и чиновники других учреждений. Она мне рассказала, что ей звонили из Прокуратуры СССР, справлялись, знала ли она меня до чисток и какого она обо мне мнения. Через Стасову генеральный прокурор передал мне просьбу написать о применении незаконных методов допроса, дав понять, что виновные в этом следователи предстанут перед судом. Немного поразмыслив, я сказала Елене, что один из следователей, полковник Полянский, вёл себя на допросах чудовищно, но я давать показаний против него не хочу.

— Передайте генеральному прокурору, что я хочу как можно скорее забыть этот отрезок моей жизни. Мне совершенно всё равно, будут ли все эти двадцать шесть человек, допрашивавших меня, расстреляны или же станут министрами…

В дождливый день в конце октября я переходила Гоголевский бульвар, как вдруг шедший мне навстречу человек воскликнул:

— Айно Андреевна! Неужели это вы?

Я узнала брата генерала Берзина. Он оставался в Потьме после моего освобождения. Выглядел он больным и усталым, одет был неряшливо. В Потьме он выглядел лучше. Он, как и его более известный брат, тоже был старый большевик, после победы революции работал на высоких постах, был даже генеральным прокурором. При Сталине был арестован. Теперь реабилитирован.

— Где вы живёте? Вы встречались со своим мужем? — спросил он.

Я ответила, что мужа не видела и встречаться с ним не собираюсь, что мне по распоряжению ЦК помогает один полковник, снабжает меня деньгами и пытается добиться для меня квартиры.

Он был явно удивлён.

— Я рад за вас. А вот для меня никто ничего не хочет делать!

— Где же вы живёте?

— ЦК взял в своё распоряжение деревянный барак на окраине города, там я и ночую вместе с сотней других освободившихся из лагерей. Для меня, старого большевика, никто ничего не сделал. А сколько лет я и мой брат служили партии!

Ещё несколько печальных слов, таких же унылых, как и погода, и мы расстались, пожелав друг другу успехов. Я ещё раз оценила помощь полковника Строганова.

Наконец-то я могу переехать в свою квартиру! Полковник Строганов дал мне денег на квартплату и обстановку. Я сама себе казалась богачкой.

Дела мои постепенно налаживались, и я решила узнать, что с моим братом Вяйнё. Я ничего не слышала о нём почти двадцать лет, с тех пор, как его в декабре 1935 года арестовали в Петрозаводске и отправили в Ленинград. Я написала жене Вяйнё в Петрозаводск, но ответа не получила. Поехала туда сама, но её не нашла. Три с половиной года я писала запросы в разные инстанции.

Наконец в мае 1960 года пришёл официальный ответ из Петрозаводска. В нём говорилось, что приговор, вынесенный Вяйнё 11 ноября 1937 года, отменён за отсутствием состава преступления, Вяйнё посмертно реабилитирован. Жену, видимо, постигла участь Вяйнё — за недонесение властям «о шпионской деятельности» мужа.

Вскоре после того, как я переехала в отдельную квартиру, меня вызвали в отдел кадров Генерального штаба. Когда я пришла, меня провели в просторный кабинет. За длинным столом сидели офицеры. Председательствовал адмирал. Он произнёс краткую речь, в которой выразил сочувствие по поводу несправедливого ко мне отношения. «Мы надеемся, что вы сумеете забыть пережитое», — сказал он. Это, видимо, и называлось «реабилитацией». Потом один из генералов проводил меня к выходу и, прощаясь, тоже посоветовал забыть прошлое. Я ответила: «Если я вам это пообещаю, то скажу неправду. Я никогда не смогу забыть эти годы». Генерал тихо произнёс: «Да, конечно, я вас понимаю».

В 1957 году мне ещё раз довелось побывать в здании Генерального штаба. Пошла я туда в сопровождении полковника,

соседа по дому.

В зале заседаний собрались высокие офицерские чины, были даже маршалы. Заседание от имени ЦК открыл человек в штатском. Потом заговорил другой: «Вчера маршал Жуков держал в ЦК ответ за свои антипартийные действия. ЦК постановило освободить его от должности министра обороны» И всё! Председатель спросил, хочет ли кто-нибудь высказаться. Встал мой сопровождающий. Сказал, что прошёл две мировые войны и хочет знать, чем вызвана отставка. Он лично знает маршала Жукова. Председательствующий вспылил: «Полковник, вы — старый член партии. Как вы можете не доверять партии? Дело уже рассмотрено и решение принято». Следующим слово взял пожилой офицер. Он полностью одобрил решение ЦК. Приняли решение единогласно, и на этом заседание закончилось.

Когда мы шли домой, мой спутник всё возмущался тем, как низко обошлись с любимцем народа. Ясно, почему так произошло, говорил он: маршал стремился ограничить влияние политических сил в армии. За что и впал в немилость.

Спустя несколько дней от старых партийцев я узнала, как происходило снятие Жукова. Маршал как раз вернулся из поездки в Югославию и Албанию. Хрущёв встретил его во Внуково и отвёз в ЦК. Присутствовало всего несколько партийных руководителей, в том числе секретарь ЦК Екатерина Фурцева. Хрущёв произнёс речь об антипартийных действиях Жукова. Потом Фурцева обвинила Жукова в самолюбовании: Жуков считает себя чуть ли не Георгием Победоносцем, заказал даже портрет — на белом коне. Подпись гласила: «Георгий Жуков, Георгий-победитель, освободивший немецкий народ». По его же инициативе портрет повесили в музее Красной Армии. Но кто на самом деле освободил народ Германии от фашистов? Не Жуков, а бойцы Советской Армии! Так закончила Фурцева.

Жуков спокойно ответил, что Никита Сергеевич не имеет ни малейшего понятия о военных делах. На Фурцеву он лишь взглянул презрительно.

Какое-то время Жукова, по слухам, держали под арестом. На следующий день «Правда» писала, что партия и только партия одержала победу в войне, что советский народ и вооружённые силы обязаны победой руководству Центрального Комитета. Многие читатели прекрасно поняли, против кого была направлена статья.

В Москве в то время было много китайцев. Отношения между Пекином и Москвой начали уже портиться, но тем не менее Мао Цзедуна в 1957 году принимали в СССР чрезвычайно торжественно. Тысячи, сотни тысяч москвичей высыпали на

улицы. Размахивали китайскими флажками, скандировали: «Да здравствуют Мао и Китай!» Дружбе между двумя странами, казалось, нет границ. Некоторые москвички даже всерьёз утверждали, что Мао необычайно красив.

Народ не подозревал о назревавшем конфликте, верил в нерушимую дружбу. «Когда мы заодно с Китаем, Америке с нами не справиться», — сказал мне один знакомый.

Не любили китайцев только студенты. Китайцы наводнили вузы и общежития, своим же, советским, мест оставалось мало. Иностранные студенты получали большую стипендию, имели привилегии, за это их и не любили.

Но в один прекрасный день идиллии пришёл конец. В 1959 году отношения между двумя странами окончательно испортились. Многие, правда, думали, что это ненадолго: китайцам, мол, без нас не справиться, не восстановить свою промышленность.

Я твёрдо решила осуществить свою мечту — уехать на родину, в Финляндию. Но пока был жив мой муж, занимавший высокий пост, у меня не было никакой надежды даже получить заграничный паспорт, особенно для поездки в Финляндию. Это стало окончательно ясно в 1958 году, когда компартия Финляндии пригласила Куусинена на 40-летие основания партии. Правительство Финляндии отказало ему во въездной визе.

Если бы я получила визу, это, несомненно, расценили бы как оскорбление, нанесённое Куусинену и СССР. Хотя я была совершенно уверена, что правительство Финляндии ничего не имело против меня лично, я ведь не сделала ничего против интересов моей родины. В то же время я была убеждена, что лишь смерть Куусинена откроет мне возможность уехать в Финляндию.

Ждать отъезда пришлось ещё девять лет. За всё это время (1955—1964) я ни разу не встречалась с Куусиненом, хотя он иногда мне звонил, предлагал помощь. Я всегда отказывалась, помня, что он ни разу даже пальцем не пошевелил, чтобы уберечь меня от тюрем и лагерей.

Когда я узнала, что Отто лежит в кремлёвской больнице, я написала ему (13 мая 1964 года) письмо, в котором впервые рассказала, как упорно я его защищала, когда от меня требовали подтвердить, что он английский шпион. В письме я осуждала его за то, что он не пришёл на помощь финнам — друзьям и товарищам по партии, когда их уничтожали. Я упомянула Гюллинга, Хеймо и Маннера.

Отто Вилле Куусинен умер через четыре дня, 17 мая 1964 года, в возрасте восьмидесяти трёх лет.

На следующий день, 18 мая 1964 года, во всех газетах был помещён портрет Куусинена в траурной рамке и некролог, где особенно подчёркивалась дружба Куусинена с Лениным, его большое значение как теоретика партии. Траурные портреты Отто были выставлены в витринах магазинов и правительственных зданий.

На следующий день я с утра села у окна. Что-то должно было произойти. Я ведь была официальной женой Куусинена.

Долго ждать не пришлось. Ровно в одиннадцать часов перед домом на Смоленском бульваре остановился чёрный «кадиллак», из него вышли двое. Одного из них я узнала сразу. Это был Александр Шелепин[183], заместитель премьер-министра СССР. Второй, генерал в парадной форме, был мне незнаком. Когда я открыла дверь, Шелепин поклонился и пожал мою руку.

— Госпожа Куусинен, — сказал он, — мы приехали, чтобы проводить вас на траурную церемонию.

Я хотела что-то сказать, но он сделал знак молчать.

— Мы знаем, что вы не жили с вашим мужем. Но вы должны понять, что надо соблюдать некоторые формальности. Церемония начнётся через час. Могу ли я попросить вас одеться в чёрное?

Он, конечно, не догадывался, что чёрный костюм был у меня уже приготовлен, о «формальностях» я знала больше, чем многие другие. Я быстро переоделась и торжественно, в сопровождении Шелепина и генерала вышла из дома. Мы в молчании на большой скорости проехали до Дома Советов.

Гроб Куусинена стоял на возвышении. Руководители правительства и партии сменялись в почётном карауле, мимо гроба шла бесконечная вереница тысяч москвичей. Я несколько минут посидела у возвышения, потом меня провели в комнату, где мне пришлось, испытывая чувство неловкости, принимать соболезнования. Передо мной шла бесконечная вереница людей. Бормотали слова соболезнования, сочувствия, говорили, что смерть моего мужа — потеря для всей страны. Через какое-то время я снова вернулась к гробу. Кто-то произнёс речь, в которой превозносились заслуги Куусинена перед СССР. Когда он кончил, я поняла — моя миссия завершена, пора уходить.

Я повернулась, чтобы идти. Шелепин остался сидеть, меня проводил генерал. Он торопился, ведь задание было выполнено! Домой я ехала одна, шофёр тоже явно хотел от меня скорее избавиться, даже не потрудился открыть дверцу, когда мы подъехали к моему дому. Я вышла из машины. Теперь я была действительно одна.

Впервые для меня блеснул луч надежды — неужели

наступила настоящая свобода? Неужели я вырвусь из этого города, из этой страны, поправшей мои человеческие права, избавлюсь от ужаса и страхов? Может быть, теперь, когда от Куусинена осталось только имя, мне, наконец, разрешат уехать? Я вспомнила прошлое, свою и чужие судьбы. К Отто я не испытывала никаких чувств. Я была горда, что жива, все остальные чувства подавило время и моё отвращение. Я прошла через Воркуту, о каких чувствах может идти речь! Я была жива, а его уже не было.

Я сидела часами, стараясь понять, что за человек был Куусинен. Никакие кремлёвские архивы — даже если их когда-нибудь откроют — не смогут дать объективного представления об его характере, его личности. Куусинен всегда останется для советского правительства — нынешнего и будущих — чем-то инородным. Он был иностранец, родился не на русской земле, знал шведский и немецкий, читал по-французски. Но по-русски до последнего говорил с сильным акцентом, речь всегда выдавала в нём иностранца.

А может, это и было его главным преимуществом? Почти полстолетия О. Куусинен был в сердцевине не только КПСС, но и правительства СССР. Удивительно, что иностранец продвинулся на ведущие должности в правительстве, но уж совсем непонятно, как он удерживался на них так долго, несмотря на все изменения политических течений.

Он пережил Ленина и Сталина, был ближайшим соратником обоих. Сталину он был необходим, это был его «логос». Сталин мало знал о капиталистических странах, о дипломатии, а Куусинен был искусный дипломат, хорошо знал обстановку в других странах. Он устраивал Сталина ещё и тем, что всегда оставался в тени.

Скромность? Нет. Он был крайне честолюбив, ревниво следил, как осуществляются его планы. Но после, когда дело было сделано, он легко позволял другим присваивать себе славу. В глубине души Отто был самоуверен до циничности, он никогда бы не склонился ни перед кем. Он был непоколебим в своей уверенности, что в мире нет человека способнее его, особенно низко ценил данные Сталина. Но умел так ловко изложить Сталину свои предложения, что тот принимал мысли Отто за свои собственные.

Возможно, успех Отто объясняется и тем, что его как иностранца многие вещи в России не трогали, и он давал это понять. Он безразлично относился к строительству коммунизма в России, к вопросам экономики и политики: трагедия коллективизации, террор, аресты невиновных — всё прошло

мимо него. Он немного очнулся, лишь когда чистки затронули Коминтерн.

Желая сосредоточиться на том или ином вопросе, он погружался в свой мир, не замечая, что творится вокруг. Во время страшного наводнения в 1925 году в Ленинграде Куусинену позвонил с Кавказа Зиновьев, секретарь Ленинградского обкома, сообщил, что прерывает отпуск из-за этого страшного бедствия.

Отто ответил:

— Да, это ужасно.

Закончив разговор, спросил у меня:

— Что там стряслось в Ленинграде, почему Зиновьев прервал отпуск?

— Каждый школьник в Москве знает о наводнении, только Отто Куусинен ничего о нём не слышал! Хоть бы заглянул в газету! — ответила я.

Отто спокойно сказал:

— Ну, ты всё же никому не рассказывай, что я не знал о наводнении…

На само наводнение ему было наплевать.

На официальных приёмах и торжествах он почти не бывал, ордена не надевал. Стремление к популярности среди народа, выступления — всё это было ему чуждо. Мудрая осторожность, сильное чувство самосохранения были его главными качествами.

Он был всегда нужен тем, кому принадлежала власть, точно знал, как надо обращаться с новым господином. Поэтому он и выжил в годы террора.

В пример можно привести отношения между Куусиненом и Троцким. Вначале Куусинен открыто восхищался Троцким как превосходным организатором, талантливым командиром. Но однажды Троцкий осмелился публично оскорбить Куусинена. Этого Отто ему не простил. Когда впоследствии теория «перманентной революции», выдвинутая Троцким, потерпела крах, когда победителем оказался Сталин, Отто стал рьяным противником Троцкого. Но лишь после того, как тот был окончательно побеждён.

Однажды Куусинен хвалился мне, что за свою жизнь «менял шкуру, как змея, семь раз».

Семь раз менялись его взгляды. В школьные годы он был набожен, много молился, часто ходил в церковь. В Хельсинкском университете он сбросил «шкуру верующего», стал патриотом и националистом. Но потом запил. Затем всерьёз заинтересовался судьбой рабочих, стал политиком, членом социал-демократической партии. Его избрали в парламент. Когда в 1918 году в Финляндии вспыхнула революция, он превратился в

марксиста, в страстного сторонника мировой революции. Позднее, уже после нашего разрыва, он убедил Сталина в том, что мировую революцию можно совершить только вооружённым путём.

Он всегда держал нос по ветру, с лёгкостью изменял бывшим своим товарищам. Я не смогла вспомнить ни одного случая, когда бы Куусинен помог кому-нибудь в беде. Единственное исключение — Штанге, о котором я писала во второй главе. Когда в Карелии был арестован сын Отто, он и пальцем не пошевелил, чтобы ему помочь. Через какое-то время его освободил Берия, но слишком поздно, сын был уже смертельно болен туберкулёзом.

Куусинен ничего не сделал, чтобы спасти своих соратников по Коминтерну Мауно Хеймо и Ниило Виртанена. Не помог он и Эйнари Лааксовирта, брату своей первой жены. В начале книги я писала о его неудачной поездке в Германию с попыткой провести валютную операцию. Когда Лааксовирта вернулся в Москву, Куусинен отправил его работать в Карелию. Спустя некоторое время его решили исключить из партии, послали запрос в контрольную комиссию. Зная, что Лааксовирта — шурин Куусинена, председатель комиссии Ярославский обратился к Куусинену. Ответ мужа я видела своими глазами: «…Лааксовирта никогда не был коммунистом и никогда им не станет. Поступайте, как считаете нужным». И Лааксовирта расстреляли как «финского шпиона».

Отто отказывался помогать даже в мелочах. Маннер после своего ареста передал через кого-то из знакомых просьбу, чтобы ему послали тёплое бельё — у него был ревматизм — и немного мыла. Но Отто посоветовал ничего не посылать.

Куусинен был страшно вспыльчив, если кто-нибудь его задевал, он не забывал этого никогда. Раз вечером нам позвонили из Ленинграда: работник ГПУ, по происхождению финн, сообщил, что умер старый товарищ Отто по партии — Эвя. В Финляндии Эвя был когда-то членом парламента от социал-демократической партии. Он участвовал в красном мятеже и позже переехал в Ленинград, стал там одним из руководителей финляндской компартии. Узнав о его смерти, Отто саркастически заметил: «Ну и хорошо! Смерть — это единственное, что он смог сделать для революции». Позже я узнала, что Эвя на каком-то собрании выступил против Отто. Тот его выступления не забыл.

У Отто никогда не было близких друзей. Единственное исключение — Николай Бухарин, в 20-е годы они были очень близки. Бухарин был многие годы главным редактором «Правды». Человек он был живой, обаятельный, весёлый. Студенты его любили, на его лекциях в Институте красной профессуры

аудитория всегда была переполнена. Бухарина связывала с Куусиненом страсть к вопросам политики и идеологии. В те годы Бухарин был единственным человеком, кто мог прийти к нам, не предупредив заранее. Он жил в том же доме и, подписав очередной номер «Правды», по пути домой часто заходил к нам. Они с Куусиненом часто сидели до зари, обсуждая проблемы Коминтерна. Однажды Бухарин даже заснул на диване в кабинете Отто и на следующее утро прямо от нас пошёл в редакцию.

Помимо политики было у Бухарина и второе увлечение: он был страстный охотник. Не раз он привозил нам с Кавказа дичь, чаще всего фазанов. Однажды привёз из сухумского зоопарка живую обезьянку.

Дружба Отто с Бухариным продолжалась до 1929 года. В 1929 году Бухарин был изгнан из «Правды» и из Коминтерна. И именно Отто, его старый товарищ, произнёс в ЦК самую желчную речь. Так было не только с Бухариным. Многим финнам, своим товарищам по партии, он помог скатиться в пропасть. Когда опасность нависала над самим Отто, эмоций для него не существовало.

На следующий день после отстранения Бухарина от дел Коминтерна я встретила товарища Ломинадзе, он в то время был председателем Коммунистического интернационала молодёжи. Его кабинет находился на верхнем этаже здания Коминтерна. Он, как и все, знал о дружбе Бухарина с Куусиненом.

— Ну а что думает Куусинен? — спросил он.

— О чём это?

— Теперь пришла его очередь, не так ли?

— С Куусиненом будет всё в порядке.

— Почему вы так думаете?

— Потому что Отто всегда чует опасность.

Через несколько лет Сталин уничтожил Ломинадзе. Грузина, лучшего своего друга.

Чего же Отто ждал от жизни? Юрьё Сирола, хорошо знавший его ещё в молодости, рассказывал, что когда-то Отто был поэтом, романтиком, интересовался искусством. Друзья его ценили. Но так до конца и не поняли.

Он был как бы окутан тайной. С годами качество это усиливалось: в любой компании он казался посторонним. Во многих соратниках он вызывал страх, хотя часто казался робким, был даже скромен. Он не любил простых финских рабочих. Возможно, из-за незнания практической жизни. Техника, промышленность были ему чужды, он ни разу не был ни на одном финском или советском заводе, не знал ни жизни рабочих, ни

производства.

Это был политик, теоретик, работа его проходила «за кулисами».

Я долго размышляла и пришла к выводу, что главное в этом человеке — то, что он ненавидел, а не то, что любил. С какой горечью он вспоминал Финляндию, свою родину! Поражение красных в 1918 году было для него незаживающей раной. Однажды он сказал мне: «Наша главная ошибка состояла в том, что мы не свергли правительство Свинхувуда. Во второй раз мы такой ошибки не допустим!»

В революционном правительстве Куусинен занимал пост министра просвещения. Когда революция потерпела поражение, всё руководство сбежало в Россию, бросив остальных в Финляндии. За дела своих руководителей рядовые революционеры поплатились жизнью. О Финляндии Куусинен говорил всегда с ненавистью, не любил даже свой язык. После смерти Ленина и Гюллинга он добился того, что в школах Карелии преподавание стали вести на русском языке.

Судя по всему, Отто мечтал покорить Финляндию. Однажды он мне признался, что хотел бы взять власть в Финляндии, а впоследствии стать «проконсулом» всей Скандинавии. А когда коммунизм победит во всей Европе, он снова вернётся в Москву, и весь мир будет подчиняться его воле.

Он, конечно, имел в виду, что всё это будет завоёвано вооружённым путём. Как я уже говорила, в середине 30-х годов он пришёл к убеждению, что победы коммунизма не достичь политическими средствами, нужна военная сила.

Первый шаг к этому Советский Союз сделал 30 ноября 1939 года, когда Красная Армия пошла на Финляндию. Роль Куусинена здесь, несомненно, была велика. Он хотел взять реванш, вернувшись на изгнавшую его родину с Красной Армией. В этой войне, принесшей столько горя финскому народу, повинен и он.

Несмотря на изменения в СССР, Куусинен шаг за шагом поднимался всё выше. Он твёрдо шёл курсом Сталина. И так же твёрдо шёл курсом последующих руководителей. В 1941 году он вошёл в ЦК, в 1957 году — в Политбюро. Это была вершина карьеры. С 1940 по 1958 год он был заместителем председателя Президиума Верховного Совета, то есть вице-президентом Советского Союза. Шестнадцать лет (1940—1956) был председателем Президиума Верховного Совета Карело-Финской республики, хотя вряд ли участвовал в управлении этой так называемой республикой.

Наибольшие заслуги Куусинена в Советском Союзе несомненно связаны с внешней политикой. Он восемнадцать лет

руководил Коминтерном, был председателем комитета Верховного Совета по иностранным делам. По слухам, последнее, что он сделал, — провёл секретную встречу с Мао Цзедуном в 1962 или 1963 году, пытаясь урегулировать отношения между Китаем и Советским Союзом.

Как странно, что этот человек, сыгравший такую роль в политике огромной страны, был иностранцем, чужаком. Его ведь, в сущности, мало интересовал Советский Союз. Строя свои тайные планы, он не думал о благе России. И даже не мечтал о победе коммунизма. Нет, этот чужак имел лишь одну цель: пройти победным маршем по земле своей родины.

На получение заграничного паспорта у меня ушло ещё много месяцев. Нужно было официальное свидетельство, что я родилась в Финляндии, и мне его прислала Хертта Куусинен на бланке финляндской компартии. Поздней осенью 1964 года я подала советским властям прошение на выезд. Через три месяца я получила заграничный паспорт, на год. В посольстве Финляндии проставили визу, я могла находиться в Финляндии три месяца. Вечером того же дня я села в поезд и 23 февраля 1965 года пересекла границу Финляндии.

notes

Примечания

1

Куусинен Отто Вильгельм (1881—1964) — деятель финляндского и международного рабочего и коммунистического движения, Коммунистической партии Советского Союза и Советского государства. С 1904 г. — член финской социал-демократии, в 1911—1917 гг. — председатель Исполкома Социал-демократической партии Финляндии. В январе—апреле 1918 г. — член Совета народных уполномоченных — правительства Финляндской рабочей республики. Один из основателей в 1918 г. Коммунистической партии Финляндии. В 1921—1939 гг. — секретарь Исполкома Коминтерна (с декабря 1921 г. по декабрь 1922 г. — генеральный секретарь ИККИ). С марта 1922 г. — кандидат в члены Президиума ИККИ, с декабря 1922 г. — член Президиума ИККИ. В декабре 1939 г. — глава так называемого правительства Финляндской демократической республики. В 1940—1958 гг. — председатель Президиума Верховного Совета Карело-Финской ССР, заместитель председателя Верховного Совета СССР. С 1940 г. — депутат Верховного Совета СССР. С 1941 г. — член ЦК ВКП(б). С июня 1957 г. — секретарь и член Президиума ЦК КПСС.

2

См.: Правда, 1922, 3 декабря.

З

Зорге Рихард (1895—1944) — деятель германского рабочего движения, в 1917—1919 гг. — член Независимой социал-демократической партии Германии (НСДПГ), с 1919 г. — член Компартии Германии, с 1925 г. — член ВКП(б). В 1924—1928 гг. — сотрудник аппарата Коминтерна, с 1929 г. — советский разведчик. В 1941 г. арестован в Японии, в 1944 г. казнён. В 1964 г. посмертно присвоено звание Героя Советского Союза.

4

В ночь с 27 на 28 января 1918 г. отряды Красной гвардии заняли Хельсинки. Было образовано революционное правительство — Совет народных уполномоченных. В его состав вошли К. Маннер (председатель), Э. Гюллинг, Ю. Сирола, О. Куусинен, А. Тайми и другие. Основу власти в стране составили сеймы рабочих организаций. Бежавшее на север страны правительство Свинхувуда обратилось за помощью к Германии, которая направила в Финляндию экспедиционный корпус. Рабочая революция к маю 1918 г. была подавлена, в стране наступил белый террор.

5

Пеккала Эйно (1887—1949) — финский социал-демократ, в рабочем движении участвовал с 1905 г., адвокат, в 1920—1923 гг. — член Исполкома Социалистической рабочей партии Финляндии, в 1930—1935 гг. — политзаключённый, в 1946—1948 гг. — член Исполкома Демократического союза народа Финляндии, министр просвещения, затем министр юстиции.

6

Таннер Вяйне Альфред (1881—1966) — деятель финляндского рабочего движения, правый социал-демократ, в 1919—1926, 1957—1963 гг. — председатель Социал-демократической партии Финляндии. В 1926—1927 гг. — премьер-министр, в 1939—1940 гг. — министр иностранных дел Финляндии.

7

Сирола Юрьё Элиас (1876—1936) — деятель финляндского и международного рабочего и коммунистического движения, с 1903 г. — член СДПФ, в 1918 г. — член Совета народных уполномоченных Финляндской рабочей республики. Один из основателей КПФ, в 1921—1922 гг. — член ИККИ, в 1925—1927 гг. работал в США по заданию Коминтерна, с 1928 г. — член Интернациональной контрольной комиссии Коминтерна.

8

Лааксовирта Эйнари (1885—1935) — деятель рабочего движения Финляндии, в 1912—1918 гг. — член Социал-демократической партии, с 1918 г. — Компартии Финляндии. В 1918 г. — заместитель наркома внутренних дел Финляндской рабочей республики, в 1923 г. переведён в члены РКП(б). В 30-е годы — сотрудник Международного аграрного института. Арестован в 1935 г. и расстрелян. Посмертно реабилитирован.

9

Имеется в виду война 1618—1648 гг. между габсбургским блоком (испанские и австрийские Габсбурги, католические князья Германии) и антигабсбургской коалицией (германские протестантские князья, Франция, Швеция, Дания).

10

Гинденбург Пауль фон (1847—1934) — генерал-фельдмаршал (с 1914 г.), с 1925 г. — президент Германии.

11

Троцкий (Бронштейн) Лев Давыдович (1879—1940) — профессиональный революционер, в социал-демократическом движении с 1897 г., с 1917 г. — большевик, в сентябре—ноябре 1917 г. — председатель Петроградского Совета, после Октября — нарком по иностранным делам, председатель Реввоенсовета Республики, нарком по военным и морским делам. В 1919—1926 гг. — член Политбюро ЦК партии. С 1923 г. — лидер оппозиции. В 1927 г. исключён из партии и сослан. В 1929 г. выслан из пределов СССР. Основал в 1938 г. IV Интернационал. Убит сталинским агентом Р. Меркадером.

12

Мирбах Вильгельм (1871—1918) — германский дипломат, граф. С апреля 1918 г. посол в Москве при правительстве РСФСР. Убит левым эсером Я. Г. Блюмкиным, что послужило сигналом к левоэсеровскому мятежу.

13

Рыков Алексей Иванович (1881—1938) — профессиональный революционер, большевик, член партии с 1898 г., член ЦК в 1905—1907, 1917—1918 и 1920—1934 гг. (кандидат в 1907—1912, 1934—1937 гг.), член Политбюро ЦК в 1922—1930 гг. В 1917 г. — нарком по внутренним делам, в 1918—1921, 1923—1924 гг. — председатель ВСНХ РСФСР (СССР). С 1921 г. — заместитель председателя СНК и СТО РСФСР. В 1924—1930 гг. — председатель СНК СССР и РСФСР, в 1931—1936 гг. — нарком связи СССР. В 1937 г. исключён из партии и арестован. Расстрелян 15 марта 1938 г. Посмертно реабилитирован.

14

Стасова Елена Дмитриевна (1873—1966) — профессиональная революционерка, большевичка, член партии с 1888 г., член ЦК в 1918—1920 гг., в 1917—1920 гг. — секретарь ЦК РКП(б), в 1921—1926 гг. работала в аппарате Коминтерна, в 1927—1937 гг. — председатель ЦК МОПР СССР, в 1935—1943 гг. — член Интернациональной контрольной комиссии Коминтерна.

15

Бухарин Николай Иванович (1888—1938) — профессиональный революционер, деятель российского и международного рабочего и коммунистического движения, большевик, член партии с 1906 г., член ЦК в 1917—1934 гг. (кандидат в 1934—1937 гг.), член Политбюро ЦК в 1924—1929 гг. (кандидат с 1919 г.). В 1919—1929 гг. — член ИККИ и Президиума ИККИ, в 1926—1929 гг. — член Политсекретариата ИККИ. В 1937 г. исключён из партии и арестован. Расстрелян 15 марта 1938 г. Посмертно реабилитирован.

16

Радек (Собельсон) Карл (1885—1939) — профессиональный революционер, участник социал-демократического движения Галиции, Польши и Германии с начала XX века, член большевистской партии с 1917 г., в 1919—1924 гг. — член ЦК РКП(б), в 1920—1924 гг. — член ИККИ, в 1921—1924 гг. — член Президиума ИККИ, секретарь ИККИ в 1920 г. В 1918 г. — «левый коммунист», один из лидеров оппозиции в 1923—1927 гг. В 1927 г. исключён из ВКП(б), в 1929 г. восстановлен, в 1936 г. вновь исключён. В январе 1937 г. осуждён. Посмертно реабилитирован.

17

Киров (Костриков) Сергей Миронович (1886—1934) — профессиональный революционер, большевик, член партии с 1904 г., член ЦК с 1923 г. (кандидат с 1921 г.), член Политбюро ЦК с 1930 г., секретарь ЦК с 1934 г. С 1926 г. — первый секретарь Ленинградского губкома и горкома партии. Убит 1 декабря 1934 г.

18

Аллилуева Надежда Сергеевна (1901—1932) — жена И. В. Сталина, член партии с 1918 г., с 1919 г. работала в аппарате Совнаркома. В 1932 г. застрелилась или была убита.

19

Енукидзе Авель Сафронович (1877—1937) — профессиональный революционер, большевик, член партии с 1898 г., советский государственный и партийный деятель, в 1917 г. — член Петроградского ВРК. Член ЦК партии с 1934 г. С 1918 г. — секретарь Президиума ВЦИК, в 1922—1935 гг. — секретарь Президиума ЦИК СССР. Жертва сталинщины. Посмертно реабилитирован.

20

Ломинадзе Виссарион Виссарионович (1897—1935) — большевик, член партии с 1917 г. В 1922—1924 гг. — секретарь ЦК КП(б) Грузии, в 1925—1926 гг. — секретарь Исполкома Коммунистического интернационала молодёжи (КИМ), в 1926 г. — член Президиума ИККИ, в 1930 г. — секретарь Заккрайкома ВКП(б), кандидат в члены ЦК ВКП(б) с 1925 г., член ЦК в 1930—1934 гг. В 1934 г. исключён из партии, застрелился.

21

Орджоникидзе Григорий Константинович (1886—1937) — профессиональный революционер, большевик, член партии с 1903 г., советский партийный и государственный деятель. Член ЦК в 1912—1917, 1921—1927 гг. и с 1934 г. Член Политбюро ЦК с 1930 г. (кандидат с 1926 г.). В 1926—1930 гг. — председатель ЦКК ВКП(б) и нарком РКИ СССР, заместитель председателя СНК и СТО СССР, с 1930 г. — председатель ВСНХ СССР, с 1932 г. — нарком тяжёлой промышленности. Покончил жизнь самоубийством.

22

Цеткин Клара (1857—1933) — деятельница германского и международного рабочего и коммунистического движения. С 1881 г. — член Социал-демократической партии Германии, активно участвовала в создании и деятельности II Интернационала.

В 1915 г. вошла в группу «Интернационал» — впоследствии «Союз Спартака», с 1919 г. — член Компартии Германии и член ЦК КПГ, возглавляла Международный женский секретариат Коминтерна, в 1921 г. — председатель Контрольной комиссии Коминтерна, с 1922 г. — член ИККИ и Президиума ИККИ. В 1924—1927 гг. — председатель Исполкома Международной организации помощи борцам революции. С 1920 г. — депутат германского рейхстага.

23

О болезни и смерти В. И. Ленина см.: Петровский Б. В. Ранение и болезнь В. И. Ленина//Правда, 1990, 25—26 ноября.

24

Кангас Вяйнё (1902 г. рожд.) — финский коммунист, брат А. Куусинен, член Компартии Финляндии с 1924 г., с 1925 г. жил в СССР, учился в Ленинградском отделении Коммунистического университета национальных меньшинств Запада (КУНМЗ), затем работал в Петрозаводске ректором и преподавателем Высшей коммунистической сельскохозяйственной школы. В 1936 г. арестован. Посмертно реабилитирован.

25

Имеется в виду Коммунистический университет национальных меньшинств Запада имени Ю. Ю. Мархлевского. Существовал в Москве с 1921 по 1936 г. С 1922 г. имел филиал в Ленинграде, готовил политические кадры для СССР и коммунистических партий Европы.

26

Имеется в виду Высшая коммунистическая сельскохозяйственная школа, которая готовила руководящие кадры районного звена и для сельского хозяйства.

27

Раковский Христиан (1873—1941) — деятель болгарского, румынского и международного рабочего и коммунистического движения, с 1917 г. — член большевистской партии, с 1918 г. — председатель Совнаркома Украины, в 1923 г. — советский полпред в Англии, в 1925 г. — во Франции, в 1919—1927 гг. — член ЦК партии, один из лидеров оппозиции, в 1927 г. исключён из партии и сослан. В 1935 г. восстановлен в партии. В 1937 г. арестован, расстрелян 11 сентября 1941 г. Посмертно реабилитирован.

28

Пятницкий (Таршис) Иосиф Аронович (1882—1938) — профессиональный революционер, руководящий деятель Коминтерна, большевик, член партии с 1898 г., один из организаторов нелегальной транспортировки партийной литературы, член Боевого партийного центра в Москве в октябре 1917 г., секретарь МК партии, в 1920 г. — кандидат в члены ЦК, в 1923—1927 гг. — член ЦКК, в 1927—1937 гг. — член ЦК ВКП(б). С начала 1921 г. работал в ИККИ, с 1922 г. — секретарь ИККИ, в 1926—1935 гг. — член Политсекретариата ИККИ, в 1928—1935 гг. — член Президиума ИККИ. С 1935 г. — на руководящей работе в ЦК ВКП(б). Арестован в 1937 г. Посмертно реабилитирован.

29

Коллонтай Александра Михайловна (1872—1952) — в социал-демократическом движении участвовала с 90-х гг. XIX века, профессиональная революционерка, с 1915 г. — большевичка; участница Октябрьской революции, член ЦК, с 1917 г. — нарком государственного призрения, с 1920 г. — зав. женотделом ЦК. В 1921—1922 гг. — секретарь Международного женского секретариата Коминтерна. В 1918 г. примыкала к «левым коммунистам», в 1920—1922 гг. — к «рабочей оппозиции». С 1923 г. — полпред и торгпред СССР в Норвегии, в 1926 г. — в Мексике, с 1927 г. — полпред в Норвегии, в 1930—1945 гг. — посланник, затем посол СССР в Швеции.

30

Шляпников Александр Гаврилович (1885—1937) — профессиональный революционер, большевик, член партии с 1901 г., один из активных участников Февральской и Октябрьской революций, в 1917 г. — нарком труда, в 1918 г. — кандидат в члены ЦК РКП(б), в 1921 г. — член ЦК РКП(б). В 1920—1922 гг. — один из руководителей «рабочей оппозиции». В 1933 г. исключён из партии. Жертва сталинщины. Посмертно реабилитирован.

31

22 сторонника группы «рабочая оппозиция», включая А. Г. Шляпникова и А. М. Коллонтай, обратилась с письмом в Исполком Коминтерна, в котором просили вмешательства Коминтерна в дела партии для оживления в ней внутрипартийной демократии. В письме отмечались такие негативные моменты в партийной жизни, как карьеризм и подхалимаж, подавление инициативы и самостоятельности членов партии, борьбы любыми средствами против инакомыслящих, господство бюрократического аппарата. ЦК РКП(б) направил в ИККИ письмо за подписями Г. Е. Зиновьева и Л. Д. Троцкого. В нём подтверждалось право каждого члена партии апеллировать к Коминтерну как к высшей инстанции, но к письму была приложена резолюция X съезда РКП(б), осудившая «рабочую оппозицию» как анархо-синдикалистский уклон в партии.

1-й расширенный пленум ИККИ, состоявшийся 21 февраля — 4 марта 1922 года, создал комиссию для рассмотрения этого вопроса. Комиссия признала, что поведение 22 сторонников «рабочей оппозиции» противоречит «обязательным постановлениям X съезда РКП(б) об единстве партии и анархо-синдикалистском уклоне». Пленум ИККИ в принятой резолюции предостерёг оппозиционеров, заявив, что продолжение борьбы, приносящей ущерб РКП(б), поставит их вне рядов III Интернационала. Формально признав право членов партии апеллировать к Интернационалу, ИККИ, однако, расценил этот шаг как антипартийный, наносящий вред единству партии. Руководящий орган Коминтерна не только занял позицию невмешательства во внутренние дела РКП(б), но и категорически и недвусмысленно показал, что поддерживает и заранее одобряет её политику.

32

Задачу борьбы за создание III Интернационала В. И. Ленин выдвинул осенью 1914 г. в Манифесте ЦК РСДРП «Война и российская социал-демократия». Добиваясь в годы первой мировой войны сплочения интернационалистов различных стран, Ленин, большевики считали, что эта организация станет Центром, который сплотит в единое целое разрозненные отряды пролетариата для подготовки и свершения мировой социалистической революции. «III Интернационалу, — писал Ленин, — предстоит задача организации сил пролетариата для революционного натиска на капиталистические правительства, для гражданской войны против буржуазии всех стран за политическую власть, за победу социализма!» *(Ленин В. И. Полн. собр. соч., т. 26, с. 42).*

33

Имеется в виду состоявшееся в Москве в январе 1919 г. международное совещание, которое приняло Обращение о созыве 1-го съезда Коммунистического Интернационала, опубликованное в газете «Правда» 24 января. Автором Обращения был Л. Д. Троцкий. Оно было подписано представителями ЦК РКП(б), Заграничного бюро Коммунистической рабочей партии Польши, Заграничного бюро Венгерской коммунистической партии, Заграничного бюро Немецко-австрийской коммунистической партии, Русского бюро ЦК Латышской коммунистической партии, ЦК Финляндской коммунистической партии, Исполкома Балканской революционной социал-демократической федерации, Социалистической рабочей партии Америки. В Обращении в сжатом виде излагались идейно-политические и организационные принципы будущего Интернационала.

34

Зиновьев (Радомысльский) Григорий Евсеевич (1883—1936) — профессиональный революционер, деятель российского и международного рабочего и коммунистического движения, большевик, член партии с 1901 г., в 1912—1927 гг. — член ЦК, в 1919— 1921 гг. — кандидат в члены Политбюро, в 1921—1926 гг. — член Политбюро ЦК. В 1919—1926 гг. — Председатель Коминтерна. С декабря 1917 г. — председатель Петроградского Совета. Один из руководителей оппозиции в партии в 1925—1927 гг. В 1927 и 1932 гг. исключался из партии по обвинению во фракционной деятельности, затем восстанавливался, вновь исключён в 1934 г. По фальсифицированным процессам 1935 и 1936 гг. осуждён. Расстрелян в августе 1936 г. Посмертно реабилитирован.

35

Каменев (Розенфельд) Лев Борисович (1883—1936) — профессиональный революционер, советский партийный и государственный деятель, большевик, член партии с 1901 г., член ЦК партии в 1917—1927 гг., член Политбюро ЦК в 1919—1925 гг., в 1918—1926 гг. — председатель Моссовета, с 1922 г. — заместитель Ленина по СНК и СТО, с 1923 г. — первый заместитель председателя СНК СССР, в 1924—1925 гг. — председатель СТО. В 1923—1926 гг. — директор Института Ленина. В 1925—1927 гг. — один из руководителей оппозиции. В 1927 и 1932 гг. исключался из партии по обвинению во фракционной деятельности, затем восстанавливался, вновь исключён в 1934 г. По фальсифицированным процессам 1935 и 1936 гг. осуждён. Расстрелян в августе 1936. Посмертно реабилитирован.

36

Маннер Куллерво (1880 г. рожд.) — член Социал-демократической партии Финляндии с 1905 г., в 1911—1913 гг. — член её Исполкома, в 1917—1918 гг. — председатель партии. В 1918 г. — председатель Совета народных уполномоченных — правительства Финляндской рабочей республики. Один из основателей Компартии Финляндии в августе 1918 г., её генеральный секретарь. В 1920 и 1928 гг. избирался членом ИККИ. Жертва сталинщины. В 1935 г. исключён из партии, арестован. Реабилитирован посмертно.

37

Рахья Эйно (1886—1936) — большевик, член партии с 1903 г., в 1917 г. участвовал в конспиративной переправе Ленина в Финляндию и обратно в Россию. В 1918 г. — один из руководителей отрядов Красной гвардии в Финляндии, после основания Компартии Финляндии в августе 1918 г. — член ЦК КПФ вплоть до 1927 г.

38

Речь идёт о международной коммунистической конференции, открывшейся в Москве 2 марта 1919 г. В ней участвовали представители Коммунистической партии Германии (Эберлейн), РКП (Ленин, Троцкий, Зиновьев, Сталин, Бухарин, Чичерин, с совещательным голосом — Оболенский, Боровский), Компартии Немецкой Австрии (Штейнгардт, Петин), Шведской левой социал-демократической партии (Гримлунд), Норвежской социал-демократической партии (Станг), Компартии Финляндии (Сирола, Маннер, Куусинен, Рахья Иван, Рахья Эйно). Остальные делегаты, представлявшие различные партии и группы своих стран, являлись эмигрантами, находившимися в то время в Советской России, членами Федерации иностранных групп при ЦК РКП(б). 4 марта конференция постановила конституироваться как III Интернационал и заседала далее как Первый конгресс Коммунистического Интернационала. Работа конгресса завершилась 6 марта.

Конгресс обсудил вопросы: Доклады партий; Платформа международного коммунистического конгресса; Буржуазная демократия и диктатура пролетариата; Бернская конференция и отношение к социалистическим течениям; Международное положение и политика Антанты; Манифест; Белый террор; Организационные вопросы. Конгресс, провозгласивший идейно-политические принципы Коминтерна, видел в нём организацию борьбы за диктатуру пролетариата во всемирном масштабе.

39

Эберлейн Гуго (1887—1939) — деятель рабочего и коммунистического движения Германии, член Социал-демократической партии с 1906 г., в годы первой мировой войны входил в «группу Спартак», один из основателей Компартии Германии в 1918 г., член ЦК КПГ в 1919—1928 гг. Под псевдонимом Макс Альберт участвовал в Первом конгрессе Коминтерна, в 1922 г. — член ИККИ и секретарь ИККИ, в 1928—1937 гг. — член Интернациональной контрольной комиссии. В 1937 г. стал жертвой сталинщины. Посмертно реабилитирован.

40

Имеется в виду Второй конгресс Коминтерна, состоявшийся 19 июня — 7 августа 1920 г. Конгресс открылся в Петрограде, последующие заседания проходили в Москве. В его работе участвовали представители 67 рабочих организаций 37 стран. Конгресс обсудил международное положение и основные задачи Коммунистического Интернационала, роль и структуру коммунистических партий до и после завоевания власти пролетариатом, вопрос о профсоюзах и фабрично-заводских комитетах, о парламентаризме, аграрный вопрос, национальный и колониальный вопрос, о коммунистическом движении молодёжи, об условиях вступления в Коммунистический Интернационал, устав Коминтерна и другие организационные вопросы. На конгрессе были заложены основы организационного строительства Коминтерна, сформулированы основы его стратегии и тактики.

41

Блюмкин Яков Григорьевич (1900—1929) — в 1918 г. левый эсер, сотрудник ЧК. По заданию ЦК своей партии убил германского посла Мирбаха. Позднее работал в военном секретариате Троцкого, затем в ГПУ. В 1929 г. был послан в Турцию, возможно с заданием убить Троцкого. В Константинополе видел Троцкого, получил от него письмо к его сторонникам. После возвращения встретился с Радеком, который потребовал от него пойти в ГПУ и во всём сознаться. Блюмкин передал письмо Троцкого в ГПУ. Вскоре был расстрелян.

42

По поручению Ленина Куусинен подготовил для Третьего конгресса Коминтерна Тезисы о строении и организационной деятельности коммунистических партий. Документ был опубликован за подписями Куусинена и германского коммуниста Вильгельма Кенена.

43

Конгресс состоялся в Москве 22 июня — 12 июля 1921 г. В нём участвовали представители 103 рабочих организаций из 52 стран, в том числе компартии 48 стран. Конгресс обсудил вопрос о мировом хозяйственном кризисе и новых задачах Коммунистического Интернационала, доклад о деятельности ИККИ, вопросы о Коммунистической рабочей партии Германии, итальянский вопрос, о тактике Коммунистического Интернационала, о тактике РКП(б), о профсоюзах, молодёжном и женском движении, об Объединённой коммунистической партии Германии, об организационном строительстве компартий, методах и содержании их работы, об организационном строительстве Интернационала и ряд других. Конгресс поставил задачу завоевания масс на сторону коммунистов.

44

См.: Письмо В. И. Ленина Г. Е. Зиновьеву от 11 июня 1921 г. *(Ленин В. И. Полн. собр. соч., т. 52. с. 272—273)*.

45

Кенен Вильгельм (1886—1963) — деятель германского рабочего и коммунистического движения, с 1903 г. — член Социал-демократической партии Германии, с 1917 г. — НСДПГ, с 1920 г. — Компартии. Член ЦК КПГ в 1920—1921, 1923—1924, 1929—1945 гг. До 1933 г. — депутат рейхстага.

46

Г. Е. Зиновьев был утверждён на заседании ЦК РКП(б) председателем Коминтерна 16 марта 1919 г. В этой функции он оставался до октября 1926 г., когда объединённый пленум ЦК и ЦКК ВКП(б) заявил, что не находит возможной дальнейшую работу Зиновьева в Коминтерне. VII пленум ИККИ, состоявшийся 22 ноября — 16 декабря 1926 г., упразднил пост председателя Коминтерна.

Всего состоялось 13 пленумов Исполнительного комитета Коминтерна. Исполком избирал из своей среды Президиум и Секретариат ИККИ. С 1926 по 1935 г. вместо Секретариата ИККИ действовал Политический секретариат ИККИ. В августе 1929 г. из его состава была выделена Политкомиссия Политсекретариата ИККИ в составе Куусинена, Мануильского, представителя КПГ. Кандидат — Пятницкий. После VII конгресса Коминтерна руководящие органы ИККИ состояли из Президиума и Секретариата.

48

Мануильский Дмитрий Захарович (1883—1959) — профессиональный революционер, руководящий деятель Коминтерна, большевик, член партии с 1903 г., один из организаторов Кронштадтского и Свеаборгского восстаний 1906 г., в 1917 г. — член Петроградского военно-революционного комитета, в 1920—1922 гг. — народный комиссар земледелия УССР, секретарь ЦК КП(б)У, в 1922—1923 гг. — кандидат в члены ЦК РКП(б), в 1923—1952 гг. — член ЦК партии. В 1924—1943 гг. — член ИККИ и Президиума ИККИ, в 1926—1935 гг. — член Политсекретариата ИККИ, в 1929—1935 гг. — член Политкомиссии Политсекретариата, в 1935—1943 гг. — секретарь ИККИ. В 1944—1953 гг. — заместитель председателя Совета Министров и министр иностранных дел УССР.

49

Хеймо Мауно (1894 г. рожд.) — деятель финляндского рабочего движения, в 1917—1918 гг. — член Социал-демократической партии Финляндии, с 1918 г. — член Компартии Финляндии, с 1922 по 1937 гг. — работник аппарата Коминтерна, член ВКП(б). Жертва сталинщины. Арестован в 1937 г. и погиб.

50

Ангаретис (Алекса) Зигмас (1882—1940) — профессиональный революционер, один из руководителей Компартии Литвы, член партии с 1906 г. В 1917 г. — член Петербургского комитета большевиков, в 1918—1919 гг. — нарком внутренних дел Советской Литвы, с 1918 г. — член ЦК КПЛ. С 1920 г. — секретарь Загранбюро КП Литвы, с 1921 г. — представитель КП Литвы в ИККИ. В 1921—1922 гг. — член ИККИ, в 1924—1937 гг. — член Интернациональной комиссии Коминтерна, в 1926—1937 гг. — секретарь ИКК. Жертва сталинщины. Арестован в 1937 г. Посмертно реабилитирован.

51

Абрамович Алиса (1901—1971) — член НСДПГ в 1917—1919 гг., с 1920 г. — член Компартии Германии, жена Л. Мадьяра. Работала стенографисткой в аппарате ИККИ. В 1935 г. арестована, в 1939 г. освобождена, в 1945 г. арестована вторично, в 1956 г. освобождена и реабилитирована. Выехала в Германскую Демократическую Республику.

52

Автор ошибается: Миров и Абрамов — это разные люди.

Абрамов Александр Лазаревич (1895 г. рожд.) — большевик, член партии с 1916 г., участник Февральской и Октябрьской революций, с 1926 г. — сотрудник аппарата Коминтерна, возглавлял Отдел международных связей. Жертва сталинщины.

Миров-Розкин Яков Цодикович (1894 г. рожд.) — в 1918—1919 гг. — член партии Поалей-Цион, с 1920 г. — член РКП(б), с 1924 г. — сотрудник аппарата Коминтерна.

53

Мильтер Фриц Иванович (1890—1938) — член большевистской партии с 1917 г., рабочий-наборщик, в 1921—1937 гг. — работник аппарата Коминтерна. В 1937 г. арестован, в январе 1938 г. расстрелян. Посмертно реабилитирован.

54

Левин Макс (1885—1937) — деятель российского и германского рабочего движения, член КПГ с 1918 г., активный участник Баварской Советской республики в 1919 г. С 1921 г. — политэмигрант, сотрудник аппарата Коминтерна. Жертва сталинщины. В 1937 г. арестован НКВД.

55

Васильев Борис Афанасьевич (1889—1937) — профессиональный революционер, большевик, член партии с 1904 г., в 1925— 1935 гг. — на руководящей работе в аппарате Коминтерна, с 1935 г. — в ЦК ВКП(б). Жертва сталинщины. Посмертно реабилитирован.

56

Меринг (Мирринг) Рихард Августович (1901—1938) — деятель рабочего движения Эстонии, член ВКП(б) с 1920 г., работник аппарата КИМ в 1923—1928 гг., с 1930 г. — аппарата ИККИ, в 1930—1931 гг. — секретарь ЦК Компартии Эстонии. Жертва сталинщины. Посмертно реабилитирован.

57

Гусев (Драбкин Яков Давидович) Сергей Иванович (1874—1933) — профессиональный революционер, большевик, член партии с 1896 г., в 1917 г. — секретарь Петроградского ВРК, с 1918 г. — один из политических руководителей Красной Армии, в 1923—1925 гг. — секретарь ЦКК РКП(б), с 1928 г. — кандидат в члены ИККИ, в 1929—1930 гг. — член Президиума ИККИ, кандидат в члены Политсекретариата ИККИ, с 1931 г. — кандидат в члены Президиума ИККИ.

58

Шубин-Виленский Пётр Абрамович (1878—1939) — в 1904—1908 гг. меньшевик, с 1919 г. — член РКП(б), в 1925—1937 гг. — сотрудник аппарата Коминтерна. В 1937 г. арестован и осуждён. Посмертно реабилитирован.

59

Кивелиович Моисей Маркович (1893 г. рожд.) — сотрудник аппарата Коминтерна в 1920—1929 гг.

60

Штурм Герта (1886 г. рожд.) — деятель германского рабочего движения, член Социал-демократической партии Германии с 1911 г., с 1919 г. — член КПГ, с 1925 г. — ВКП(б), в 20-е годы — сотрудница аппарата Коминтерна.

61

Коммунистический интернационал молодёжи (КИМ) — международная массовая организация революционной молодёжи, созданная в ноябре 1919 г. на конгрессе в Берлине и просуществовавшая до 1943 г. КИМ работал под идейным и организационным руководством Коминтерна и являлся его секцией. КИМ имел свои секции — коммунистические союзы молодёжи в различных странах.

62

Крестьянский Интернационал — международная крестьянская революционная организация, примыкавшая к Коминтерну. Была создана на конференции 10—16 октября 1923 г. в Москве, существовала до 1933 г.

63

Красный Интернационал профсоюзов (Профинтерн) — международное объединение революционных профсоюзов, существовавшее с 1921 по 1937 г. Примыкал к Коминтерну, объединял профсоюзные центры СССР и ряда стран, не входившие в Амстердамский интернационал профсоюзов.

64

АРА — Американская администрация помощи существовала в 1919—1923 гг., оказывала помощь европейским странам, пострадавшим в первой мировой войне. В 1921 г. в связи с голодом в Поволжье её деятельность была разрешена в РСФСР.

65

Тивель (Левит) Александр Юльевич (1899—1937) — член ВКП(б) с 1926 г., в 1921—1925 гг. — сотрудник аппарата Коминтерна, в 1926—1936 гг. — сотрудник аппарата ЦК ВКП(б). В августе 1936 г. исключён из партии, осуждён и расстрелян 7 марта 1937 г. Посмертно реабилитирован.

Имеется в виду сборник: 10 лет Коминтерна в решениях и цифрах/Составители А. Тивель и М. Хеймо. М.—Л., 1929.

67

Валлениус Аллан (1890—1942) — деятель финляндского рабочего движения, участник революции 1918 г. в Финляндии, работник аппарата Коминтерна. В 20-х гг. — член ЦК Рабочей партии Америки. Затем руководитель скандинавской секции КУНМЗ.

68

Рейнштейн Борис Исаевич (1866—1947) — участник революционного движения в России с 80-х годов XIX в., в 1892—1917 гг. — член Социалистической рабочей партии Америки, в 1917 г. — участник международной социалистической конференции в Стокгольме, в 1917—1918 гг. — меньшевик-интернационалист, с 1918 г. — член РКП(б), участвовал в основании Коминтерна, в 1920—1938 гг. — сотрудник аппарата Коминтерна и Профинтерна.

69

Куусинен Хертта (1904—1974) — дочь О. В. Куусинена, деятельница рабочего движения Финляндии, член Компартии Финляндии с 1930 г., член ЦК КПФ с 1939 г., в 1944—1970 гг. — член Политбюро ЦК КПФ, с 1972 г. — почётный председатель партии. В 1951—1958 гг. — генеральный секретарь, с 1958 г. — вице-президент Демократического союза народа Финляндии. С 1969 г. — президент Международной демократической федерации женщин.

70

Лехен Тууре (1893 г. рожд.) — деятель рабочего движения Финляндии, в 1918 г. — секретарь СНУ — правительства Финляндской рабочей республики, с 1918 г. — член Компартии Финляндии, сотрудник аппарата Коминтерна, в 1939 г. входил в так называемое правительство Финляндской демократической республики. В 1946 г. вернулся в Финляндию.

71

Ярославский (Губельман Миней Израилевич) Емельян Михайлович (1878—1943) — профессиональный революционер, большевик, член партии с 1898 г. В 1917 г. — член Московского ВРК; в 1921—1922 гг. — секретарь ЦК РКП(б), член ЦК в 1921—1923 гг. и с 1939 г. С 1922 г. — секретарь Партколлегии ЦКК партии, член ЦКК в 1923—1934 гг., член КПК — в 1934—1939 гг.

72

Чильбум Карл (1885—1961) — деятель шведского рабочего движения, в 1914—1917 гг. — секретарь социал-демократического союза молодёжи, входил в Циммервальдскую левую, участвовал в создании в 1917 г. Левой социал-демократической партии Швеции и её преобразовании в 1921 г. в компартию. В 1921, 1924—1929 гг. — член ИККИ, в 1926, 1928—1929 гг. — член Президиума ИККИ. В октябре 1929 г. исключён из Компартии Швеции.

73

Стрём Фредерик (1880—1948) — деятель рабочего движения Швеции, в 1911—1916 гг. — секретарь Социал-демократической партии Швеции, в 1921—1924 гг. — секретарь компартии, в 1924 г. вышел из КПШ, в 1926 г. вернулся в социал-демократическую партию.

74

В сентябре 1924 г. английская газета «Дейли мейл» опубликовала под сенсационным заголовком о раскрытии заговора фальшивку — письмо Коминтерна, согласно которому Москва-де приказала компартии подготовить военный переворот. Эта публикация накануне парламентских выборов способствовала победе консерваторов и падению лейбористского правительства Макдональда. Подложность письма установила экспертиза.

75

V конгресс Коммунистического Интернационала проходил с 17 июня по 8 июля 1924 г. в Москве. На нём присутствовали делегаты от 46 компартий и 14 рабочих организаций. Конгресс обсудил доклад о деятельности ИККИ, а также вопросы: о мировом экономическом положении, программный вопрос, об экономическом положении в СССР и дискуссии в РКП(б), национальный и аграрный вопросы, о фашизме, о Коммунистическом интернационале молодёжи, о тактике в профессиональном движении, о производственных ячейках и другие. Конгресс выдвинул задачу идейного и организационного укрепления компартий, их большевизации.

76

Чичерин Георгий Васильевич (1872—1936) — советский государственный деятель. Член РСДРП с 1905 г., в большевистскую партию вступил в 1918 г. В 1918—1930 гг. — нарком иностранных дел РСФСР, СССР. Член ЦК партии в 1925—1930 гг.

77

Международная ленинская школа была открыта в Москве в 1926 г., до 1928 г. называлась Международные ленинские курсы. Существовала до 1938 г. Ректорами МЛШ были в 1926—1930 гг. Н. И. Бухарин, в 1930—1931, 1933—1937 гг. — К. И. Кирсанова, в январе—мае 1932 г. — В. Пик, в 1937—1938 гг. — В. Червенков. Председателем правления школы являлся П. Тольятти. В МЛШ обучались кадры многих компартий.

78

Кирсанова Клавдия Ивановна (1887—1947) — профессиональная революционерка, большевичка, член партии с 1904 г., работала в системе народного образования, в 1930—1937 гг. — ректор МЛШ.

79

Ходжа Энвер (1908—1985) — албанский государственный и партийный деятель, член компартии и её ЦК с 1941 г., в 1943—1948 гг. — генеральный секретарь ЦК КПА, в 1948—1954 гг. — генеральный секретарь, с 1954 г. — первый секретарь ЦК Албанской партии труда. В 1946—1954 гг. — председатель Совета министров, с 1976 г. — главком вооружёнными силами и председатель Совета обороны Народной республики Албании.

80

Ларсен Аксель (1897—1972) — деятель рабочего движения Дании, с 1921 г. — член компартии, с 1932 г. — председатель КПД. В 1958 г. исключён из партии. В 1959 г. основал и возглавлял до 1968 г. Народную социалистическую партию.

81

Имеется в виду Институт общественных наук при ЦК КПСС.

82

Коммунистический университет трудящихся Востока существовал в Москве в 1921—1937 гг., готовил кадры для восточных республик и областей СССР, а также кадры партийных работников для стран Азии.

83

Автор ошибается: имя Сунь Ятсена носил Университет трудящихся Китая {назывался позднее Коммунистическим университетом трудящихся Китая), существовал в Москве в 1925—1930 гг., готовил кадры для Компартии Китая и Гоминьдана.

84

Фрумкина Мария Яковлевна (1880—1938) — в рабочем движении участвовала с начала XX века, с 1901 г. — член Бунда, с 1919 г. — член РКП(б). Автор ошибается: с 1925 по 1936 гг. М. Я. Фрумкина была ректором Коммунистического университета национальных меньшинств Запада. Жертва сталинщины. Арестована в 1937 г. Посмертно реабилитирована.

85

Варга Евгений (1879—1964) — деятель венгерского рабочего и коммунистического движения, советский учёный, академик. С 1906 г. — член Венгерской социал-демократической партии, с 1919 г. — член компартии, в 1919 г. — нарком финансов в правительстве Венгерской Советской республики, с 1920 г. — член РКП(б), работал в аппарате Коминтерна, в 1928—1943 гг. — кандидат в члены ИККИ. В 1927—1947 гг. возглавлял Институт мирового хозяйства и мировой экономики АН СССР.

86

Альпари Дьюла (1882—1944) — деятель венгерского и международного рабочего и коммунистического движения. Член КП Венгрии с 1918 г., член её ЦК с 1919 г., в 1919 г. — зам. наркома иностранных дел Венгерской Советской республики. Работник аппарата Коминтерна, в 1921—1939 гг. — редактор журналов «Инпрекорр» и «Rundschau». В 1940 г. схвачен гестаповцами, убит в концлагере Заксенхаузен.

87

Петровский (Липец Давид Ефимович) Давид Александрович (1886—1937) — с 1902 г. — член Бунда, с 1919 г. — член РКП(б), в 1924—1929 гг. — сотрудник аппарата Коминтерна, в 1928 г. — кандидат в члены Президиума ИККИ (под псевдонимом Беннет), с 1929 г. — на советской работе. Арестован в марте 1937 г., осуждён 10 октября 1937 г. Посмертно реабилитирован.

В 1918—1919 гг. Д. Е. Липец был городским головой Бердичева. В этот период петлюровцы арестовали и расстреляли большевичек Пепу и Броню Сломницких. Против Липеца в 20-е годы сестрой расстрелянных Р. Сломницкой неоднократно выдвигалось обвинение в соучастии в убийстве. Расследование не подтвердило этого обвинения.

88

Чемберлен Остин (1863—1937) — государственный деятель Великобритании, консерватор, министр финансов в 1903—1905, 1919—1921 гг., министр по делам Индии в 1915—1917 гг., министр иностранных дел в 1924—1929 гг., морской министр в 1931 г.

89

Мак-Манус Артур (1889—1927) — деятель рабочего движения Великобритании, с 1903 г. — член Социалистической рабочей партии, один из основателей в 1920 г. компартии, председатель партии в 1920—1921 гг., член ИККИ в 1922—1927 гг., член Президиума ИККИ в 1922—1926 гг.

90

Эверт Артур (1880—1959) — деятель германского рабочего движения, член социал-демократической партии с 1908 г., с 1919 г. — член КПГ, в 1923—1924, 1925—1928 гг. — член ЦК КПГ, в 1928 г. — кандидат в члены ИККИ. В 1928 г. — выведен из руководства КПГ. В 30-е годы работал в аппарате Коминтерна, входил в руководство Компартии Бразилии.

91

Эмбер-Дро Жюль (1891—1971) — деятель швейцарского и международного рабочего и коммунистического движения, в 1921 — 1942 гг. — член Компартии Швейцарии, в 1928—1935 гг. — член ИККИ, в 1927—1928 гг. — кандидат в члены Президиума ИККИ, Политсекретариата ИККИ, в 1928—1929 гг. — член Президиума ИККИ, член Политсекретариата ИККИ. В 1943 г. исключён из КП Швейцарии, вступил в социал-демократическую партию, в 1947—1958 гг. — секретарь СДП.

92

Чемоданов Василий Тарасович (1904—1937) — член ВКП(б) с 1924 г., с 1930 г. — секретарь Исполкома КИМ, в 1931—1935 гг. — член Президиума ИККИ, кандидат в члены Политсекретариата ИККИ, в 1935—1937 гг. — кандидат в члены ИККИ. В 1937 г. арестован и расстрелян. Посмертно реабилитирован.

93

Виртанен Ниило (1892 г. рожд.) — деятель финского рабочего движения, с 1915 г. — член Социал-демократической партии Финляндии, участник революции 1918 г., с 1918 г. — член Компартии Финляндии, с 1922 г. — член РКП(б), в 1925—1937 гг. — сотрудник аппарата Коминтерна. В 1933 г. был арестован в Германии, в 1934 г. освобождён и выслан в Финляндию, оттуда вернулся в СССР. Жертва сталинщины. Арестован 8 сентября 1937 г.

Глаубауф Фриц (1901—1975) — деятель австрийского молодёжного движения, работник аппарата КИМ и Коминтерна, в 1945 г. вернулся в Австрию.

Глаубауф Ханс (1901—1942) — работник аппарата Коминтерна в 20-е и 30-е годы. Арестован гестапо в Париже и казнён в Германии.

95

Погань Йозеф (1886—1938) — деятель венгерского и международного рабочего и коммунистического движения, один из основателей в 1918 г. Компартии Венгрии, народный комиссар Венгерской Советской республики. Работник аппарата Коминтерна, в 1926 г. — кандидат в члены Секретариата ИККИ. В 1929 г. снят с работы в Коминтерне. Жертва сталинщины. Арестован в 1937 г. Посмертно реабилитирован.

96

Файнберг Иосиф (1886—1957) — в 1906—1918 гг. — член Британской социалистической партии, с 1918 г. — член РКП(б), работник аппарата Коминтерна.

97

Грольман Михаил Григорьевич (1896—1938) — в 1917—1918 гг. — меньшевик, с 1920 г. — член РКП(б), в 20-е гг. — сотрудник аппарата ИККИ. В феврале 1933 г. исключён из партии, 16 апреля осуждён на три года. Вторично арестован в апреле 1937 г. В январе 1938 г. осуждён и расстрелян. Посмертно реабилитирован.

98

Идельсон Борис Иосифович (1895 г. рожд.) — член большевистской партии с 1917 г., в 1921—1933 гг. — сотрудник аппарата Коминтерна. Жертва сталинщины.

99

Малм Ханна (1887 г. рожд.) — жена К. Маннера, финская коммунистка. Жертва сталинщины. Арестована в 1935 г., осуждена на 10 лет заключения. Посмертно реабилитирована.

100

Лумивуокко Иоганн Генрих (1884—1938) — с 1903 г. — деятель финляндского рабочего движения, в 1917 г. — председатель центрального руководства финских профсоюзов, член Компартии Финляндии с 1918 г., в 1921—1927 гг. — член ЦК КП Финляндии, работал в Профинтерне, позднее — в Карельской АССР. В 1938 г. арестован и расстрелян. Посмертно реабилитирован.

101

Тогерсен Тогер (1888 г. рожд.) — деятель датского рабочего движения, с 1900 г. — социал-демократ, с 1918 г. — член Компартии Дании, в 1922—1931 гг. — член ЦК КПД, в 1928—1931 гг. — кандидат в члены ИККИ.

102

Обсуждение вопроса о перспективах революции в Германии в 1923 г. происходило без В. И. Ленина, который вследствие болезни с весны 1923 г. не принимал участия в деятельности руководства РКП(б) и Коминтерна. Летом 1923 г., после того как в Германии в августе под давлением масс ушло в отставку правительство Куно, руководство ИККИ пришло к выводу, что в стране надвигается пролетарская революция. В подготовленных к 15 августа Зиновьевым тезисах «Положение в Германии и наши задачи» КПГ предлагалось ориентироваться на вооружённое восстание и выдвигалась задача создания Советов рабочих депутатов. Тезисы Зиновьева легли в основу посланного Президиумом ИККИ письма в ЦК КПГ. Руководство КПГ также считало, что в Германии приближаются решающие бои, и взяло курс на военно-техническую подготовку восстания.

21 сентября — 5 октября в Москве состоялось совещание с участием представителей ЦК РКП(б) и КПГ и ряда других компартий. На нём был разработан план подготовки восстания и намечена его ориентировочная дата на 9 ноября. Решения совещания не учитывали реального положения дел в стране, основывались на преувеличенно-оптимистической оценке сил революции и недооценке сил противника. Буржуазное государство сумело нанести поражение революционному движению в стране.

103

17 марта 1921 г. пленум ЦК Объединённой компартии Германии ориентировал партию на подготовку решающих боёв с целью свержения правительства. На принятии этого решения сказалось влияние представителя ИККИ при ОКПГ Бела Куна, считавшего, что революционное выступление в Германии может иметь успех в связи с тем, что партия в этот момент — после слияния КПГ с левым крылом Независимой социал-демократической партии Германии в декабре 1920 г. — представляла собой значительную силу. Кун полагал, что такое выступление окажет помощь Советской России, находившейся в исключительно тяжёлом положении. В подобных решениях сказались ошибочные взгляды «левых коммунистов», которые были убеждены в том, что партия может и должна переходить к наступательным действиям, опираясь прежде всего на собственную силу.

Правительство использовало подобные левацкие установки и организовало провокацию. 19 марта на предприятия округа Галле—Мерзебург, где были сильными позиции коммунистов, были введены полицейские части под предлогом борьбы с вооружёнными бандитами. Это вызвало столкновения рабочих с полицией и забастовки протеста, переросшие в вооружённые бои.

ЦК ОКПГ, не распознав провокационный характер полицейской акции, расценил эти события как начало всеобщего революционного выступления и принял решение об организации всеобщей стачки. Однако забастовка не приняла широкого размаха, а рабочие Средней Германии, поднявшиеся на борьбу, потерпели тяжёлое поражение.

В. И. Ленин, узнав о позиции Бела Куна, 16 апреля писал: «Я охотно верю тому, что представитель Исполнительного комитета защищал глупую тактику, слишком левую — немедленно выступить, „чтобы помочь русским“: этот представитель очень часто бывает слишком левым» (*Ленин В. И. Полн. собр. соч., т. 52, с. 149).*

104

Кун Бела (1886—1939) — деятель венгерского и международного рабочего и коммунистического движения, участник гражданской войны в Советской России, с 1916 г. — большевик, в 1918 г. — председатель Федерации иностранных групп при ЦК РКП(б), в ноябре 1918 г. — один из основателей Компартии Венгрии, нарком иностранных дел Венгерской Советской республики. В 1921—1938 гг. — член ИККИ, член Президиума и Секретариата ИККИ. В сентябре 1936 г. освобождён от работы в Коминтерне, в июле 1938 г. исключён из членов ИККИ. Жертва сталинщины. Посмертно реабилитирован.

105

Разработанный на совещании, проведённом Президиумом ИККИ 21 сентября — 5 октября 1923 г., план выступления в Германии был следующим: пролетариат начинает выступление в Саксонии, поднимаясь на защиту рабочего правительства в составе левых социал-демократов и коммунистов. Он использует государственную власть в Саксонии в целях собственного вооружения. Одновременно партия, мобилизовав массы, выступает по всей стране. Сигнал к борьбе должен был дать созываемый 9 ноября съезд фабрично-заводских комитетов.

В связи с тем, что для разгона рабочего правительства в Саксонию были посланы войска, 20 октября ЦК КПГ решил на конференции в Хемнице объявить 22 октября общегерманскую стачку с перерастанием в вооружённое восстание. В Гамбурге в ночь на 23 октября должно было начаться восстание, которое стало бы сигналом борьбы по всей Германии. Однако на конференции социал-демократы отказались объявить забастовку. В этих условиях Г. Брандлер, возглавлявший руководство КПГ, снял предложение об объявлении всеобщей стачки. В партийные организации были посланы курьеры с указанием об отмене решения, принятого ЦК КПГ 20 октября.

106

Гуральский (Хейфец Абраам) (1890—1960) — в социалистическом движении участвовал с 1913 г., член Бунда, с 1919 г. — член РКП(б), работник аппарата Коминтерна. В 1923 г. — член ЦК КПГ под фамилией Кляйне. Жертва сталинщины.

107

Автор ошибается: В. И. Ленин в 1923 г. участия в обсуждении проблем революционного движения в Германии не принимал. Президиум ИККИ направил в октябре делегацию представителей Коминтерна в Германию в составе К. Радека, Г. Л. Пятакова, В. В. Шмидта. Эта делегация приехала в страну в 20-х числах, когда войска генерала Мюллера заняли Саксонию и рабочее правительство этой земли, в которое входили коммунисты, уже было смещено.

108

Восстание в Гамбурге вспыхнуло утром 23 октября 1923 г. в соответствии с директивой, данной ЦК КПГ. Повстанцы во главе с Э. Тельманом, осуществлявшим политическое руководство восстанием, захватили несколько полицейских участков и овладели оружием. Однако восстание осталось локальным и не переросло во всеобщее восстание в Гамбурге. Вечером 25 октября, получив известие о том, что план действий, намеченный ЦК КПГ, по организации всеобщей стачки в стране и революционных выступлений в поддержку рабочего правительства Саксонии отменён, повстанцы прекратили боевые действия и покинули баррикады.

109

Тельман Эрнст (1886—1944) — деятель германского и международного рабочего и коммунистического движения, в 1903—1917 гг. — член Социал-демократической партии Германии, в 1917—1920 гг. — НСДПГ, с 1920 г. — член КПГ, с 1923 г. — член ЦК КПГ, с 1925 г. — председатель ЦК КПГ, в 1924—1928 гг. — кандидат в члены ИККИ, с 1928 г. — член ИККИ, в 1924—1935 гг. — член Президиума ИККИ. 3 марта 1933 г. арестован гестапо и брошен в тюрьму. Убит в концлагере Бухенвальд.

110

Рейснер Лариса Михайловна (1895—1926) — советская писательница, член партии с 1918 г.

111

Брандлер Генрих (1881—1967) — деятель германского рабочего и коммунистического движения, в 1901—1916 гг. — член Социал-демократической партии Германии, в годы первой мировой войны — член «группы Спартак», с 1918 г. — член КПГ, в 1919— 1924 гг. — член ЦК КПГ, в 1922 г. — член ИККИ, член Президиума ИККИ, в 1924—1928 гг. — член ВКП(б), в 1928 г. основал КПГ (оппозицию), в 1929 г. исключён из ВКП(б). В 1933 г. эмигрировал из Германии, в 1948 г. вернулся в Западную Германию.

112

Стамболийский Александр (1879—1923) — с 1902 г. лидер Болгарского земледельческого народного союза, в 1919—1923 гг. — премьер-министр правительства Болгарии.

В ночь на 9 июня 1923 г. в Болгарии под руководством фашистской организации «Народный сговор» и военной лиги с помощью армии и при поддержке царского двора был совершён государственный переворот и свергнуто правительство Стамболийского, который был убит. К власти пришли наиболее реакционные круги крупной буржуазии. В стране была установлена военно-фашистская диктатура.

113

Цанков Александр (1879—1959) — болгарский государственный и политический деятель, организатор переворота 1923 г., в 1923—1926 гг. — премьер-министр. В 1932 г. основал фашистскую партию Национально-социальное движение. В 1944 г. бежал за границу.

114

Взрыв в Софийском кафедральном соборе 16 апреля 1925 г. был организован ультралевыми элементами военной организации Болгарской компартии.

Г. Димитров, как и ЦК БКП, был не причастен к этому террористическому акту.

115

Димитров Георгий (1882—1949) — профессиональный революционер, деятель болгарского и международного рабочего и коммунистического движения, государственный деятель Болгарии, с 1902 г. — член Болгарской рабочей социал-демократической партии, с 1903 г. — партии тесняков (с 1909 г. — член ЦК), с 1919 г. — компартии. Один из руководителей Сентябрьского антифашистского восстания 1923 г. в Болгарии, подсудимый на Лейпцигском процессе 1933 г. в Германии, с 1925 г. — деятель Коминтерна, член Президиума ИККИ, Политсекретариата ИККИ, в 1935—1943 гг. — генеральный секретарь ИККИ. В 1948—1949 гг. — генеральный секретарь БКП, в 1946—1949 гг. — председатель Совета министров Народной республики Болгарии.

116

Имеется в виду Цзян Цзинго (1909—1988), сын Чан Кайши, живший в 1925—1937 гг. в СССР под именем Н. В. Елизарова. Учился в КУТВ, в военной школе, в Академии РККА в Ленинграде, работал на Уральском машиностроительном заводе. В 1936 г. вступил в ВКП(б). В 1937 г. арестован, но по ходатайству китайского посла освобождён и выехал в Китай. После 1949 г. — министр в правительстве Тайваня, с 1972 г. — премьер-министр, с 1975 г. — президент Китайской республики (остров Тайвань).

Чан Кайши (1887—1975) — китайский политический деятель, милитарист, с 1927 г. — глава реакционного гоминьдановского режима, в 1949 г. бежал на остров Тайвань, где закрепился при поддержке США.

117

Гоминьдан — политическая партия в Китае, создана в 1912 г., возглавляла национальную революцию в Китае в 1925—1927 гг. В её состав тогда входила Компартия Китая. В 1927 г. превратилась в правящую партию буржуазно-помещичьей реакции, связанную с иностранным империализмом. Власть Гоминьдана была свергнута в 1949 г. китайским народом.

118

Блюхер Василий Константинович (1890—1938) — советский военачальник, большевик, член партии с 1916 г., в 1934—1938 гг. — кандидат в члены ЦК, с 1935 г. — Маршал Советского Союза. Жертва сталинщины. Посмертно реабилитирован.

119

Восстание в Кантоне вспыхнуло 11 декабря 1927 г. и 13 декабря завершилось поражением повстанцев.

120

Калинин Михаил Иванович (1875—1946) — профессиональный революционер, советский государственный и партийный деятель. Большевик, член партии с 1898 г., в 1912 г. — кандидат в члены ЦК, с 1919 г. — член ЦК партии, с 1926 г. — член Политбюро ЦК. С 1919 г. — председатель ВЦИК, с 1922 г. — председатель ЦИК, с 1938 г. — председатель Президиума Верховного Совета СССР.

121

Товстуха Иван Павлович (1889—1935) — большевик, член партии с 1913 г., в 1921—1924 и 1926—1930 гг. — работник аппарата ЦК ВКП(б), с 1934 г. — кандидат в члены ЦК ВКП(б).

122

Катаяма Сэн (1859—1933) — деятель японского и международного рабочего и коммунистического движения. В конце XIX — начале XX вв. участвовал в создании первого профсоюза в Японии (1897) и организации японского социалистического движения, один из инициаторов создания в 1922 г. КП Японии, с 1922 г. — член ИККИ и Президиума ИККИ.

123

Автор ошибается: дочь от первой жены Катаямы — Ясу родилась в 1899 г. В 1932 г. она приехала к отцу в Москву и осталась в СССР. Умерла в 1988 г. После смерти первой жены Катаяма вторично женился в 1907 г. В 1908 г. у него родилась дочь Тиёко. Она приезжала к отцу в 1928 г.

124

Коларов Васил (1877—1950) — деятель болгарского и международного рабочего и коммунистического движения. С 1897 г. — член Болгарской рабочей социал-демократической партии, с 1905 г. — член ЦК партии тесняков. В 1919—1923 гг. — секретарь ЦК БКП. Один из руководителей Сентябрьского антифашистского восстания 1923 г. В 1922—1943 гг. — член ИККИ, член Президиума ИККИ, в 1922—1924 гг. — генеральный секретарь ИККИ. В 1945—1947 гг. — председатель Народного собрания Народной республики Болгарии, в 1947—1949 гг. — заместитель председателя Совета министров, в 1949—1950 гг. — председатель Совета министров НРБ.

125

Тольятти Пальмиро (1893—1964) — деятель итальянского и международного рабочего и коммунистического движения. С 1914 г. — член Итальянской социалистической партии, с 1921 г. — КП Италии, с 1922 г. — член ЦК, с 1926 г. — во главе партии, с 1927 г. — генеральный секретарь. С 1924 г. — член ИККИ и Президиума ИККИ, в 1926—1928, 1931—1935 гг. — член Политсекретариата ИККИ, с 1935 г. — секретарь ИККИ. В 1944—1946 гг. входил в коалиционное правительство Италии.

126

Должность председателя Коминтерна была упразднена на VII расширенном пленуме Исполкома Коминтерна, состоявшемся 22 ноября — 16 декабря 1926 г. Был образован новый руководящий коллективный орган — Политический секретариат ИККИ.

127

Имеется в виду Международная федерация профсоюзов, так называемый Амстердамский интернационал, международное профобъединение, созданное в Амстердаме в июле — августе 1919 г. и распущенное в 1945 г. К нему примыкали профсоюзные объединения, находившиеся под влиянием социал-демократии. 10—15 декабря 1922 г. в Гааге состоялся Международный конгресс мира, созванный Амстердамским интернационалом. В конгрессе участвовали представители социал-демократических партий, профсоюзных и кооперативных объединений и пацифистских организаций. Присутствовала также делегация советских профсоюзов, в которую входили К. Радек, С. А. Лозовский, Ф. А. Ротштейн.

128

Мещеряков Николай Леонидович (1865—1942) — деятель российского рабочего движения, большевик, член партии с 1901 г. В 1924—1927 гг. — секретарь Крестинтерна.

129

Танев Васил (1897—1941) — болгарский коммунист, член БКП с 1919 г. С 1926 г. находился в эмиграции в СССР. В начале 1933 г. выехал через Германию в Болгарию. 9 марта 1933 г. арестован в Берлине вместе с Г. Димитровым и Б. Поповым немецкой полицией по вымышленному обвинению в поджоге рейхстага. Один из подсудимых на Лейпцигском процессе 1933 г. В 1934—1941 гг. жил в СССР. Осенью 1941 г. в составе группы парашютистов был переброшен в Болгарию. Погиб в бою с фашистами.

130

Попов Благой (1902—1968) — болгарский коммунист, участник Сентябрьского антифашистского восстания 1923 г. С октября 1924 г. — в эмиграции и на подпольной работе в Болгарии, в 1931—1932 гг. — член Политбюро ЦК БКП. В конце 1932 г. направлен ИККИ в Берлин. Арестован 9 марта 1933 г. вместе с Г. Димитровым и В. Таневым, один из подсудимых на Лейпцигском процессе 1933 г. С 1934 г. жил в СССР. В 1938 г. арестован и осуждён. Освобождён в 1954 г., реабилитирован. Вернулся в Болгарию.

131

Автор ошибается: свои речи и выступления на процессе Г. Димитров готовил сам. Сохранились тезисы и варианты первой речи Г. Димитрова, с которой он выступил на процессе 23 сентября 1933 г., а также проект заключительной речи, с которой он выступил 16 декабря. *(См.: Процесс о поджоге рейхстага и Георгий Димитров: Документы. Том 2. книга I: 21 сентября — 22 ноября 1933 года. М.. 1988, с. 43—50; книга II: 23 ноября — 23 декабря 1933 года. М., 1988, с. 215—223).*

132

По решению Политсекретариата ИККИ от 13 апреля 1927 г. было создано Западноевропейское бюро ИККИ (ВЕБ), находившееся в Берлине. В его состав были введены О. Куусинен, Д. З. Мануильский и П. Тольятти. Состав бюро менялся. С сентября 1928 г. в нём работал В. Г. Кнорин, с марта 1929 г. до начала 1933 г. — Г. Димитров. Бюро существовало до февраля 1933 г.

Вопрос о переезде руководства Коминтерна в Берлин в ИККИ не обсуждался.

133

Фостер Уильям (1881—1961) — деятель американского и международного рабочего и коммунистического движения. В социалистическом движении участвовал с 1901 г., с 1921 г. — член КП США, член ЦК, с 1924 г. — член Политбюро ЦК партии, в 1929—1938 гг. — председатель ЦК, в 1938—1944 г. — председатель Национального комитета, с 1957 г. — почётный председатель компартии США. В 1924—1940 гг. — член ИККИ, кандидат в члены Президиума, член Президиума ИККИ.

134

Ловстон Джей (1898 г. рожд.) — деятель американского рабочего движения, с 1919 г. — член КП США, член ЦК партии, в 1927—1929 гг. — генеральный секретарь ЦК, в 1928—1929 гг. — член ИККИ. В 1929 г. исключён из партии.

135

Браудер Эрл (1891—1973) — деятель американского рабочего движения, в 1907—1921 гг. — член социалистической партии, с 1921 г. — член КП США, с 1922 г. — член ЦК, в 1930—1945 гг. — секретарь ЦК, в 1946 г. исключён из партии. В 1924—1940 гг. — член ИКК, кандидат в члены Президиума ИККИ, член Политсекретариата ИККИ.

136

Пуро Хенри (1888 г. рожд.) — деятель рабочего движения США, член Социалистической партии Америки в 1907—1914 гг., член КП США с 1923 г., в 1925—1928 гг. — член Политбюро ЦК, в 1925—1930 гг. — генеральный секретарь Финской рабочей федерации.

137

Тенхунен Матти (1887 г. рожд.) — деятель рабочего движения США, член Социалистической партии с 1906 г., член Компартии США с 1920 г. В 1931 г. переехал в СССР.

138

Биттельман Александр (1890 г. рожд.) — деятель рабочего движения США, с 1919 г. — член компартии, член ЦК, в 1929—1931 гг. — сотрудник аппарата Коминтерна. В 1960 г. исключён из Компартии США.

139

Силлен Сигне — деятельница рабочего движения Швеции, в 1913—1917 гг. — член социал-демократической партии, с 1919 г. — член компартии, в 1925 г. — член ЦК КПШ.

140

Форд Джеймс (1893—1957) — деятель американского рабочего движения, с 1926 г. — член КП США, в 30-е годы — вице-президент Лиги борьбы за права негров. В 1935—1940 гг. — кандидат в члены ИККИ.

141

Рузвельт Франклин Делано (1882—1945) — американский государственный и политический деятель, президент США в 1933—1945 гг.

142

Ворошилов Климент Ефремович (1881—1969) — советский партийный и государственный деятель, большевик, член партии с 1903 г., член ЦК в 1921—1961 гг. и с 1966 г., член Политбюро (Президиума) ЦК в 1926—1960 гг., в 1925—1934 гг. — нарком по военным и морским делам СССР, в 1934—1940 гг. — нарком обороны СССР, в 1940—1953 гг. — заместитель председателя СНК (Совмина) СССР, в 1953—1960 гг. — председатель Президиума Верховного Совета СССР. Маршал Советского Союза.

143

См.: О культе личности и его последствиях: Доклад Первого секретаря ЦК КПСС тов. Хрущёва Н. С. XX съезду Коммунистической партии Советского Союза//Известия ЦК КПСС, 1989, № 3, с. 163.

144

Микоян Анастас Иванович (1895—1978) — советский государственный и партийный деятель, большевик, член партии с 1915 г., член ЦК в 1923—1976 гг. (кандидат с 1922 г.), член Политбюро (Президиума) ЦК в 1935—1966 г. (кандидат с 1926 г.). С 1926 г. — нарком внешней и внутренней торговли СССР, с 1930 г. — снабжения СССР, в 1934—1938 гг. — пищевой промышленности СССР, в 1938—1949 гг. — внешней торговли. С 1937 г. — заместитель председателя СНК (Совета Министров) СССР, в 1964—1965 гг. — Председатель Президиума Верховного Совета СССР.

145

Гюллинг Эдвард (1881—1950) — деятель финляндского рабочего движения, с 1905 г. — член Социал-демократической партии Финляндии, в 1917—1918 гг. — председатель партии, в 1918 г. — член Совета народных уполномоченных финляндской рабочей республики, один из основателей КП Финляндии, член её ЦК, с 1920 г. — член РКП(б), в 1923—1935 гг. — председатель Совнаркома Карельской АССР. Жертва сталинщины. Арестован в 1937 г. Посмертно реабилитирован.

146

Берзин (Кюзис Петерис) Ян Карлович (1889—1938) — профессиональный революционер, большевик, член партии с 1905 г., в 1919 г. — заместитель комиссара внутренних дел Советской Латвии, с 1920 г. работал в советской военной разведке, в 1924—1935 и в 1937 гг. — начальник разведуправления РККА. Жертва сталинщины. Посмертно реабилитирован.

147

Урицкий Семён Петрович (1895—1937) — большевик, член партии с 1918 г., советский военачальник, в 1935—1937 гг. — начальник разведуправления РККА. Жертва сталинщины. Посмертно реабилитирован.

148

Накано Сейго (1886—1943) — японский журналист, государственный деятель, в 1933 г. основал фашистскую организацию «Тохокай», в 1940 г. — генеральный секретарь «Движения единства за укрепление трона», невольный информатор Р. Зорге, покончил жизнь самоубийством.

149

Кристиансен-Клаузен Макс (1899—1979) — германский коммунист, советский разведчик и радист, соратник Р. Зорге в Китае и Японии. В 1941 г. арестован в Японии, освобождён в 1945 г. С 1946 г. жил в Берлине.

150

Урицкий Моисей Соломонович (1873—1918) — деятель российского рабочего движения с 90-х гг. XIX века, член РКП(б) с 1917 г. С июля 1917 г. — член ЦК партии, в октябре — Военно-революционного партийного центра по руководству восстанием в Петрограде. С марта 1918 г. — председатель Петроградской ЧК.

151

Транмель Мартин (1879—1967) — деятель норвежского рабочего движения, в 1918—1927 гг. — секретарь Норвежской рабочей партии, в 1921—1941 гг. — член руководства Центрального объединения профсоюзов Норвегии.

152

А. Коллонтай была полпредом СССР в Мексике в 1926 г. Л. Д. Троцкий приехал в Мексику в 1937 г.

153

Здесь ошибка: С. Нуортева умер раньше.

Нуортева Сантери (1881—1929) — деятель рабочего движения Финляндии и США, член Социал-демократической партии Финляндии с 1904 г., эмигрировал в США, входил в Национальный комитет Социалистической партии Америки, в 1918 г. — официальный представитель Финляндской рабочей республики, член РКП(б) с 1920 г., в 1920—1922 гг. — сотрудник Наркоминдела РСФСР, позднее входил в состав правительства Карельской АССР.

154

Ровно Густав (1887—1938) — деятель финляндского рабочего движения, в 1913—1915 гг. — секретарь союза финской социал-демократической молодёжи. В 1917 г. укрывал В. И. Ленина, участник революции в Финляндии в 1918 г., один из основателей Компартии Финляндии. В 1929—1935 гг. — секретарь Карельского обкома партии. Жертва сталинщины. Арестован в 1937 г. Посмертно реабилитирован.

155

Силлен Хуго (1892 г. рожд.) — деятель рабочего движения Швеции, в 1913—1917 гг. — член Социал-демократической партии, с 1917 г. — Левой социал-демократической партии Швеции, с 1919 г. — член компартии. В 1919—1924 гг. — секретарь ЦК комсомола Швеции, в 1925—1927 гг. — представитель компартии при ИККИ, в 1929—1930 гг. — секретарь ЦК КПШ, в 20—30-е гг. — член ЦК КПШ, в 1928—1935 гг. — кандидат в члены ИККИ.

156

Антикоминтерновский пакт был заключён между гитлеровской Германией и милитаристской Японией 25 ноября 1936 г. Под флагом борьбы против Коминтерна был оформлен блок этих государств в целях завоевания мирового господства. В ноябре 1937 г. к нему присоединилась фашистская Италия.

157

Советско-китайский договор о ненападении был подписан 21 августа 1937 г. по предложению советского правительства.

158

Сапунов Станко Неделчев (1880—1942) — деятель рабочего движения Болгарии и России, с 1897 г. — член БРСДП, в 1904 г. уехал в Англию, там вступил в ячейку большевистской партии, в 1921—1930 гг. — секретарь представительства БКП при ИККИ. Жертва сталинщины. В 1938 г. арестован и осуждён. В 1942 г. дело прекращено, но умер в заключении. Реабилитирован.

159

Яковлев (Эпштейн) Яков Аркадьевич (1896—1938) — советский государственный и партийный деятель, большевик, член партии с 1913 г. В 1929—1933 гг. — нарком земледелия СССР, с 1934 г. — заведующий сельскохозяйственным отделом ЦК ВКП(б). Член ЦКК в 1924—1930, член ЦК партии с 1930 г. Жертва сталинщины. Посмертно реабилитирован.

160

Куйбышев Николай Владимирович (1893—1938) — советский военачальник, большевик, член партии с 1918 г. В 1927—1928 гг. — нач. Командного управл. РККА. Жертва сталинщины. Посмертно реабилитирован.

161

Постышев Павел Петрович (1887—1939) — профессиональный революционер, большевик, член партии с 1904 г. Один из руководителей борьбы за советскую власть в Восточной Сибири, с 1926 г. — секретарь ЦК КП(б) Украины, в 1930—1933 г. — секретарь ЦК ВКП(б), с 1933 г. — секретарь ЦК КП(б) Украины. С 1937 г. — секретарь Куйбышевского обкома ВКП(б). Член ЦК ВКП(б) с 1927 г. (кандидат с 1925 г.), кандидат в члены Политбюро ЦК с 1934 г. В 1938 г. арестован, расстрелян 26 февраля 1939 г. Реабилитирован посмертно.

162

Трилиссер Меер Абрамович (1883—1940) — профессиональный революционер, большевик, член партии с 1901 г. С 1921 г. работал в ВЧК, с 1926 г. — заместитель председателя ОГПУ. В 1930—1934 гг. — заместитель наркома РКИ, в 1935—1938 гг. — член ИККИ, член Президиума ИККИ, кандидат в члены Секретариата ИККИ. Жертва сталинщины. Посмертно реабилитирован.

163

Датт Раджани Палм (1896—1974) — деятель рабочего движения Великобритании. Член КП Великобритании с 1920 г., с 1922 г. — член ЦК партии и Политбюро ЦК. В 1943—1961 гг. — вице-президент Исполкома КПВ, в 1961—1965 гг. — вице-президент КПВ. В 1935—1943 гг. — кандидат в члены ИККИ.

164

Деникин Антон Иванович (1872—1947) — царский генерал С апреля 1918 г. — командующий Добровольческой армией, затем главнокомандующий Вооружёнными силами Юга России. С 1920 г. — белоэмигрант.

165

Вышинский Андрей Януарьевич (1883—1954) — советский юрист и дипломат. В 1903—1920 гг. — меньшевик, с 1920 г. — большевик. В 1933—1939 гг. — заместитель Генерального прокурора и Генеральный прокурор СССР, в 1940—1953 гг. — на руководящих постах в МИД СССР. Активный проводник сталинской репрессивной политики, выступал государственным обвинителем на фальсифицированных процессах 1936—1938 гг.

166

Кубурич (Милюш Зора) Надежда (1894 г. рожд.) — жена И. Кубурича, член Компартии Югославии с 1923 г., в 1935 г. приехала в СССР, работала в издательстве. Жертва сталинщины. Посмертно реабилитирована.

167

Кубурич (Милюш Сима) Илья (1894—1939) — деятель рабочего движения Югославии, член Компартии Югославии с 1919 г., в 1923—1926 гг. — секретарь ЦК КПЮ, в СССР приехал в 1935 г. Преподаватель МЛШ. Арестован в 1938 г., расстрелян в апреле 1939 г. Посмертно реабилитирован.

168

Шюцкор — военизированная организация в Финляндии в 1917—1944 гг.

169

Война между СССР и Финляндией началась 30 ноября 1939 г. в связи с отказом Финляндии принять предложения СССР об изменении государственной границы. Нападавшей стороной был СССР. Война завершилась 12 марта 1940 г.

170

Рудзутак Ян Эрнестович, (1887—1938) — профессиональный революционер, большевик, член партии с 1905 г., советский партийный и государственный деятель, член ЦК в 1920—1937 гг., член Политбюро ЦК в 1926—1932 гг. (кандидат в 1923—1926 и 1934—1937 гг.), секретарь ЦК РКП(б) в 1923—1924 гг. В 1924—1930 гг. — нарком путей сообщения, в 1926—1937 гг. — заместитель председателя СНК и СТО СССР, в 1931—1934 гг. — председатель ЦКК ВКП(б) и нарком РКИ СССР. Арестован в 1937 г., расстрелян 29 июля 1938 г. Посмертно реабилитирован.

171

Голль Шарль де (1890—1970) — французский государственный деятель, военачальник. В 1940 г. основал патриотическое движение «Свободная Франция», в 1941 г. стал руководителем Французского национального комитета; в 1944—1946, 1958 гг. — премьер-министр, в 1958—1969 гг. — президент Франции.

172

Семашко Николай Александрович (1874—1949) — советский государственный и партийный деятель, большевик, член партии с 1893 г., врач, в 1918—1930 гг. — нарком здравоохранения.

173

Френкель Нафталий Аронович — один из организаторов ГУЛАГа, инициатор использования труда заключённых. Арестованный в 20-е годы ГПУ, становится затем одним из начальников в концлагерях, генералом НКВД.

174

Шахтинское дело — фальсифицированный судебный процесс в мае — июле 1928 г. в Москве над инженерами и техниками угольной промышленности, ложно обвинёнными в контрреволюционной вредительской деятельности. Автор спутала шахтинское дело с так называемым делом Промпартии.

175

Промпартия была придумана органами НКВД как антисоветская подпольная вредительская организация, якобы действовавшая в промышленности и на транспорте СССР и объединявшая представителей научно-технической интеллигенции. В 1930 г. группа так называемых членов Промпартии была осуждена.

176

Рамзин Леонид Константинович (1887—1948) — советский теплотехник. В 1930 г. осуждён по делу так называемой Промпартии. После освобождения получил в 1943 г. Сталинскую премию.

177

Рокоссовский Константин Константинович (1896—1968) — советский военачальник, член партии с 1919 г. В 1937 г. арестован. После освобождения был одним из ведущих советских полководцев в годы Великой Отечественной войны, с 1944 г. — Маршал Советского Союза, в 1956—1957 и 1958—1962 гг. — заместитель министра обороны СССР.

178

Имеется в виду XVII съезд ВКП(б), состоявшийся 26 января — 10 февраля 1934 г. Н. С. Хрущёв в докладе «О культе личности и его последствиях», с которым он выступил 25 февраля 1956 г. на XX съезде КПСС, сообщил, что из 139 членов и кандидатов в члены ЦК партии, избранных на XVII съезде КПСС, было арестовано и расстреляно (главным образом в 1937—1938 гг.) 98 человек, то есть 70 процентов. Из 1966 делегатов съезда с решающим и совещательным голосом было арестовано по обвинению в контрреволюционных преступлениях 1108 человек *(См.: Известия ЦК КПСС, 1989, № 3, с. 137)*.

179

Киви (Стенвалл) Алексис (1834—1972) — финский писатель.

180

Берия Лаврентий Павлович (1899—1953) — сталинский подручный, один из организаторов массовых репрессий. В 1938—1945 и 1953 г. — нарком (министр) внутренних дел СССР. Член партии с 1917 г., с 1934 г. — член ЦК, с 1946 г. — член Политбюро. В июне 1953 г. исключён из партии и арестован. 23 декабря 1953 г. расстрелян.

181

Имеется в виду антисоветский мятеж в Кронштадте 28 февраля — 18 марта 1921 г. Подавлен частями Красной Армии при участии делегатов X съезда РКП(б).

182

Международная организация помощи борцам революции (МОПР) — существовала в 1922—1938 гг., в капиталистических странах называлась Международная Красная помощь. Примыкала к Коминтерну, оказывала помощь жертвам белого террора, борцам против фашизма.

183

Шелепин Александр Николаевич (1918 г. рожд.) — советский партийный и государственный деятель. Член КПСС с 1940 г., член ЦК в 1952—1976 гг., член Политбюро (Президиума) ЦК в 1964—1975 гг., секретарь ЦК в 1961—1967 гг. В 1958—1961 гг. — председатель КГБ при Совете Министров СССР, в 1962—1965 гг. — председатель Комитета партийно-государственного контроля ЦК КПСС и Совмина СССР, заместитель председателя Совмина СССР.